5 Иван Стаднюк

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

МОСКВА, 41-й

РОМАН

МОСКВА • 1986

ББК 84Р7—4
С 76

5-й том Собрания сочинений Ивана Стаднюка выпускается по решению Госкомиздата СССР дополнительно к четырехтомному Собранию сочинений

Стаднюк И. Ф.
С 76 Собрание сочинений. Т. 5. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 352 с.

В пер.: 1 р. 70 к. 100 000 экз.

В 5-й, дополнительный том Собрания сочинений лауреата Государственной премии СССР Ивана Стаднюка вошел роман «Москва, 41-й», в котором отражены грозные события лета и начала осени 1941 года. Автор показывает Смоленское сражение, бои за овладение Ельней, подготовку к обороне Москвы, мероприятия Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования по руководству боевыми действиями войск, по укреплению антигитлеровской коалиции. Читатель встретится на страницах книги со многими героями романа «Война».

ББК 84Р7

С $\frac{4702010200—265}{078(02)—86}$ **Свод. пл. подписных изд., 1986**

РОМАН

Вторая половина июля 1941 года — новый обвал потрясений, когда история в ее вечном движении вопросительно, с нарастающим беспокойством всматривалась в глаза народов и их правительств, испытывая гнетущую тревогу за завтрашний день человечества и за пути, по которым она, история, пойдет в будущее. Возник глобальный вопрос: выстоит ли Советский Союз под могучим напором немецко-фашистских полчищ, яростно рвавшихся к Москве?

Смоленская возвышенность будто явилась в эти дни неожиданным каменным порогом, о который споткнулась германская военная колесница и хряснула осью. Казалось, что война, истратив накопленную энергию зла, застопорилась здесь. Но пространства в районе Смоленска продолжали в грохоте боев буйно колоситься смертью, болью, ненавистью, безнадежностью и надеждой. Сражение не утихало ни днем ни ночью, неутомимо собирая смертный оброк: гибли тысячи и тысячи людей — и защитники этой древней земли, и ее поработители — алчные пришельцы.

Немцы непрестанно и упорно кидали через Днепр свои штурмовые отряды, стремясь гусеницами танков уцепиться за правый берег и торопясь захватить северную часть Смоленска, чтобы затем крупными силами выйти наконец в тылы всей группировки войск Западного фронта, после чего путь на Москву был бы открыт окончательно.

Захватчикам противостояла здесь 16-я армия генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина. Изнемогая от неравенства сил, истекая кровью, дивизии этой армии огневыми и штыковыми ударами сметали врага с захваченных береговых плацдармов, сами переплывали не столь большую здесь водную ширь Днепра, бросались в атаки, тесня захватчиков в глубь южной части Смоленска, пытаясь вернуть ее.

Но тщетно: логика войны неумолима — когда вражеские самолеты с рассвета до темна десятками кружили в небе и когда на стороне немцев огромное преимущество в танках, артиллерии, да и в пехоте, потеснить их с захваченных рубежей было невозможно. Немцы тоже не могли одолеть армию генерала Лукина, пусть малочисленную, но силу которой будто умножали врожденная у россиян ненависть к поработителям и не покидавшее воинов скорбное мужество, суть которого — умение страдать и готовность идти на самопожертвование во имя Отечества. Именно так: смертная человеческая плоть была крепче огня и железа, если дух в ней не увядал.

А может, отчасти и жестокая строгость поступавших свыше приказов, которые кратко, в чеканных формулировках излагали боевые задачи и сурово напоминали редеющему воинству 16-й армии и без того известную им, рвавшуюся из сердца болью истину: Смоленск — это ворота к Москве...

1

...Война застала генерал-лейтенанта Лукина в Виннице. В то время погруженные в железнодорожные эшелоны части его 16-й армии, начавшие выдвижение из Забайкалья на запад еще перед войной, подходили передовыми силами к местам расквартирования в районах Бердичева, Винницы, Проскурова, Старо-Константинова и Шепетовки. Последние эшелоны еще пересекали Сибирь, а генерал Лукин уже получил новый приказ: 16-я армия переходила в распоряжение Ставки Главного Командования. Ее задача — двигаться после сосредоточения навстречу врагу через Шепетовку, Острув, Ровно и далее — согласно последующим приказам.

Силы же в 16-й армии были тогда немалыми — только один ее 5-й механизированный корпус генерала Алексеенко И. П. имел более тысячи боевых машин. Около трехсот танков насчитывалось в отдельной танковой бригаде, да и 32-й стрелковый корпус состоял из трех дивизий высочайшей воинской выучки.

26 июня поступил новый приказ: он перенацеливал 16-ю армию с Юго-Западного на Западный фронт — в район Орша, Смоленск. Поэтому прибывшие на Юго-Западный, но не успевшие разгрузиться эшелоны тут же направлялись по новому маршруту, а генерал Лукин

помчался в Шепетовку, чтобы приостановить там разгрузку 5-го механизированного корпуса. Застал в этом заштатном городишке Подолии скопление отступивших от границы разрозненных подразделений, сотни призванных местными военкоматами рядовых и командиров и множество представителей из действующих частей, прибывших за боеприпасами, оружием, горючим, продовольствием. И нескончаемый поток беженцев с запада. Ко всему этому — непрерывные бомбежки с воздуха и диверсии переодетых в советскую военную форму немецких парашютистов.

Что было делать ему, генерал-лейтенанту Лукину, в этой кутерьме, учитывая, что к Шепетовке уже подходили разведывательные части противника, а он волей судьбы оказался здесь старшим по воинскому званию и по должности?

Первое, что предпринял Михаил Федорович, было самым элементарным: обнажив пистолет, он вместе с адъютантом лейтенантом Сережей Прозоровским, шофером красноармейцем Николаем Смурыгиным и двумя отчаянными командирами стали поперек магистральной улицы Шепетовки и своим решительным видом остановили живой поток военного и невоенного люда. Затем во дворах и в переулках по приказу генерала Лукина стали формироваться группы и подразделения, назначались их командиры, составлялись списки личного состава... И стихийный людской поток тут же стал превращаться в организованную силу...

Но силой надо управлять, как и всей скопившейся в Шепетовке несметностью представителей войсковых служб, осколков воинских частей и сотнями людей, призванных военкоматами из запаса... Ими были заполнены улицы, площади, скверы, особенно вокзал и привокзальная территория. Городишко выглядел как гигантская толкучка, где, однако, не было никакой торговли.

И Михаил Федорович без колебаний принял на себя командование не только неисчислимым гарнизоном Шепетовки со всем его войсковым хозяйством, но и участком фронта, прикрывавшим Шепетовское направление.

Об этом надо было доложить командованию Юго-Западного фронта. Связаться же со штабом не удалось. Трудно было дозвониться и в Киев: на линиях связи разбойничали немецкие диверсанты, разрушая их или подслушивая разговоры; были случаи, когда немцы

от имени советского командования, включившись в наши линии, передавали на русском языке провокационные приказы. И когда генерал Лукин из кабинета начальника железнодорожной станции дозвонился в Киев первому заместителю командующего фронтом генерал-лейтенанту Яковлеву, не поверил своей удаче. Но как вести разговор без кодовой таблицы? И действительно ли на проводе Яковлев? Голос неузнаваем...

«Всеволод Федорович, это ты? Лукин докладывает».

«Я... Ты откуда звонишь?»

«Прости, пожалуйста... Если ты действительно Яковлев, скажи, пожалуйста, как зовут мою жену?»

«Понял твои опасения... Жена — Надежда Мефодиевна... А если ты Лукин, вспомни, где мы с тобой последний раз виделись?»

«В Москве, в Большом театре...»

Взаимное недоверие исчезло, и Лукин доложил первому заместителю командующего Юго-Западным фронтом, что Шепетовка находится под угрозой захвата врагом. Яковлев, потрясенный услышанным, ответил:

«Ты понимаешь, что это значит?»

«Если б не понимал, не брал бы на себя без приказа такую ответственность. А ведь по логике вещей мне надо ехать к своей армии», — резонно напомнил ему Лукин.

«Понимаю, что надо. Однако в Шепетовке — главные наши склады, — задыхаясь от волнения, объяснял генерал Яковлев. — Если противник займет Шепетовку, войска фронта останутся без боеприпасов и без всех других видов снабжения».

Кабинет начальника станции тогда и стал командным пунктом генерала Лукина. Первым делом он приказал отменить погрузку в эшелоны 109-й мотострелковой дивизии 5-го механизированного корпуса и 116-го танкового полка 57-й танковой дивизии. Командиру 109-й дивизии полковнику Краснорецкому Николаю Павловичу поставил задачу — вместе с танковым полком занять оборону на подступах к Шепетовке и не допустить противника в город.

При себе Лукин оставил армейского интенданта полковника Маланкина, двух штабных офицеров и двух политработников. Приказал им сколотить группы заслона и останавливать на дорогах машины с беженцами, пересаживать их в железнодорожные эшелоны, идущие на Киев, а машины загружать боеприпасами и

отправлять на фронт... Сколько же было тогда слез, просьб, проклятий по его, Лукина, адресу — многие беженцы никак не желали, да и не могли, расставаться с машинами. Но — война... Да, война длилась уже неделю, а со стороны Киева пусть и редко, но все еще шли через Шепетовку в направлении разных городов Западной Украины эшелоны, груженные тракторами, комбайнами, сеялками, зерном.

Генерал Лукин приказал начальнику станции останавливать их. Но это было не так легко: оказалась бы забитой часть железнодорожных путей, что застопорило бы движение воинских эшелонов...

Вызвал начальников военных складов — а складов было множество — и спросил, сколько кому надо эшелонов для эвакуации. Услышал такие цифры, что продолжать разговор было бессмысленно, и на свой страх и риск отдал приказ: ни в чем не отказывать всем прибывающим с фронта за боеприпасами, горючим, продовольствием, снаряжением, если даже у них нет на руках чековых требований для получения грузов. Достаточно записки полковника Маланкина — и вручил начальникам складов белые картонки с заверенным печатью образцом подписи интенданта.

А командир 109-й мотострелковой дивизии полковник Краснорецкий Николай Павлович бесстрастно доносил, что мотомехчасти противника продолжают остервенелые атаки и уже находятся в двадцати километрах западнее Шепетовки. Краснорецкий был опытным и храбрым комдивом, проявившим себя еще в боях с японцами у озера Хасан. И тем не менее его дивизия несла большие потери. Вскоре был тяжело ранен и сам Краснорецкий [1].

Лукин тут же решил заменить его лучшим командиром одного из полков этой дивизии — подполковником Подопригорой Александром Ильичом. Но к этому времени полк в стычке с превосходящими силами немцев понес большие потери, и Подопригора от отчаяния, хотя нисколько не был повинен в потерях, застрелился. Пришлось генералу Лукину самому ехать в дивизию, вести ее в бой, пока не был назначен новый надежный командир.

Обстановка на Шепетовском направлении накаля-

---

[1] После госпиталя Н. П. Краснорецкий вновь командовал дивизией; погиб в октябре 1941 года при обороне Москвы. *(Прим. авт.)*

лась и обострялась все больше. Надо было бросать навстречу врагу новые силы и чем-то прикрыть фланги слабеющей 109-й мотострелковой дивизии. Лукину удалось сколотить четыре мотоотряда. Усилив их тремя батареями артиллерии и двумя десятками танков, бросил на защиту флангов 109-й дивизии...

Так же решительно подчинил себе и свежую стрелковую дивизию, которая пешим порядком приблизилась к Шепетовке, следуя на запад, чтобы влиться в состав воевавшей там 5-й армии, местонахождение которой было неизвестно. И приказал ей занять оборону на подступах к Шепетовке. Лукину тогда казалось, что он не поспевал за своими жадными и встревоженными мыслями; решения приходили будто сами по себе от ощущения смертельной опасности и понимания небывалой ответственности. Часто остроту или непредвиденность ситуации улавливал чутким инстинктом, при этом помнил, что одна из подлинных тайн умелых военачальников заключается в соединении смелости и осторожности.

Итак, генерал-лейтенант Лукин самовластно стал в Шепетовке командиром созданной им же войсковой оперативной группы, о действиях которой вскоре замелькали похвальные упоминания в сводках штаба Юго-Западного фронта и даже Ставки Главного Командования. Наладилась наконец связь с командующим Юго-Западным фронтом генерал-полковником Кирпоносом, и Лукин со всей прямотой доносил ему, что Шепетовская оперативная группа войск тает с каждым днем и больше не имеет возможности пополняться. Уже ни доблесть, ни отвага, ни самопожертвование не помогут ей дольше удерживать Шепетовский узел, если на этом участке не будет введено в бой необходимое количество свежих соединений.

Вскоре под Шепетовку прибыл из Днепропетровска 7-й стрелковый корпус генерал-майора Добросердова, а Лукин поспешил под Смоленск, чтобы вновь возглавить свою 16-ю армию.

2

Под Смоленском, как читатель уже знает, Лукин застал только две дивизии: 46-ю неполную и 152-ю, а все остальные соединения, как доложил ему со скорбью в глазах начальник штаба армии полковник Шалин,

переданы в 20-ю армию генерал-лейтенанта Курочкина, которая вела тяжелые оборонительные бои в районе Орши.

Несколько дней чувствовал себя генерал-лейтенант Лукин обиженным и беззастенчиво ограбленным. Поэтому с трудом вживался в атмосферу событий на Западном фронте, которая сразу же по приезде в Смоленск показалась ему куда напряженнее, чем в районе Шепетовки (на войне самой страшной опасностью кажется ближайшая). Так и этак оценивал и взвешивал оставшиеся под его командованием силы. Две дивизии... Вроде и сила... Но и явное бессилие, коль нет 5-го механизированного корпуса, которым на штабных учениях так привык наносить неотразимые контрудары по «противнику» из-за флангов обороняющейся армии. Две дивизии, заняв оборону и образовав выдвинутую на северо-запад от Смоленска дугу, да и то рваную, прикрывали ведущие на восток дороги и наиболее опасные направления в тылу державшей оборону 19-й армии. Из этих дивизий пришлось по приказу главкома Западного направления маршала Тимошенко выделить усиленные батальоны и бросить их на запад и юго-запад от Смоленска — в район Красное и на рубеж речки Свиная, селение Литивля, чтобы вместе с батальонами смоленских ополченцев бригады полковника Малышева защитить фланги дравшихся там частей 20-й армии.

Всматриваясь в карту и видя, как маршал Тимошенко снимает части с одних направлений и бросает их на другие, как поспешно вводит в сражение прибывающие в район боевых действий, но полностью не сосредоточившиеся соединения, Лукин понимал, что у штаба фронта нет резервов, и будто физически, как давящую боль сердца, ощущал дырявость обороны и слабую прикрытость важных операционных направлений. А когда ему приказали возглавить оборону Смоленска, почувствовал еще и беспомощность, как боксер, вышедший на ринг без главного доспеха — боксерских перчаток. Только и успел сделать, что вернул ополченские батальоны полковника Малышева к стенам города и приготовил их к уличным боям да принял меры, чтобы мобилизовать население для устройства завалов...

В тяжких положениях питают полководца надежды не только на свои силы, но и на ошибки и просчеты

противника и на малейшую возможность достигнуть превосходства пусть хоть на каком-либо направлении или участке соприкосновения с вражескими войсками. Поэтому с обостренным поиском мысли, с упованием на счастливое ее озарение выслушивал доклады штабных командиров и генералов, напряженно вчитывался в боевые донесения и пытливо всматривался в карту, где в обороне 19-й армии генерала Конева все явственнее намечался глубокий прорыв немецких танковых колонн, как и юго-западнее Смоленска, в полосе 20-й армии, и в итоге будто чувствовал на себе тесную и хлипкую одежонку, продуваемую со всех сторон ледяными ветрами.

Правда, 14 июля был момент, когда на душе чуть развиднелось: поступил приказ командующего фронтом о том, что в состав 16-й армии вливается 17-й механизированный корпус генерал-майора М. П. Петрова. Но где же он? Из штаба фронта сообщили, что части корпуса где-то переформировываются после выхода из окружения. Однако так ни одна из них и не появилась в полосе армии. Узнал только от случайного окруженца, что действительно в начале июля проходили через Смоленск отдельные подразделения 209-й мотострелковой дивизии этого корпуса; заинтересовался судьбой командира дивизии полковника Муравьева Алексея Ильича, которого хорошо знал по довоенному времени. Муравьев, как рассказал окруженец, был тяжело ранен немецким диверсантом еще там, за Минском, в районе Мира, и оттуда отправлен на восток. Командир корпуса Петров тоже будто погиб... И рассвет в душе отступил, несмотря на то, что на второй день пришла от маршала Тимошенко новая, тоже сулившая надежды шифрограмма. В ней Лукину приказывалось принять от командующего 19-й армией генерал-лейтенанта Конева две стрелковые дивизии — 158-ю полковника В. И. Новожилова и 127-ю генерал-майора Т. Г. Корнеева — и поставить их на рубеж южнее Смоленска — от стен города по реке Сож до деревни Гринево, — создав при этом мощные узлы противотанковой обороны.

Послал генерал Лукин своих представителей в эти дивизии с приказом немедленно начать марш к Смоленску, но когда смотрел по карте на неблизкий их путь, понимал: не успеют они ко времени оседлать дороги, по которым немцы рвутся к городу. Однако неверия своего никому не показывал; принимал меры,

чтобы удержаться до подхода этих двух дивизий своими малочисленными силами. И еще, может быть от отчаяния, приказал командирам частей, штабистам и политработникам поступать так, как поступал он сам в районе Шепетовки: решительно прибирать к рукам — подчинять себе — все, что даже случайно может оказаться в полосе их 16-й армии: разрозненные группы и группочки красноармейцев, одиночных командиров, боевые расчеты, обескровленные подразделения, машины, отдельные танки — и, приписав их к полкам, ставить в оборону.

Ничто на фронте так не ценится, как ясность. Эта истина давно была известна Михаилу Федоровичу Лукину; однако, постигнув ее в ночь на 16 июля 1941 года, когда убедился, что немцы захватили южную часть Смоленска, чуть по-волчьи не взвыл от бессилия и обжигавшего сердце понимания: наступил тот страшный и критический момент, когда чаша весов могла трагически резко и, возможно, надолго перевеситься в пользу агрессора. Только по недосмотру немцев, а может, и потому, что полковник Малышев вовремя взорвал смоленские мосты, они с ходу не перемахнули через Днепр и не захватили северную часть города. Ведь защищать Заднепровье было нечем: почти весь гарнизон Смоленска героически погиб в ночном уличном бою...

На рассвете 16 июля, как только в штабе армии стало известно, что враг захватил южную часть города, генерал Лукин вместе с членом Военного совета армии дивизионным комиссаром Лобачевым и группой офицеров штаба примчались на машинах из Жуково в северную часть Смоленска. Остановились среди развалин кирпичных домов у вокзала и тут же были обстреляны из-за Днепра немецкими пулеметами. Этот огонь разбудил дремавшую по правому берегу нашу жиденькую оборону: в некоторых местах татакнули пулеметы, громыхнули одиночные выстрелы. Вскоре оборона была несколько усилена. Офицеры штаба разыскали спавших в каменных домах над Днепром уцелевших бойцов из дивизиона смоленской милиции и отрядов Буняшина и Никитина. Люди были усталые до бесчувствия, но, встряхнутые командами начальства, заняли позиции для обороны быстро, с пониманием серьезности обстановки.

— Что будем делать дальше? — спросил генерал

Лукин у дивизионного комиссара Лобачева, глядя на него требовательным взглядом.

Они хорошо знали и понимали друг друга, гордились родством своих душ и верили, что мысли их ведут поиск решения в одном направлении. Но сейчас, укрывшись за стеной разбитого кирпичного дома, были в замешательстве.

— Надо доложить в штаб фронта, — ответил Лобачев, доставая подрагивающими пальцами папиросу из кем-то протянутой пачки.

— Доложить успеем. Я о решениях спрашиваю, — нетерпеливо уточнил Лукин.

— Поступит приказ выбить немцев из Смоленска.— Лобачев не спеша прикуривал от чьей-то спички и косил взгляд на командарма. — Это точно... Отсюда надо и решать.

Лукин, будто огорченный ответом члена Военного совета, резко отвернулся от него, раздраженно скрестил на груди руки. Эта его внешняя раздраженность свидетельствовала о том, что он напряженно размышлял о первых нужных шагах в столь беспросветной ситуации...

Военная, как и всякая другая, одаренность людей не имеет пределов, ибо жизнь с ее неустанным стремлением к постижению истины и совершенству гораздо шире возможностей человека. Наличие же рядом с одаренным еще одного одаренного, каким и был дивизионный комиссар Лобачев, увеличивало силу постижения обоих, так как каждый из них, Лукин и Лобачев, на оселке способностей друг друга выверяли зрелость и глубину своего видения и понимания, верность или ошибочность своих суждений.

Впрочем, предположение Лобачева о том, что непременно поступит приказ отбить у немцев Смоленск, не явилось для Лукина откровением, но поторопило его предугадать оперативное решение этой задачи, которое предложит ему штаб фронта. И сразу нашлось главное русло, по которому надо было устремлять воспаленные мысли: какими силами можно выбить немцев из Смоленска? Ведь пути подхода резервов к 16-й и 20-й армиям почти перекрыты; соседняя, 19-я армия отступает от Витебска, с трудом отбивая непрерывные атаки немецких танков, растекаясь на юго- и северо-запад. Значит, маршал Тимошенко и начальник штаба фронта генерал Маландин будут требовать от Лукина ре-

шать задачу собственными силами. Стало быть, надо немедленно перегруппировать все то, что сражается здесь, в оперативном окружении, и нужна связь с генерал-лейтенантом Коневым — командующим 19-й армией.

Но все-таки что было делать в те самые первые часы трагического утра, когда прорыв врага в южную часть Смоленска стал фактом? У генерала Лукина не было надежд даже на удержание северного берега Днепра до подхода сюда частей армии с других участков фронта. Ведь знал, что с восходом солнца немцы обрушат на рваную цепочку нашей обороны сотни бомб, тысячи снарядов и мин, ослепят огнем и дымом, кинут через узкий Днепр пехоту и плавающие танки, и защитникам северной части Смоленска придется погибнуть, взяв только с врага подороже плату за свою погибель. Другого исхода не предвиделось.

Если б в минуты этих тяжких раздумий, когда мятущаяся душа Михаила Федоровича билась в муках безысходности, он посмотрел на себя в зеркало, то увидел бы почти незнакомого человека. Чуть удлиненное его лицо с широко раздвинутыми глазами (раньше казалось, что они раздвинулись от веселого желания шире посмотреть на мир) обрело что-то трагическое, выражавшееся в усталом и притушенном блеске глаз, в углубившихся морщинах и особенно в опущенных уголках губ. Когда он снимал каску, волосы на его голове не имели привычного прямого пробора, были свалявшимися и казались жидкими, как побитый градом лен.

С тяжким чувством уезжал генерал Лукин из пределов Смоленска. Раздражала неосознанная вина — та самая, которая терзает почти каждого военачальника в подобном состоянии. Михаилу Федоровичу мнилось, что, может быть, он из-за усталости, из-за чрезмерного напряжения не учел чего-то, упустил из виду какие-то обстоятельства.

В «эмке», испятнанной для маскировки зеленой и коричневой краской, с ним ехал новый начальник артиллерии армии генерал-майор артиллерии Прохоров Иван Павлович — известный среди артиллеристов знаток своего дела; он умел чувствовать силу и возможности подчиненных ему полков, дивизионов, батарей, словно тяжесть и силу удара собственного кулака, и, казалось, даже с ощущением твердости того предмета,

на который замахнулся. Нужные сведения Прохоров будто ловил из воздуха. Погоняв по частям подчиненных ему офицеров, посидев ночь на узле связи, побывав на подвижных складах артснабжения, он уже знал все, без чего нельзя было управлять артиллерией. Но знаниями не заменить боеприпасов, не заполнить лотки орудийных передков. Нужны были снаряды, много снарядов, а подвоз их, с захватом немцами Ярцева, прекратился. Нужно было и пополнение артдивизионов техникой, особенно противотанковыми орудиями. И Прохорову, как и генералу Лукину, виделось, что только чудо могло затормозить близко грядущую кровавую развязку.

Впереди их машины ехал броневичок, из башни которого по грудь высунулся новый адъютант Лукина старший лейтенант Михаил Клыков. Генерала Лукина всегда веселила его кавалерийская осанка. Клыков — между прочим, как и Лукин, — именовался Михаилом Федоровичем, был кубанским казаком и, восседая в башне броневика, держал себя, как в седле — широко расправлял грудь и на дорожных рытвинах, когда броневик подбрасывало, вскидывал вверх тело, будто опирался на стремена седла и облегчал ход коню.

Сзади машины генерала Лукина, объезжая частые воронки и переваливаясь на рваном асфальте, катил в своей легковушке дивизионный комиссар Лобачев. Держали путь к магистрали Минск — Москва, к тому месту, где ее пересекала дорога Смоленск — Демидов. Оно, это место, все время манило к себе генерала Лукина. Нет, не потому, что отсюда рукой подать в Жуково, где в лесу был узел связи, без которого командарм наполовину слеп и глух. Михаил Федорович постоянно ощущал неприкрытость этого оперативно важного пятачка, примыкающего к северной части города, как ощущают сквозняк слабо прикрытой частью тела. Ему, этому месту, зримо угрожали со стороны Демидова и Ярцева подвижные танковые клинья немцев. И отсюда был совсем близок опустевший военный аэродром с искромсанными взлетно-посадочными полосами...

Еще раз охватив мыслью эту грозную опасность, Михаил Федорович знобко передернул плечами, с тревогой посмотрев сквозь придорожный, покрытый густой пылью кустарник в сторону аэродрома... Очень удобна здесь высадка усиленного техникой вражеского десанта.

Проезжали небольшое село Печёрск. Над дорогой слева возвышалась аккуратно граненная церквушка. Древнеславянской вязью лепились на ней ближе к крыше цифры, обозначавшие год построения церкви: «1678».

«Сколько же событий пришлось ей увидеть на своем веку! — с печалью подумал Лукин. — Не дано камню рассказывать...»

Когда впереди стала видна автострада с маячившим на ней контрольным постом в лице одного красноармейца с карабином за спиной и красным флажком в руке, Лукин приказал остановиться. Машины укрыли на приличном друг от друга расстоянии в придорожной лесопосадке. Вместе с генералом Прохоровым перешагнули кювет и подошли к выглядывавшим из полынной проседи валунам: они, сбившись в табунок, будто ловили серенькими спинками холодные лучи только что взошедшего из-за недалекого леса солнца. Уселись на камнях, и Михаил Федорович по привычке расстегнул планшетку, под целлулоидом которой хорошо читалась карта Смоленска и его окрестностей. Подошел дивизионный комиссар Лобачев.

— Еще бы начальника штаба сюда, и можно открывать заседание Военного совета армии, — невесело пошутил Лобачев.

— Нам бы лучше несколько полков пехоты... — Лукин, достав пачку «Казбека», стал закуривать. Когда прикурил, добавил: — И артиллерии стволов сто... Как, Иван Павлович? — И он скользнул болезненным взглядом по загорелому и худощавому лицу генерала Прохорова.

— А вот и явление Христа народу, — словно в ответ ему сказал Прохоров, с удивлением глядя в сторону магистрали.

Все примолкли, тоже уставившись туда напряженными глазами: по дороге к ним приближался какой-то генерал-майор с общевойсковыми малиновыми петлицами на воротнике гимнастерки. Выше среднего роста, стройный, в запыленных хромовых сапогах, в фуражке, из-под которой выглядывали седоватые виски, он казался довольно моложавым, подтянутым, испытывая, видимо, неловкость под столькими устремленными на него взглядами незнакомых людей с неласковыми лицами. Темный от усталости и загара лик генерала выражал озабоченность. Поравнявшись с военными, си-

девшими на валунах, генерал остановился и, щелкнув каблуками, отдал честь. Представляться почему-то не спешил, и Лукин, нарушив молчание, чуть иронично спросил:

— Кого имеем честь лицезреть?

Генерал будто с некоторым вызовом и необъяснимым чувством превосходства прищурил глаза, но ответить не успел. Его опередил Прохоров, который вдруг зашелся тихим смешком, охнул и неуверенно спросил:

— Городнянский?.. Авксентий Михайлович? Чтоб я пропал — Городнянский!.. Сколько лет, сколько зим!

— Так точно. Генерал-майор Городнянский. Командир сто двадцать девятой стрелковой дивизии девятнадцатой армии, — подтвердил подошедший.

— А дивизия где? — уже с явным вызовом спросил Лукин, наперед вкладывая в свой вопрос горечь, которую, как он полагал, вызовет у него ответ генерала Городнянского.

— Вон в том лесу, в километре отсюда, — кивнул Городнянский. — Два стрелковых и один артиллерийский полк. Сейчас должны подойти еще один стрелковый и один артиллерийский...

Лукин и все, кто был с ним, точно подкинутые невидимой силой, поднялись с валунов, перешагнули через заросшую бурьяном канаву и вышли на дорогу.

— Какая задача дивизии? — со сбившимся дыханием спросил Лукин, горячо пожимая Городнянскому руку.

— Отступаем...

— Ясно, генерал... Я — Лукин... Командарм-шестнадцать. Все части в полосе шестнадцатой армии согласно приказу командующего фронтом подчинены мне...

— Я это знаю...

— Надо спасать Смоленск!

— Приказывайте, товарищ генерал-лейтенант. — Городнянский взял под козырек, а затем начал доставать из планшета карту, чтобы нанести на нее задачу для своей дивизии.

Все действительно произошло как в сказке...

3

Приказав генералу Городнянскому занять полками дивизии оборону в северной части Смоленска по правому берегу Днепра и при этом взять под неослабный

огневой контроль подходы к взорванным мостам и другие наиболее опасные направления, Лукин помчался на командный пункт армии. Предстояло нелегкое — доложить командованию фронта о захвате врагом южной части Смоленска и о своем решении. А решение исходило из наличия сил: полкам 46-й стрелковой дивизии генерала Филатова, передав свои оборонительные позиции северо-западнее Смоленска отступавшим в том направлении частям 19-й армии, спешно занять оборону по Днепру левее дивизии генерала Городнянского и оседлать железную дорогу Смоленск — Москва. 152-й стрелковой дивизии полковника Чернышева, которая отбивалась от немецких моторизованных частей, прорвавшихся сквозь оборону 19-й армии, быть готовой отойти в северо-западную часть Смоленска и занять оборону по северному берегу Днепра правее дивизии Городнянского. Оставались еще две дивизии, переданные вчера из таявшей 19-й армии. Одна из них, 127-я, находилась на марше, держа путь на Смоленск; теперь она решением Лукина перенацеливалась на другой рубеж, с которого можно будет ударить по городу. Вторую переданную дивизию, 158-ю, гонцы Лукина продолжали разыскивать, как и части оперативной войсковой группы генерала Чумакова, еще вчера дравшиеся где-то юго-западнее Смоленска. И как надежда на усиление ударной мощи и повышение боевого духа частей армии, которым непременно будет приказано отбить у врага город, — две тысячи московских коммунистов, протискивавшихся маршевыми ротами к Смоленску со стороны Дорогобужа по Старой Смоленской дороге, пока еще не перерезанной немцами.

Но не до конца получился у Лукина разговор с главнокомандующим. Успел только доложить ему о захвате немцами южной части Смоленска и о взрыве мостов через Днепр, успел также услышать взволнованную тираду Тимошенко о том, что город надо очистить от врага во что бы то ни стало, и связь оборвалась. Но из слов маршала понял главное: принятые им, Лукиным, решения если не наилучшие, то все же разумные в этих условиях...

И начал употреблять власть командующего, включая в действие все сохранившие работоспособность рычаги штаба армии и штабов соединений. В войска понеслись боевые распоряжения...

Бывает, что с песчаного откоса при сдвиге верхнего

слоя почвы вдруг потекут десятки и сотни ручейков песка, отчего поверхность откоса будто воскресает после вечного сна, делается живой, стремительно движущейся и даже дымящейся. Так и после усилий штабов частей 16-й армии потекли из лесов и перелесков, с дорог и тропинок живые ручьи и ручейки военного люда, машин, повозок, пушек на конной и механизированной тяге, устремляясь к Днепру. Шли в дневное и ночное время. На открытых местах, когда в небе появлялись немецкие самолеты, продвигались короткими бросками и перебежками, неся за спиной для маскировки прихваченные поясными ремнями зеленые метлы ветвей. Пережидали, набираясь новых сил, и снова двигались — отделениями и взводами, ротами и батареями... Приблизившись к Днепру, споро и деловито занимали указанные командирами рубежи и готовились к бою — зарывались в землю, если рубежи пролегали по открытому месту, или устраивали бойницы, если оборона проходила по линии каменных или деревянных, высившихся в развалинах и пепелищах домов вдоль Днепра.

И вдруг на узле связи командного пункта ожила телеграфная линия, соединявшая 16-ю армию со штабом фронта. Застрекотал буквопечатающий аппарат Бодо, и поползла на откидную столешницу белая змейка ленты, испятнанная словами... По звонку начальника связи армии через несколько минут генерал Лукин был в землянке аппаратной. Вслед за ним пришли дивизионный комиссар Лобачев и полковник Шалин.

Передавался приказ маршала Тимошенко.

Первые же слова приказа, которые прочитал Михаил Федорович с ленты, будто ударили его в самое сердце и обожгли лицо. Вначале Тимошенко излагал решение Государственного Комитета Обороны, которое и потрясло Лукина. Москва обвиняла командный состав частей Западного фронта в том, что он, командный состав, проникнут эвакуационными настроениями и легко относится к вопросу об отходе войск от Смоленска и сдачи Смоленска врагу. Если эти настроения соответствуют действительности, бесстрастно, слово за словом, говорила телеграфная лента, то подобные настроения Государственный Комитет Обороны считает преступлением, граничащим с прямой изменой Родине...

Далее Тимошенко сообщал, что Государственный Комитет Обороны потребовал от него железной рукой пресечь подобные настроения, позорящие боевые зна-

мена Красной Армии, а затем изложил задачу 16-й армии; она почти не расходилась с той, которую Лукин уже поставил своим дивизиям и которая уже выполнялась.

Прочитав до конца приказ, Лукин будто надел на глаза чужие очки и увидел все вокруг себя в другом свете. Колючие, причиняющие боль мысли захлестнули его и будто выключили на какое-то время из бытия. Михаил Федорович, кажется, позабыл, где он и кто рядом с ним. Стал задавать себе вопросы — один страшнее другого...

Кого имеет в виду Государственный Комитет Обороны? Ведь речь идет о Смоленске... Значит, его, генерала Лукина, его штаб и командиров частей истекающей кровью 16-й армии.

В армии на строгость приказов не принято обижаться, не полагается и обсуждать их. Но что с сердцем делать, коль кричало оно немым криком от обжигавших мыслей: ведь немцы действительно в Смоленске и рвутся через Днепр, о чем Москва еще не знала.

Михаил Федорович тут же, в землянке узла связи, составил ответную телеграмму Военному совету Западного фронта в форме боевого донесения. Подписали ее все трое: Лукин, Лобачев и Шалин — три главных человека, отвечавших за выполнение армией боевых задач.

Вышли из землянки и, не сговариваясь, присели на толстый ствол березы, сваленной вчера взрывом фугаски. Задымили папиросами. Молчали, каждый думая об одном и том же. Рокот боя доносился сюда со всех сторон и даже, казалось, из-под самой земли.

Первым заговорил дивизионный комиссар Лобачев. Спокойно, по-мужицки рассудительно он сказал словно сам себе:

— Приказы в Красной Армии не обсуждают, а выполняют. Это — закон.

— Кто же обсуждает? — обидчиво удивился Лукин.

— Лично я... Да-да, я обсуждаю этот приказ!.. — Лобачев с ухмылкой покосился на командарма, затем на начальника штаба.

— Этого от тебя я не слышал! — строго сказал Лукин.

— Я тоже. — Шалин закашлялся, выдохнув облако табачного дыма.

— Оглохли, значит? — Лобачев удовлетворенно за-

смеялся. — От бомбежки или от боязни посмотреть правде в глаза?

Лукин придавил каблуком сапога папиросу и с нарастающим раздражением упрекнул Лобачева:

— Не люблю, комиссар, когда ты в загадки играешь!.. Сейчас не до ребусов!

— Так вот, без загадок и ребусов. — Лобачев спокойно посмотрел на собеседников: — Мы доложили Военному совету фронта о принятых мерах для удержания северной части Смоленска и о том, что делаем все возможное, чтобы выбить фашистов из южной... Так ведь?.. Но мы ни словом не обмолвились о предъявленных нам обвинениях. А молчание — знак согласия... Я же не согласен... Но главное в другом.

— В чем же? — озадаченно спросил Лукин.

— В том, что в боевых условиях нагонять на командиров Красной Армии, как и любой другой армии, чрезмерный страх — не путь для достижения успеха. Страх лишает людей здравомыслия... От испуганного командира пользы мало, а его страх обязательно передастся еще и подчиненным ему людям. Он, этот страх, проявится в неуверенных действиях войск...

— Не томи! — прервал Михаил Федорович Лобачева. — Что ты хочешь в конечном счете?..

— Хочу напроситься на разговор по прямому проводу с членом Военного совета фронта товарищем Булганиным.

— Много бы я дал, чтобы услышать, как тебе ответят с другого конца провода! — Лукин рассмеялся, кажется, искренне, растворив в смехе накопившееся напряжение. — О чем ты говоришь, Алексей Андреевич?! Я еще западнее Шепетовки насмотрелся на испуганных людей!.. Страх позади! Там, где слово «окружение» порождало панику.

— Я совсем о другом! — Лобачев развел руками. — Я о страхе командира перед ответственностью за принятое им решение. А полученный нами приказ такую боязнь может породить...

— Ну давай, вызывай товарища Булганина. — Лукин поднялся, чтобы идти в автобус. — Наверно, ты прав, но только частично. Ведь приказ о предании суду прежнего командования Западного фронта во главе с генералом армии Павловым, хотя их до смерти жалко, не поверг нас с тобой в ужас?! Встряхнул как следует командирский корпус Красной Армии! И привел кое-

кого в нужное состояние!.. Так почему этот приказ главкома не сделает полезного дела?.. С нас строго требуют, и мы покрепче будем требовать...

— Я тебе, Михаил Федорович, о духе приказа, а ты о букве. Я об опасности породить в армии страх как самое острое из всех чувств человека. О ней, этой опасности, помнили полководцы всех времен и народов... Известно, например, что того, кто бежал с поля боя, даже не столкнувшись с врагом, наиболее трудно заставить вернуться в бой. Быстрее вернется тот, кто уже видел врага, дрался с ним и пусть даже был побежден. Быстрее пойдет в атаку и тот, кто еще совсем не видел врага. Иным страх более нестерпим, чем сама смерть!..

Генерал Лукин ничего не успел ответить на эту пространную тираду. Перед ним встал, выйдя из землянки, бледнолицый и тощий лейтенант с красной повязкой на рукаве. Обратившись к генералу, как положено по уставу, он передал ему пахнущий казеиновым клеем бланк с телеграфным текстом. Лукин читал телеграмму долго, будто расшифровывая. Затем хмыкнул и протянул ее Лобачеву:

— Тут нечто подтверждающее твою философию от сегодняшнего дня. — Слова Михаила Федоровича прозвучали с ироничной грустью.

Лобачев прочитал вслух:

— «Малышева, взорвавшего мосты через Днепр и помешавшего восстановлению положения в Смоленске, арестовать и доставить в штаб фронта..» Подпись: «Прокурор фронта...»

— Но ведь полковник Малышев поступил согласно нашему приказу, — напомнил полковник Шалин. — Я вместе с начальником инженерной службы готовил бумагу... Правда, мы сказали тогда Малышеву, что приказ вступит в силу после того, как штаб фронта даст «добро»...

Завластвовало удручающее молчание, будто все чувствовали себя в чем-то виноватыми и устыдились друг друга.

— Подготовьте прокурору объяснительную телеграмму, — прервав молчание, хмуро приказал Лукин начальнику штаба, а затем уставил чуть насмешливый взгляд на Лобачева: — Пророк с комиссарской звездой...

— Почему бы и не пророк? — В голосе Лобачева зазвучал смех. — Я однажды напророчил самому товарищу Ленину!

— Ну, так сильно не загибай, — предостерег Лукин, однако посмотрел на Лобачева поощрительно, ибо любил слушать его рассказы о трудном сиротском детстве, голодной, но боевой юности, и особенно о том периоде, когда Алексей Андреевич был кремлевским курсантом, не раз стоял на посту № 27 у квартиры Ленина и многажды видел и слышал вождя.

— Не совсем, конечно, Ленину, — поправился Лобачев, — а моим друзьям, которые хотели упростить Владимиру Ильичу процедуру уплаты им партийных взносов...

Послышался нарастающий гул моторов. Он ширился, будто заполняя все пространство вокруг, звучал все отчетливее и устрашающе: почти на бреющем полете шла вдоль магистрали Минск — Москва видимая сквозь плетение ветвей деревьев шестерка «юнкерсов». Зенитчики, прикрывавшие этот лес, не стреляли по столь заманчивой цели: нельзя было демаскировать штаб армии, пока над ним не нависла прямая угроза.

— Прошли... Продолжайте, Алексей Андреевич, — поторопил Лобачева полковник Шалин, взглянув на наручные часы: он, как и все начальники штабов, постоянно испытывал недостаток во времени и безмерно дорожил им.

— Так вот! — Лобачев потер от удовольствия руки, видя, с каким интересом его слушают. — У нас в Кремле был свой подрайком партии. Там состояли на партийном учете также наши командиры и курсанты. И Ленин там состоял. И вот наш командир роты Григорий Антонов, а он был казначеем в подрайкоме, говорит однажды: «Владимир Ильич самый дисциплинированный плательщик членских партийных взносов. А ведь он очень занят. Что, если я предложу ему присылать с деньгами своего секретаря?» Я возьми да и скажи тогда Антонову: «Товарищ Ленин ответит, что коммунист никому не должен доверять свой партийный билет...» И именно эти самые слова сказал Владимир Ильич Антонову. Честное слово!

— Интересный факт, — серьезно заметил Лукин. — Теперь мы будем величать тебя не только членом Военного совета, но и главным пророком армии.

— А знаете, почему я угадал ответ Ленина?.. — разгоряченно спросил Лобачев. — Однажды в кремлевской парикмахерской я попытался уступить очередь

Владимиру Ильичу: «Садитесь, Владимир Ильич. Я подожду». А он в ответ: «Очередь — это порядок. Она для того и существует, чтобы ее все соблюдали». И усадил меня в кресло... Это, братцы мои, была самая долгая в моей биографии стрижка...

4

А ночью поступила еще одна телеграмма от маршала Тимошенко. По ее содержанию генерал Лукин утвердился в догадке, что в штабе фронта царит крайне напряженная атмосфера, а сам Тимошенко испытывает чрезмерную нравственную усталость. И еще мнилась Михаилу Федоровичу чья-то активная предвзятость «в верхах» по отношению лично к нему. Лукину казалось, что, будь на его месте другой командарм, с иной судьбой, не стал бы Военный совет пугать его судом военного трибунала, если армия, которой он командует, не отобьет у немцев Смоленск. И эта догадка лишала последних сил, ибо, когда вырывал час для сна, мысли с тиранической беспощадностью вновь и вновь обращались к последним телеграммам и тут же, рождая в сердце боль, уносили в совсем недавнее прошлое.

Впрочем, это недавнее уже маячило в памяти до неправдоподобия далеко, будто в полузабытых сновидениях. А вот мучило, бередило душу, перекидывалось зыбким мостком в сегодняшний день и объединялось с грезившейся бедой, может, даже такой тяжкой, какая случилась с первым командующим Западным фронтом генералом армии Павловым и его ближайшими соратниками.

Душевные травмы всегда пробуждают страстную энергию памяти. До сих пор не мог Михаил Федорович смириться с несправедливостью, испытанной в 1937 году. Часто память возвращала его в те времена, когда он, военный комендант Москвы, был привлечен к партийной ответственности за «притупление классовой бдительности». Все началось с чьего-то письма из Харькова, утверждавшего, будто комбриг Лукин, являясь с 1929 по 1935 год командиром стрелковой дивизии в Харькове, поддерживал там дружеские связи с начальником управления железной дороги и одним из политработников военного округа, которые потом были разоблачены как враги народа.

Так родилось на свет его персональное партийное дело.

Вначале Михаил Федорович воспринял это как нелепость. Да и все вокруг благодушно посмеивались: нашли, мол, повод для промывания косточек коменданту столицы. Но вот открылось собрание. Докладчик начал почему-то страстно и довольно картинно рисовать ситуацию: командира дивизии Лукина, как выяснилось, опутали дружескими связями ныне разоблаченные враги народа. Будучи военным комендантом Москвы, он скрыл это. К чему все могло привести?.. И пошла писать губерния... Докладчика стали дополнять вдруг «прозревшие» выступающие, воображение всех распалялось все больше... Между Лукиным и собранием образовалась пустота, и ее постепенно будто заливали бетоном отчуждения. Бетон твердел, и пустота превращалась в непреодолимую стену враждебности или настороженности по отношению к Лукину. И в итоге образовался монолит общественного мнения, порушить который было трудно. Каждый участник собрания в отдельности потом не в силах был понять, как вырос сей «монолит», на чем держалась его порочная твердь. И что удивительно: сам «подсудимый» в какое-то время тоже ощутил себя в чем-то виноватым, даже устыдился своей вины, хотя и не понимал ее сути... Так из ничего родилось все, хотя сам Платон, ученик Сократа, утверждал, что все состоит из всего.

Явись тогда на партийное собрание хоть один человек с просветленным взглядом на положение вещей, и все увиделось бы в ином свете, многое стало б ничтожным и смешным... Такого не случилось. В итоге — строгое партийное взыскание, а затем отстранение от должности военного коменданта Москвы.

Только со временем, проведя несколько месяцев в тревожном безделье, в мучительных размышлениях, комбриг Лукин усилиями маршала Ворошилова был направлен на штабную работу в Сибирский военный округ. Терпеливо снес тогда обиду, ибо то было смутное время, требовавшее горькой дани даже при абсурдных обвинениях. Родилось оно, как понимал Лукин, усилиями тайных врагов, карьеристов и в результате прямых ошибок иных обладавших властью, допускавших злоупотребления не только индивидуальной, но и социальной силой. Кое-какие слои общества забродили тогда от дрожжей недоверия: некоторым мнились за-

таившиеся враги даже там, где их вовсе не было и не могло быть. И часто обвинялись безвинные; тогда рушились судьбы честных людей, разверзалась пропасть перед целыми фамильными династиями... Не обошло это черное поветрие и армию, обнажив многие командные высоты и нанеся вред военному могуществу государства...

В начале 1940 года Москва затребовала на генерала Лукина партийную характеристику: готовилось его назначение командующим 16-й армией. И вновь пришлось испить ему горькую чашу обиды: несколько часов обсуждало партийное собрание «политическое лицо» коммуниста Лукина. Опять было разворошено все старое и через замутненность давних событий, с незнанием подспудности истин, просмотрен каждый последующий шаг генерала. Сказалось и то, что характер у него был крутоват: уже за время пребывания в Сибирском военном округе на постах заместителя начальника штаба, начальника штаба, а затем заместителя командующего Михаил Федорович успел кое-кому «насолить» — усложнить жизнь своей строгой требовательностью и непреклонностью в службе. Но правда восторжествовала: вскоре он стал командармом.

И вот здесь, под Смоленском, опять камень на сердце, будто кинутый из прошлого. Ему шлет Военный совет шифровку, в которой требует выбить немцев из Смоленска и угрожает, что в случае невыполнения приказа его ждет суд военного трибунала. Как же это понять? Ему не верят, что он никак не может при наличии столь малых сил вернуть Смоленск? Значит, его ждет такая же судьба, как и Павлова? Это уже даже не обижало, а ожесточало. Генерал армии Павлов ведь действительно в преддверии войны и в ее первые дни далеко не все сумел сделать так, чтобы наземные и воздушные силы Западного фронта не понесли столь больших потерь... А он, генерал-лейтенант Лукин, кое-что успел сделать еще до прибытия сюда, под Смоленск. Мог бы и гордиться сделанным на Юго-Западном фронте, в Шепетовке, в самые первые дни войны. Ведь его «шепетовские» решительные и рискованные действия, принесшие в итоге огромную пользу Юго-Западному фронту, были замечены высшим командованием...

Но на войне высшему командованию часто не хва-

тает времени оглядываться во вчерашний день. И вот эта жестокость приказов и многозначительность телеграмм...

5

Если есть история событий в их причинных связях и их взаимообусловленностях, то и есть подобного склада история человеческих чувств и отношений. Генерал армии Жуков, деятельность которого как начальника Генерального штаба каждый день получала оценку Государственного Комитета Обороны чаще всего в лице Сталина, иногда задумывался над тем, как и из чего сложились его суждения об этом первом в партии и в государстве человеке, как созрели те сложные чувства к Сталину, которые испытывал почти каждый раз, готовясь к встрече с ним. А встречаться с Председателем ГКО, не считая телефонных переговоров, приходилось дважды в сутки, когда докладывал в Кремле не только все то главное, происшедшее на фронтах, изученное и обобщенное Генеральным штабом как рабочим органом Ставки, но также излагал созревшие выводы, предположения и проекты очередных оперативно-стратегических решений.

А донесения с фронтов ничем не радовали. Наши потери росли, и враг на многих направлениях все глубже вгрызался в советскую территорию. Поэтому атмосфера в кабинете Сталина часто оказывалась до предела наэлектризованной, и Жуков нередко уходил от него, ощущая напряжение каждого нерва, каждой клетки тела. На резкости в высказываниях Сталина сам часто отвечал резкостями, зато каждая похвала Сталина в его адрес, каждое согласие с предлагавшимися Генштабом оперативными решениями окрыляли Жукова, придавали ему уверенности, пробуждали новую энергию к действию и к поискам мысли.

Но все-таки не объяснить словами его чувства к Сталину из-за их многосложности и некоторого непостоянства. Когда Жуков размышлял над этим, часто вспоминал самую первую встречу с ним. Она имела предысторию, связанную с событиями весны и лета 1939 года на Дальнем Востоке. Жуков, тогда заместитель командующего войсками Белорусского военного округа, был срочно вызван в Москву, к народному комиссару обороны Ворошилову, который сообщил ему о том, что Япония напала на Монголию, а Советский

Союз согласно договору с Монголией должен оказать ей военную помощь. Потом маршал Ворошилов спросил: «Можете ли вылететь туда немедленно и, если потребуется, принять на себя командование войсками?»

Жуков бегло взглянул на стол для заседаний, покрытый картой Монголии, увидел начертанную восточнее реки Халхин-Гол линию вторжения японских войск. Он, разумеется, знал, что кульминация полководческой мудрости — это правильное решение, вытекающее главным образом из знания противника и своих войск. Ни первого, ни второго у него пока не было, но, повинуясь зову своего характера идти навстречу трудностям и опасностям, тут же ответил: «Товарищ маршал, готов вылететь хоть сию минуту!»

Жуков полагал, что после этого его пригласят в Генштаб, там начнется сидение над картами, изучение оперативно-тактических приемов действий японских войск. А затем будет встреча со Сталиным. Ничего подобного не случилось...

«Очень хорошо, — удовлетворенно сказал ему Ворошилов, — самолет для вас будет подготовлен на Центральном аэродроме к шестнадцати часам...»

Чем завершились сражения на Халхин-Голе — всем известно. Красная Армия отбила у Японии охоту мериться силами, заставила ее поостеречься нападать на СССР вслед за фашистской Германией... Лично же Жуков показал свое истинное полководческое искусство, свою волю и целеустремленность, по праву заслужив звание генерала армии и Героя Советского Союза.

Со временем его вызвали в Москву для назначения на новую должность и тогда лишь впервые пригласили в Кремль.

Узнав, что предстоит встреча со Сталиным, Георгий Константинович испытал такое волнение, какого, кажется, никогда не испытывал. Не потому, что был наслышан о сложности и загадочности характера Сталина. Он размышлял о Сталине как верном соратнике Ленина, мудром продолжателе его учения и военно-политическом стратеге с железной волей и непостижимой глубиной ума.

В кабинете Сталина увидел также Молотова, Калинина и Ворошилова. За чаем началась беседа, в которой ему, тогда сорокачетырехлетнему генералу армии, была отведена главенствующая роль. Все очень внимательно слушали оценочные размышления Жукова о

японской армии, ее сильных и слабых сторонах, а также о том, как действовали в боях с самураями войска Красной Армии. Члены Политбюро задавали вопросы, и Жуков свободно и раскованно отвечал на них. Но вдруг Сталин спросил о неожиданном:

— Как помогали вам Кулик, Павлов и Воронов?

Жукову почудилось, что в этом вопросе крылась какая-то опасность для него, и по велению своего характера поспешил ей навстречу, кинув озадаченный взгляд на Ворошилова. О помощи пребывавших во время боевых действий на Халхин-Голе Павлова как начальника автобронетанкового управления Красной Армии и Воронова как начальника артиллерии Жукову было что сказать членам Политбюро. Он действительно ощущал их присутствие и помощь. А о маршале Кулике, заместителе наркома обороны?.. Уклоняться от правды он не умел. И, еще раз взглянув на Ворошилова, продолжил с сумрачностью в голосе:

— Что касается маршала Кулика, то я не могу отметить какую-либо полезную работу с его стороны...

Сталин, до этого прохаживавшийся по кабинету, вдруг остановился. Выдохнув облако табачного дыма, он чуть наклонился и Жукову и, притронувшись мундштуком трубки к его плечу, кажется, заглянул в самую душу. Этот пронизывающий взгляд показался Георгию Константиновичу нестерпимо долгим. Шевельнулось в глубине сердца ощущение виноватости перед Ворошиловым. Но взгляда не отвел от золотистых глаз Сталина и ничем не выразил чувства виноватости... Потом уловил, как под густой проседью усов Сталина промелькнула улыбка, и, не поняв ее значения, внутренне ощетинился, собираясь обосновать свою оценку деятельности Кулика. Но вопросов больше не последовало. На прощание ему все горячо и почтительно пожимали руку.

Возвращался из Кремля в гостиницу «Москва» словно в легком опьянении. Даже не верилось, что только сейчас слышал он негромкий голос Сталина, примерял свои суждения к его мыслям и взглядам, касавшимся военных дел... Он долго не мог уснуть в ту памятную ночь, тщетно убеждая себя — нет ничего удивительного, что Сталин так профессионально разбирается в оперативном искусстве и военной стратегии. Ведь еще в гражданскую войну, когда Жуков был только рядовым красноармейцем, Сталин уже принимал участие в раз-

работке крупных военных операций. С его именем связаны победы Красной Армии при обороне Царицына, над силами Деникина. Вспомнилось знаменитое письмо Сталина с Южного фронта, адресованное Ленину...

Да, действительно есть история событий и есть история чувств. Но у той и другой истории нет ни начала, ни конца, ибо сила человеческой памяти не столь велика, чтобы постигнуть бесконечность прошлого; и никому не дано заглянуть далеко за порог будущего...

Вспышка гнева Сталина, вызванная вестью о взятии немцами Смоленска, суровые слова, сказанные им по этому поводу начальнику Генерального штаба Жукову, как бы задали тон некоторым директивам и приказам, понесшимся в эти дни в нижестоящие штабы. Жесткие в формулировках задач и крутые в оценках действий войск, они, несомненно, нагнетали атмосферу напряженности в штабах фронтов и армий, что не лучшим образом сказывалось на деятельности командного состава. Генерал армии Жуков остро почувствовал это при последнем телефонном разговоре с маршалом Тимошенко, который сумрачно заявил, что, с его точки зрения, командармы Лукин и Курочкин заслуживают своими действиями высокой похвалы, а он вынужден, опираясь на приказы свыше, пугать их судом военного трибунала...

Конечно же, о каком суде могла идти речь, когда вся война с ее страшным размахом стала гигантским судилищем над целыми народами, державами, социальными системами! Приговор этого судилища неторопливо вызревал в кровавом соперничестве огромных армий, опиравшихся на могущество огня, железа и на силу человеческого духа. Жуков понимал, что если Тимошенко и не задумывался так о войне в целом, то не мог не уяснить главного: для Лукина, Курочкина, для всех их штабов и войск, продолжавших сражаться за Смоленск, ведя бой в оперативном окружении, ничто уже не могло быть более страшным.

Направляясь на очередной доклад к Сталину, Жуков намеревался поговорить с ним и об этом — надо было каким-то образом ослабить напряженность в штабах, не снизив их оперативности в управлении войсками. Хорошо бы, если б при докладе Жукова присутствовали члены Политбюро — пусть даже один Моло-

тов, который чаще других заступался перед Сталиным за военных.

Когда ехал из Генштаба в Кремль, успел поразмышлять о том, что разгневанный, уязвленный Сталин ему понятнее — он тогда больше похож на других людей. И у Жукова всегда находились слова, чтобы если и не умерить его гнев, то напомнить: они вместе отвечают за Вооруженные Силы и что адресованные ему, Жукову, упреки относятся и к самому Сталину.

6

Сегодня в кремлевском кабинете Сталина, как и каждый день, вершились самые разнообразные дела, связанные с войной, которая и в Кремле уже была суровой будничностью. За длинным столом с зеленым суконным покрытием сидели Молотов и Шахурин, а Сталин, повернувшись к ним спиной, стоял у своего рабочего стола и разговаривал по телефону с горьковским заводом «Красное Сормово». На другом конце провода был нарком танковой промышленности Малышев.

Тем временем Молотов перечитывал копию личного послания Сталина премьер-министру Великобритании Черчиллю, которое 18 июля было передано в посольство Советского Союза в Лондоне. В этом документе — ответе на два июльских письма Черчилля — Сталин, сообщив о трудном положении советских войск, подвергшихся внезапному нападению Германии, высказал пожелание о скорейшем открытии Великобританией второго фронта против Гитлера. Сейчас Кремль с напряженным нетерпением ждал ответа из Лондона, и Молотов, строя догадки о содержании ожидавшегося ответа, мысленно прокладывал новые направления усилий советской дипломатии.

А наркома авиационной промышленности Шахурина одолевал сон. Последние несколько суток Алексей Иванович почти не спал, снуя, как ткацкий челнок, между своим наркоматом, конструкторскими бюро и авиационными заводами: везде требовались его глаз, вмешательство, помощь. Перед Шахуриным высилась кипа секретных документов; сверху — бумага со сводными данными о построенных за неделю авиамоторах и самолетах. Он силился вникнуть мыслью в некоторые цифры, но машинописный текст на листе бумаги расплывался перед слипавшимися глазами, а голова клонилась к сто-

лу... Тогда он откинулся на спинку стула и стал вслушиваться в разговор Сталина с Малышевым.

Мембрана в трубке телефонного аппарата высокой частоты, которую держал Сталин, резонировала, и из нее изредка вырывались всплески знакомого Шахурину голоса. А может, голос Малышева сам по себе воскресал в его затуманенной дремой памяти? Скорее что так, ибо Шахурин, смежив веки, будто увидел Малышева рядом с собой, но почему-то уже в зале заседаний Совнаркома. Малышев придвигал к нему блокнот с какими-то записями и вытирал платком свой большой лоб с глубокими залысинами, ероша при этом густые брови над крупными, светившимися глубоким умом глазами. Они были спокойны, улыбчивы и придавали его интеллигентному лицу безмятежность. И будто услышал Шахурин слова, сказанные ему Малышевым давно — еще до войны: «Алексей Иванович, нам еще далеко до сорока лет, а мы с тобой будто старики, кроме своих наркоматов и заводов, ничего не знаем... Давай хоть соберемся с женами да посидим за столом по-христиански, песни споем...»

И вдруг полилась песня, зазвенел, заиграл высокий мужской голос. Шахурин понял, что это поет Сталин; ведь он от кого-то слышал, что у Сталина красивый, высокий голос, совсем не похожий на тот, которым он разговаривает...

Алексей Иванович проснулся от легкого толчка в бок. Вскинув голову, открыл глаза и увидел устремленный на него смеющийся взгляд Молотова.

— Будете после войны писать мемуары, — шепотом сказал ему Молотов, — не забудьте рассказать, как спали в кабинете Верховного Командующего... Этого еще никому не удавалось...

Шахурин, окончательно сбросив дрему, со смущением ответил:

— Три ночи не спал... Гоним новый самолет... — и осекся, увидев, что Сталин повернул к ним голову и в глазах его сверкнула строгость.

Только сейчас до Шахурина стал доходить смысл телефонного разговора Сталина с Малышевым:

— Да-да!.. Мы вам доверили, товарищ Малышев, организацию новых центров танковой промышленности, — говорил Сталин с заметным грузинским акцентом. — И ЦК надеется, что сейчас, когда часть нашей броневой базы находится под ударами авиации врага,

вы, как нарком танковой промышленности, разумно распорядитесь тем, что у нас имеется в Москве, в Подмосковье и на заводах Поволжья...

В дверях кабинета бесшумно появился и застыл на месте Поскребышев — с усталым лицом и красноватыми белками глаз от постоянного недосыпания. Сталин будто увидел его затылком и повернулся лицом к двери. Коротко взглянув на Поскребышева, потом на настенные часы над дверью, он чуть заметно кивнул ему, и тот, сверкнув лысиной в солнечных лучах, падавших в окно, исчез... В кабинет тут же вошли начальник Генерального штаба Жуков и сопровождавший его генерал с разбухшим портфелем в руке. Приветственно щелкнув каблуками блестевших черным глянцем сапог, они, видя, что Сталин стоит спиной к двери, присели к столу. Генерал, расстегнув толстый коричневый портфель, стал выкладывать из него на зеленое сукно стола карты и документы.

А Сталин между тем продолжал говорить в телефонную трубку:

— Товарищ Малышев не должен ошибаться, какой танк поручить выпускать Горьковскому заводу, какой Коломенскому. Сейчас фронту нужны тридцатьчетверки и КВ...

Сталин умолк, и уже не в усталом воображении Шахурина, а из телефонной трубки слышался ему приглушенный голос Малышева:

— Товарищ Сталин, надо помочь Главному автобронетанковому управлению в ремонте танков... На фронтах еще не все понимают, что подбитый танк — это не утиль, не отходы войны... Танк очень редко уничтожается целиком... Это — тысячи деталей... Из трех танков можно возродить один-два.

— В чем должна выразиться наша помощь? — спросил Сталин.

— Прикажите товарищу Мехлису мобилизовать фронтовых политработников для разъяснения этого всем бойцам и командирам. Ускорение ремонта поможет нам заполнить паузу в выпуске новых танков, пока идет эвакуация на восток заводов и их развертывание на новых местах...

— Хорошо. До свидания, товарищ Малышев. — Сталин положил на аппарат трубку, взял синий карандаш и, наклонившись над столом, сделал на календаре запись.

Жуков и его помощник, видя, что Сталин освободился, встали.

— Садитесь, товарищи военные. — Сталин махнул им рукой и, глядя на Шахурина, скупо улыбнулся. Затем сказал: — А кое-кто жалуется на строгость товарища Сталина... — Он выразительно взглянул на Жукова: — Какая же это строгость, скажите на милость? Приходят наркомы к нему в кабинет с отчетами и... укладываются спать... Мы вам не помешали, товарищ Шахурин?..

— Извините, товарищ Сталин, — Алексей Иванович чувствовал себя, как провинившийся школьник. — Больше такого не повторится.

— Ничего, бывает. Знаю, что нелегко вам... Так на чем нас прервал товарищ Малышев телефонным звонком? — Сталин устремил на Шахурина уже серьезный, требовательный взгляд.

— Вы говорили о роли заместителей наркомов, — напомнил Алексей Иванович.

— Да... Так вот, и у вас прекрасные заместители!.. Дементьев, Яковлев, Хруничев, Воронин... Великолепные специалисты и хорошие партийцы. Вот они и должны посещать отдаленные заводы, опытные аэродромы и конструкторские бюро... По вашему распоряжению. Ну зачем вам было самому лететь в Рыбинск?

— Там на заводе разгорелся конфликт между конструкторами и производственниками, — пояснил Шахурин.

— Конфликт мог прекрасно уладить товарищ Патоличев[1]. Он организатор высшего класса, хорошо работает с людьми, с ходу умеет вникнуть в дело.

— Верно. Не подумал я...

— Давайте договоримся твердо: без моего ведома вы из Москвы не отлучаетесь. И лично на вас в числе прочих обязанностей лежит ежедневный отчет перед ЦК и Совнаркомом... Письменный отчет!.. О выпуске самолетов и моторов. И не простой отчет о собранных самолетах, а о проверенных в воздухе — облетанных и отстрелянных...

— Все ясно, товарищ Сталин. — Шахурин встал и начал складывать в портфель бумаги.

Алексей Ивановичу хотелось послушать доклад Жу-

---

[1] Н. С. Патоличев — в то время первый секретарь Ярославского областного комитета партии. *(Прим. авт.)*

кова о положении на фронтах, но в приемной наркомата его ждали «гонцы» с заводов, да и видел, что Сталин уже будто забыл о нем и подошел к другому краю стола, где были развернуты карты.

Генерал армии Жуков, поняв, что Сталин переключился мыслями на фронтовые дела, решил сказать ему то, о чем намеревался.

Но Сталин упредил:

— Однажды мы толковали за обедом, что не надо сердиться на Сталина, когда он ругает товарища Жукова. — Он поднял зажатую в правой руке потухшую трубку, будто призывая к вниманию. — Сталин ругает Жукова, а Жуков ругает командующих фронтами и армиями, и дело идет лучше. Но нельзя ругать Жукова и командующих до такой степени, чтоб деятельность их сковывалась и дело шло хуже...

Жуков внутренне содрогнулся: ведь он сам собирался, может, в иной форме сказать эти же слова Сталину.

— Так что передайте товарищу Тимошенко, чтоб он излишне не ругал Лукина, Курочкина и Конева. Более того, пусть представит их к высоким правительственным наградам; возможно, это поможет Лукину и Курочкину вышвырнуть немцев из Смоленска...

— Вы правы, товарищ Сталин... — только и нашелся Жуков. — Разрешите докладывать?

— Одну минуту. — Сталин повернулся к Молотову: — Будет полезно, если начальник Генерального штаба познакомится с нашим письмом Черчиллю. — Затем пояснил Жукову: — Мы предложили английскому премьеру поторопиться с открытием второго фронта.

— Даже указали устраивающие нас возможные варианты его создания, — уточнил Молотов.

— Простите, я не очень понял. — Жуков нахмурил брови, и глаза его сузились, потемнели. — И вам не потребовалась для этого точка зрения Генерального штаба?

Сталин и Молотов переглянулись, будто не зная, как реагировать на слова генерала армии.

— Есть ведь оперативно-стратегические целесообразности... — Жуков испытывал неловкость и с трудом подбирал слова. — Они могли быть вам неизвестны...

Сталин досадливо усмехнулся, сунул в рот мундштук трубки и успокоительно сказал:

— Мы пока исходили из целесообразностей политической стратегии... Из изученных нами факторов.

— В порядке военно-политического зондажа, — добавил Молотов и открыл одну из своих папок. — Вот, Георгий Константинович, можете познакомиться с личным посланием товарища Сталина господину Черчиллю.

От Жукова не ускользнуло чуть заметно сделанное Молотовым ударение на словах «личным посланием», и он тут же сказал:

— Я не дипломат... Раз существует форма обменов между главами правительств личными посланиями, может, Генштаб действительно тут ни при чем.

— Читайте, — требовательно сказал Сталин и, повернувшись к Жукову спиной, медленно направился к своему рабочему столу.

Жуков взял две странички с четким машинописным текстом и про себя начал читать:

«Разрешите поблагодарить Вас за оба личных послания.

Ваши послания положили начало соглашению между нашими правительствами. Теперь, как Вы выразились с полным основанием, Советский Союз и Великобритания стали боевыми союзниками в борьбе с гитлеровской Германией. Не сомневаюсь, что у наших государств найдется достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить нашего общего врага...»

Затем Сталин сообщал премьер-министру Великобритании, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным, и объяснял причины этого...

«Мне кажется далее, — писал он, — что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт имен-

но теперь, когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских воздушных и морских сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев.

18 июля 1941 года».

— Все логично, товарищ Сталин... Мысль к мысли, как патроны в обойме. — Жуков по-прежнему испытывал неловкость за высказанное недоумение по поводу того, что к выработке вариантов открытия второго фронта не были привлечены специалисты Генерального штаба. Генштабисты ведь действительно изучали возможность вооруженных сил Великобритании нанести где-либо серьезный удар по немецко-фашистским войскам.

— Патроны в обойме — это хорошо сказано. — Сталин смотрел на Жукова с чуть заметной улыбкой. — А ваш вопрос, почему мы не прибегли к помощи Генштаба, логичен. Впредь в переговорах с союзниками о втором фронте и их помощи нам мы будем опираться не только на Генштаб, но и на всю вычислительную службу наших наркоматов, работающих на оборону.

— И на запросы главного интенданта Красной Армии товарища Хрулева, — добавил Молотов.

— Интересно, товарищ Сталин, как откликнутся англичане на ваши предложения, — сказал Жуков, с удовлетворением восприняв услышанное.

— Не спешат откликаться. — Молотов похлопал рукой по папке с бумагами. — Они сейчас, как я полагаю, с особой тщательностью собирают и суммируют информацию о положении дел на наших фронтах, опираясь главным образом на немецкие источники. И сравнивают с нашей информацией... И, я думаю, ждут, как поведет себя Москва после первых бомбардировок. Выстоит ли, мол?..

— Да, ждут результатов бомбардировок, — согласился Сталин. — Геринг и Гитлер особенно в последние дни яростно грозятся тотально разгромить Москву бом-

бардировкой с воздуха и утопить ее в море огня. Возможно, эта угроза пугает англичан, познавших на себе силу ударов немецкой авиации. Они, возможно, боятся, что и мы с вами не уцелеем, и им тогда не с кем будет вести переговоры... — Сталин вдруг умолк и, глядя на Жукова, будто с трудом подбирал дальнейшие слова.— Еще четвертого июля один разведывательный самолет немцев проник в небо западных окраин Москвы. С тех пор они непрерывно ведут воздушную разведку...

— Да, товарищ Сталин. Посты ВНОС[1] уже зарегистрировали около девяноста разведывательных полетов в направлениях Москвы, — подтвердил Жуков. — Девять самолетов прорвались в район города... Летчиками нашего 6-го истребительного авиакорпуса сбито несколько «хейнкелей»... Один таранен...

— Сбить несколько воздушных немецких разведчиков из девяти десятков — негусто, — задумчиво сказал Сталин и приблизился к одному из окон, выходящих на Арсенал[2]. — Это не очень соответствует нашему убеждению, что советская военная наука глубоко разработала тактику противовоздушной обороны крупных административных и промышленных центров.

Жуков хотел объяснить Сталину, что у немцев разведывательные самолеты новейшей конструкции. К тому же, как показали сбитые и пленные немецкие летчики, их облегчают до предела: заправляют строго ограниченным количеством бензина, снимают часть вооружения, сажают за штурвалы самых легких по весу пилотов. Но Сталин, продолжая смотреть в окно, упредил Жукова:

— Докладывайте... Какие изменения на фронтах?

Процедура доклада суммированных Генштабом сведений о событиях на фронтах стала привычной для Жукова. И он, развернув на столе карту стратегической обстановки, карту с нанесенной группировкой немецких войск, справки о состоянии наших войск и запасов материально-технических средств фронтов и Центра, четко и размеренно начал говорить о том, что за истекшие сутки завершился начатый 14 июля контрудар 11-й армии Северо-Западного фронта по 4-й танковой группе противника в районе Сольцы. В результате

[1] ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь.

[2] Арсенал — здание в Кремле для хранения оружия, снаряжения и трофеев русской армии. Построено в 1701—1736 гг. Неоднократно перестраивалось. *(Прим. авт.)*

контрудара войска армии заняли Сольцы и отбросили немцев на 24—38 километров. Жуков, склонившись над картой, назвал ряд населенных пунктов, по которым проходил сейчас рубеж 11-й армии.

Далее начальник Генерального штаба охарактеризовал обстановку на Западном направлении, сообщив при этом, что войска 22-й армии под ударами превосходящих сил врага оставили город Великие Луки.

На Юго-Западном фронте 26-я армия из района южнее Киева перешла в наступление против войск 1-й немецкой танковой группы. Наступление не получило развития, однако вынудило противника перейти к обороне на рубеже Фастов, Белая Церковь, Тараща...

Сталин слушал, фиксируя в памяти самое существенное, и в то же время мысли его раздваивались — как бы текли по двум руслам. Стоя у окна и вникая в доклад Жукова, он смотрел на уже поднадоевшую картину: обнесенный забором, раскопанный и изломанный сквер, ленту транспортера, непрерывно и неутомимо двигавшуюся к вершине забора, неся на себе из-под земли крошево грунта. За забором урчали грузовики, по очереди подставляя свои кузова под транспортер... Это метростроевцы торопились закончить бомбоубежище.

Сталину запомнился тот довоенный майский день, когда началось это строительство в Кремле. Накануне того дня он выступал в зале заседаний Верховного Совета перед выпускниками военных академий; потом в Георгиевском зале был традиционный правительственный прием. Во время приема Сталин ищущим взглядом посматривал из-за стола членов Политбюро в глубь зала; там пиршествовала военная молодежь, и где-то среди нее был его сын — Яков Джугашвили, выпускник артиллерийской академии имени Дзержинского. Кто-то перехватил и угадал взгляд Сталина, и вскоре Якова препроводили к столу Политбюро. Все с ним чокнулись бокалами, а Сталин сказал: «Ну, Яша, мы рады за тебя. Поздравляю!.. Скоро артиллеристы понадобятся Родине. И не только артиллеристы...»

Молотов, который был на приеме за председателя, объявил, что слово для тоста предоставляется товарищу Сталину. И когда после бурных аплодисментов наступила тишина, Сталин произнес речь, в которой без обиняков сказал, что война уже стучится в нашу дверь, и напомнил, что в современной войне большую роль игра-

ет артиллерия, как бог войны, затем предложил выпить за артиллеристов.

Но молодость беспечна. Никого не удручило напоминание Сталина о войне. Веселый гул за столами не утихал. Тут же, в Георгиевском зале, начались выступления артистов.

На другой день они с Молотовым обменялись впечатлениями о вчерашнем приеме. Молотов с похвалой отозвался о том, как вдохновенно пел народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов.

...Сталин и Молотов видели, как через сквер четверо крепких парней в брезентовых робах уносили из-под окон квартиры Сталина, размещавшейся этажом ниже, скамейку из красного мрамора. Именовалась она «ленинской», потому что когда-то на ее месте стояла деревянная скамейка и на ней часто сиживал Ленин, лечившийся после покушения на него эсерки Каплан.

Так, 6 мая 1941 года в Кремле началось строительство бомбоубежища, продолжавшееся и по сей день, когда в небе Москвы уже появлялись разведывательные фашистские самолеты.

Сталин с досадой и горечью в мыслях отвернулся от окна и увидел, что Жуков, закончив доклад, выжидательно смотрел на него.

— Я полагаю, товарищ Жуков, — сказал Сталин, — что сейчас в самый раз проверить Московскую зону противовоздушной обороны. Как она готова к отражению воздушного нападения... — После паузы уточнил: — Пока дневного нападения.

— Разрешите, товарищ Сталин, завтра?

— Хорошо, завтра...

7

Нарком иностранных дел Молотов, сидя за рабочим столом в своем кабинете, обставленном старинной ореховой мебелью, испытывал крайнее нетерпение. Только что ему сообщили: из английского посольства доставлено ответное письмо Черчилля, адресованное Сталину. Пока письмо переводили на русский язык, Молотов спешил рассмотреть ждавшие своей очереди документы, чтобы затем со всем вниманием отнестись к посланию премьер-министра Великобритании. Его нетерпение выражалось в том, что он, читая бумагу за бумагой из текущих дел, не мог забыть о письме, стараясь

предугадать его содержание. И с тревогой посматривал на часы: близилось время, когда надо было ехать на командный пункт ПВО, где Государственный Комитет Обороны будет проверять нашу боеготовность к отражению воздушных налетов на Москву.

Молотову подумалось, что время будет сэкономлено, если послание Черчилля принесут прямо к Сталину, и он набрал номер.

— Коба! — с некоторой возбужденностью заговорил Молотов, услышав в телефонной трубке: «Сталин слушает». — Коба, привет тебе от господина Черчилля... Доставлен пакет из английского посольства...

— Приходи, — коротко сказал Сталин, никак не выразив своих эмоций.

— Я иду, а письмо следом — как только переведут.

Прошагав через тишину и безлюдность коридоров, Молотов вскоре оказался в кабинете Сталина. Застал здесь Калинина и Маленкова. Не успел вникнуть в разговор, как в дверях появился Поскребышев, держа в руке зеленую папочку.

— Товарищ Сталин, вам послание от Черчилля, — с некоторой торжественностью произнес он, будто первым узнал о письме английского премьера.

— Не может быть! — с притворным удивлением воскликнул Сталин. — А ну-ка, давай почитаем, что пишет консерватор в большевистский Кремль.

Взяв папку, Сталин раскрыл ее и присел к торцу стола для заседаний. Окинув всех многозначительным взглядом, начал медленно читать:

— «Господину Сталину...

Я был весьма рад получить Ваше послание и узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые Вам удалось приобрести тем, что Вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального удара.

Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи Вам, будет сделано. Я прошу Вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим положением. С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на оккупирован-

ную Францию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы располагают сорока дивизиями, и все побережье более года укреплялось с чисто германским усердием и ощетинилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетами-истребителями, — это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется сплошная цепь укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря, многие из них могут вести огонь через пролив. Ночное время длится менее пяти часов, причем даже в этот период вся местность освещается прожекторами. Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное поражение, а небольшие набеги повели бы лишь к неудачам и причинили бы гораздо больше вреда, чем пользы, нам обоим. Все кончилось бы так, что им не пришлось бы перебрасывать ни одной из частей с Ваших фронтов, или это кончилось бы раньше, чем они могли бы это сделать.

Вы должны иметь в виду, что более года мы вели борьбу совершенно одни и что, хотя наши ресурсы растут и отныне будут расти быстро, наши силы напряжены до крайности, как в метрополии, так и на Среднем Востоке, на суше и в воздухе, а также что в связи с битвой за Атлантику, от исхода которой зависит наша жизнь, и в связи с проводкой всех наших конвоев, за которыми охотятся подводные лодки и самолеты «фокке-вульф», наши военно-морские силы, хотя они и велики, напряжены до крайнего предела.

Однако, если говорить о какой-либо помощи, которую мы могли бы оказать быстро, то нам следует обратить наши взоры на Север. Военно-морской штаб в течение прошедших трех недель подготавливал операцию, которую должны провести самолеты, базирующиеся на авианосце, против германских судов в Северной Норвегии и Финляндии, надеясь таким образом лишить врага возможности перевозить войска морем для нападения на Ваш фланг в Арктике. Мы обратились к Вашему Генеральному штабу с просьбой удержать русские суда от плавания в известном районе между 28 июля и 2 августа, когда мы надеемся нанести удар. Во-вторых,

мы направляем теперь же некоторое число крейсеров и эсминцев к Шпицбергену, откуда они будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские пароходы сообща с Вашими военно-морскими силами. В-третьих, мы посылаем подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль Арктического побережья, хотя при постоянном дневном свете такие операции особенно опасны. В-четвертых, мы посылаем минный заградитель с различными грузами в Архангельск. Это самое большее, что мы в силах сделать в настоящее время. Я хотел бы, чтобы можно было сделать больше...»

Сталин прервал чтение и осипшим голосом сказал:

— Он хотел бы... Если б хотел, то не пустозвонил бы...

Далее в письме шла речь о том, что норвежской легкой дивизии не существует, что изучается в качестве дальнейшего шага возможность базирования на Мурманск нескольких эскадрилий британских самолетов-истребителей, а также высказывались опасения, что, как только станет известно о присутствии британских военно-морских сил на Севере, немцы немедленно бросят туда крупные силы пикирующих бомбардировщиков.

В заключение письма Черчилль писал:

«Прошу предложить не колеблясь что-либо другое, о чем Вам придет мысль. Мы же в свою очередь будем тщательно искать другие способы нанести удар по нашему общему врагу».

В кабинете стало тихо и тоскливо. Блики, падавшие из окон на противоположную стену, чуть дрожали, будто напоминая, что там, за стенами здания, тоже есть жизнь.

Закрыв папку, Сталин с досадой отодвинул ее к сидевшему рядом Молотову и, поднявшись, зашагал по ковру. Все ждали, что он скажет... В воздухе с обновленной силой поплыл ароматный запах дыма от трубочного табака...

— Привычка — вторая натура. — Сталин тихо засмеялся, качнул головой и продолжил: — Верная пословица!.. У английских политиков привычка и натура слились воедино: испокон веков привыкли они глазеть на Европу как на опытный полигон своей политики, чувствуя себя на островах, как у Христа за пазухой... Мир в Европе или пожар войны — им мало печали: их не угрызешь, а польза для них всегда будет...

— Для них, пожалуй, больше пользы при военных ситуациях, — уточнил Калинин, когда наступила пауза. — Вся история — свидетельство этому.

— Вот именно, — согласился Сталин. — Уверен, что, когда мы разобьем фашистов и заживем в мирных условиях, твердолобые, ненавидя коммунизм, будут мешать нам. Им ведь выгоднее подкидывать дровишки в пожар войны и пожинать прибыли... Вот бы достигла наука таких возможностей, чтоб рабочий класс Англии закинул в Европу гигантский якорь и прибуксировал острова Великобритании к Европейскому континенту... Чтоб буржуа ощутили единую земную твердь, скажем, с Францией... Тогда бы по-другому себя вели, ибо любой пожар в Европе угрожал бы их «хижинам»...

— Истина эта весьма очевидна, — сказал Молотов, когда Сталин умолк. Затем, ни к кому не обращаясь, спросил: — Итак, какое резюме? Не спешит Черчилль нам на помощь, не торопится открывать второй фронт.

— Да, не торопится. — В голосе Сталина зазвучало раздражение. — А посему продолжай по дипломатическим каналам заставлять правителей Англии изворачиваться, чтоб нам еще яснее стала их позиция. Я же пока не буду отвечать на это письмо Черчилля как пустое и малозначащее. А там время покажет...

— Хорошо, — согласился Молотов и, пригладив пальцем чуть седеющие усы, извинительно спросил у Сталина: — Не будешь возражать, если я не поеду на командный пункт ПВО?.. Ждет уйма дел... И не хотелось бы откладывать встречу с руководителями танковой промышленности. На мне ведь и эта ноша!

Сталин кивнул в знак согласия, и Молотов ушел. В кабинете воцарилось молчание. Все, кажется, думали об одном и том же: в ближайшие дни ожидался массированный налет немецких бомбардировщиков на Москву. Как все будет? Ведь каждая столица Европы, на которую обрушивались немецкие бомбы, испытала ужас беззащитности. Немецкая авиация оказывалась сильнее их противовоздушных средств, и кварталы столиц превращались в развалины... А как покажут себя Москва и стражи ее неба?..

Сталина мучило ощущение чего-то еще не сделанного, не предусмотренного. В тревоге тоскливо ныло сердце.

Но сделано было, кажется, сверхвозможное, особенно после того как Государственный Комитет Обороны

принял 9 июля решение о противовоздушной обороне Москвы.

Намного были опустошены «сусеки», хранившие запасы вооружения, и поставлено в строй только что поступившее с заводов. Зенитно-артиллерийские части, прикрывающие город, полностью укомплектованы техникой и людьми. В корпус влились четыре вновь сформированных зенитно-артиллерийских и два зенитно-пулеметных полка. Это — сила, а в целом — силища, несмотря на то, что критическое положение на фронтах вынудило взять изрядное количество зенитных орудий с расчетами для формирования противотанковых полков...

Сейчас приготовились грозно устремить свои железные жерла в московское небо 964 орудия и 166 зенитных пулеметов. Один зенитный полк окопал свои батареи прямо во дворах, на бульварах, площадях, в скверах Москвы, усилив оборону ее Центра и особенно Кремля. Количество прожекторных станций, способных одновременно взметнуть в ночную небесную высь потоки света, было доведено до 618 единиц. Каждый зенитно-артиллерийский полк имел свой хорошо укомплектованный прожекторный батальон. Поэтому было решено прожекторные полки вывести из зоны зенитной артиллерии, чтобы с помощью их лучей создать на подступах к столице в северо-западном и юго-западном направлениях шесть световых полей, как световую зону-ловушку для ночного боя нашей истребительной авиации. В ближайшее время планировалось образовать еще десять таких световых полей.

Усилены также части аэростатов заграждения. Над центром города, над водонасосными станциями, а также вдоль западной и южной границ Москвы готовы были высоко вознестись привязные неподвижные летательные аппараты; каждый из них, когда он еще касался брюхом земли, похож на племенную, раздувшуюся до размеров горы, супоросную свинью; в небо они унесут на себе длинные, свисающие вниз заградительные тросы, и с земли уже будут выглядеть как разбежавшиеся по вечереющему поднебесью поросята.

Но главные надежды возлагались на ночных истребителей. Именно поэтому авиационный корпус, прикрывавший столицу, спешно пополнили двумя полками самых современных скоростных истребителей Пе-3 конструкции В. М. Петлякова, оснащенных мощным пуле-

метно-пушечным и ракетным вооружением. И как особую ударную силу в состав корпуса включили две эскадрильи летчиков-испытателей, среди которых были уже известные стране А. Б. Юмашев, В. Н. Юганов, М. Л. Галлай, В. В. Шевченко, А. П. Якимов, М. К. Байкалов, М. В. Федоров и другие.

Всего имелось 582 самолета-истребителя, готовых днем и ночью устремиться в небо навстречу воздушному противнику.

Части ВНОС — глаза и уши командования ПВО — могли оповестить Москву о приближении немецких самолетов на удалении до 250 километров от города. Вокруг столицы было развернуто 702 поста. Главный пост Московской зоны ПВО имел прямую проводную связь с главными постами ВНОС всех зон — Северной, Северо-Западной, Западной, Киевской и Южной. На рубеже Ржев, Вязьма имелось несколько технических новинок — радиолокационных станций обнаружения, которые засекали группы самолетов и обеспечивали наблюдение за ними в зоне до 120 километров, хотя еще не всегда могли точно определять их количество, высоту полета, а тем более принадлежность.

Во всяком случае, внезапное воздушное нападение на Москву исключалось. И была создана возможность наводить наших ночных истребителей на вражеских бомбардировщиков.

Вся Москва тоже оживилась в острой и жгучей тревоге. Рабочие заводов и фабрик, служащие учреждений, студенты и школьники, домохозяйки и пенсионеры по призыву Моссовета записывались в дружины и отряды — противопожарные, медицинские, дегазационные, аварийные. Все москвичи, словно от удара электрического тока, встряхнулись, устремив мысль к одному — сделать все, чтобы отвратить беду. Председатель Моссовета Пронин, его заместитель Яснов, первый секретарь МК и МГК Щербаков, опираясь на своих аппаратных работников, на исполкомы райсоветов и райкомы партии столицы, не отличали дня от ночи, готовя Москву к тяжким испытаниям. На базе управления исполкома было создано 6 специализированных полков и 26 батальонов местной противовоздушной обороны, на предприятиях и при домоуправлениях — сотни команд самозащиты и тысячи санитарных. Сформированы полки, отдельные батальоны и роты для ликвидации последствий бомбардировок. Более двухсот ты-

сяч человек влились в специальные противопожарные команды. Оборудованы тысячи и тысячи бомбоубежищ.

Да, Москва поднялась на борьбу. Стар и млад учились всему, что могло пригодиться, — тушению зажигалок, оказанию помощи раненым, пользованию противогазами. Люди словно переродились, позабыв о собственных устремлениях, бедах, нуждах или неурядицах. Жильцы коммунальных квартир будто стали едиными семьями, население каждого дома — боевыми дружинами, спаянными общими заботами. А главное, каждый до изнеможения трудился на своем посту — так требовала война.

Для дезориентации врага были закамуфлированы наиболее заметные с воздуха здания и площади города, замаскирована излучина Москвы-реки у Кремля. Даже меняли ландшафт Подмосковья. В 200-километровой зоне от столицы как по волшебству выросли многочисленные заводы, фабрики, нефтебазы, элеваторы, аэродромы, мосты, склады... Это были всего лишь макеты, возведенные инженерными войсками при помощи москвичей и жителей области, чтобы отвлечь внимание воздушного противника от подлинных военно-промышленных объектов. Столь огромное дело возглавлял заместитель председателя исполкома Моссовета Михаил Алексеевич Яснов, опираясь на помощь главного архитектора Москвы Дмитрия Николаевича Чечулина и военных специалистов.

Но у советского руководства все-таки были основания для глубоких тревог. Сталин, Жуков, как и командование ПВО страны, прекрасно понимали, что полностью скрыть наши приготовления от немцев вряд ли было возможным. Не дремала же их агентурная разведка, и не зря врывались в московское небо немецкие самолеты-разведчики.

Наша разведка тоже подтверждала, что противник замышляет нечто грандиозное... А о многом можно было только догадываться. Ведь с продвижением немецких войск в глубь нашей территории все ближе становились к Москве аэродромы, на которых базировалась фашистская авиация. Было доподлинно известно, что только для обеспечения рвавшихся к Москве немецких войск группы армий «Центр» враг сосредоточил более 1000 боевых самолетов.

А что готовилось для удара с воздуха непосредствен-

но по Москве? По Москве не вообще, а по конкретным целям в ней — Кремлю, зданиям ЦК партии, «Правды», ЦК комсомола, административным учреждениям, крупнейшим предприятиям, мостам, железнодорожным узлам и просто по жилым, густонаселенным кварталам... Если б можно было иметь всевидящее око... Оно бы узрело, как скрупулезно немецкое командование создавало из своих лучших эскадр специальную авиационную группу.

Была перебазирована на Восток 53-я авиаэскадра дальних бомбардировщиков «Легион Кондор», обретшая опыт разбойничьих налетов на города Испании, а позже Польши, Югославии, Греции. Экипажи новейших бомбардировщиков «Хейнкель-111» этой эскадры уже не раз побывали над Лондоном и Парижем.

Была нацелена на Москву и 4-я бомбардировочная эскадра «Бевер»; в 1940 году она беспощадно бомбила Лондон, Ливерпуль, Бирмингем, Бристоль и другие города Англии.

На аэродромы в районе Барановичей приземлилась 55-я бомбардировочная эскадра особого назначения «Гриф», а в район Бобруйска — 28-я эскадра.

Сотни немецких бомбардировщиков новейших типов изготовились для тотального, сокрушающего удара по советской столице. Их экипажи — офицерский цвет фашистских военно-воздушных сил; почти половина командиров воздушных кораблей были в званиях полковников.

Созданное единое руководство этой особой авиационной группой во главе с командующим 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршалом Кессельрингом в поте лица репетировало варианты массированного воздушного нападения на Москву с разных направлений, разных высот и в разное время. С немецкой педантичностью и четкостью было учтено и предусмотрено все. Казалось, никакая противовоздушная оборона не сумеет предотвратить сокрушительный удар.

Многое из приготовлений немецко-фашистского командования к уничтожению с воздуха Москвы станет известно советскому руководству позже — особенно из показаний сбитых и взятых в плен немецких летчиков в полковничьих званиях. Но и без того было ясно: надо принимать все меры, чтобы защитить не только Москву, Ленинград, Киев и Харьков, но и Тулу, Серпухов, Электросталь, Шатуру, Подмосковный угольный бас-

сейн, многочисленные отдельные военные объекты...

Да, было над чем размышлять и о чем тревожиться. Возможно, наиболее острое беспокойство испытывал Сталин. В нескончаемом потоке важнейших и неотложных дел военно-государственного масштаба в его памяти то и дело всплывал случай, когда в московском небе появились неопознанные бомбардировщики и по ним был открыт огонь.

Случилось это на третий день войны в три часа ночи. Сталин, перед утром приехавший из Кремля на кунцевскую дачу, был разбужен разразившейся пальбой зенитных орудий и счетверенных пулеметов. Торопливо одевшись, он поднялся на открытую верхнюю террасу дома — солярий — и увидел бледно-светлые полотнища прожекторных лучей, будто подметавших предрассветное небо от густых вспышек взрывов зенитных снарядов. Густота вспышек местами была так велика, что даже казалось: там, в вышине, колыхались под метлами лучей гигантские клумбы ярко расцветших роз.

А вокруг падали на землю с клекочущим воем шрапнельные стаканы [1]. Доносился и шум самолетных моторов. Но из поднебесья не обрушилась на Москву ни одна бомба. Только на несколько мгновений где-то далеко промелькнула золотая строчка пулеметной очереди, ошалело ударившей из невидимого самолета по какой-то зенитной батарее.

Сталин стал под крышу будки, где обычно укрывался во время прогулок по террасе, если шел дождь.

Вскоре был дан отбой воздушной тревоге. Небо, местами затуманенное пороховым дымом, все больше светлело. Сталину потом доложили, что произошло досадное и опасное недоразумение: группа наших бомбардировщиков, возвращаясь с боевого задания на один из подмосковных аэродромов, потеряла ориентировку и направилась в сторону Москвы. Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи не опознали самолеты, но донесли об их курсе, и Москва была разбужена сигналами воздушной тревоги.

Сталин поручил Мехлису, как заместителю наркома обороны, вызвать к себе начальника Главного управле-

[1] В тот раз зенитчики Московской зоны ПВО вели огонь шрапнельными снарядами, их убойные элементы (шрапнель) разлетались в воздухе, а стальные стаканы падали на землю. *(Прим. авт.)*

ния ПВО страны генерал-полковника артиллерии Воронова и командира прикрывающего Москву 1-го корпуса ПВО генерал-майора артиллерии Журавлева и строго разобраться в случившемся. Сам же заторопился на заседание Политбюро для решения сонмища очередных неотложных дел.

Когда приехал в Кремль и вышел из машины, увидел, что у входа в подъезд, под аркой, шла смена караулов. Начальник отделения кремлевской охраны Мельников, проводивший смену, заметив Сталина, скомандовал небольшому двухшереножному строю охранников «смирно!» и сам застыл в неподвижности. Сталин, на ходу кивнув всем в знак приветствия, вдруг остановился. Он подумал, что эти вооруженные карабинами ребята, несшие охрану Кремля не только у входов, но и на Кремлевских стенах, наверняка видели, что творилось за пределами Кремля во время воздушной тревоги.

— Ну, товарищи гренадеры, как чувствовали себя при налете? — спросил у них Сталин.

— Нормально, товарищ Сталин, все оставались на своих постах, — ответил Мельников.

— А как выглядели улицы после объявления тревоги?

Мельников, скользнув подбадривающим взглядом по лицам бойцов, сказал:

— Старший лейтенант Зубиков, отвечайте на вопрос товарища Сталина! — А затем объяснил Сталину: — Граница сегодняшнего поста Зубикова с самым лучшим обзором — от Никольской до Сенатской башни...

Алексей Зубиков — высокий, стройный, с тонкими чертами лица — подтвердил, что с Кремлевской стены ему действительно хорошо была видна Красная площадь и начало улицы Горького вплоть до здания Центрального телеграфа. И с его точки зрения тревога была объявлена с опозданием, ибо вслед за ней тут же послышался в небе гул самолетов и по ним ударили зенитки и пулеметы. А только потом по улице Горького, в направлениях станций метро «Площадь Революции» и «Охотный ряд» хлынули все густевшие толпы полуодетых людей — многие с детьми, с вещичками...

— Похоже было на панику, товарищ Сталин, — закончил свой рассказ старший лейтенант Зубиков.

Поднимаясь к себе в кабинет, Сталин с досадой размышлял над услышанным. Сел за рабочий стол и приказал вошедшему Поскребышеву соединить его с гене-

ралом Громадиным — помощником командующего войсками Московского военного округа по противовоздушной обороне. Когда поднял трубку, будто сам увидел запруженную бегущими людьми улицу Горького — и от этого ощутил горячую волну гнева.

— Доложите, почему была объявлена воздушная тревога и почему был открыт огонь по своим самолетам. — Глухой и прерывистый от раздражения голос Сталина ничего доброго не предвещал Громадину.

— Товарищ Сталин, посты ВНОС еще пока не научились безошибочно отличать по шуму моторов наши самолеты от немецких, — сдерживая волнение, но с чувством своей правоты ответил Громадин. — Вносовцы четко доложили по цепи, что в сторону Москвы идут самолеты. Я на командном пункте не мог знать, поскольку меня не оповестили, что это наши бомбардировщики, а тем более что нашим нечего делать ночью над Москвой... Я, конечно, колебался, поэтому с некоторым промедлением объявил тревогу... Но буду и впредь отдавать приказы об уничтожении любых самолетов, которые попытаются проникнуть в пространство над Москвой...

Сталин представил себе круглое лицо Громадина, его строгий прищур глаз под густыми, почти сросшимися бровями, почувствовал к нему расположение: генерал был прав.

— Хорошо, товарищ Громадин, — сказал ему на прощание Сталин. — Я удовлетворен вашим ответом... Будем считать сегодняшний ночной эпизод учебной воздушной тревогой...

И тут же позвонил Мехлису. Зная, что тот, по крутости своего нрава, может перегнуть палку в объяснениях с генералами Вороновым и Журавлевым, предупредил его, что делать этого не надо и что он уже сам во всем разобрался.

— А вот авиаторов, виновных в потере ориентировки, надо пропесочить... И дайте распоряжение, чтоб в печати и по радио было объявлено: сегодняшний налет на Москву был учебной воздушной тревогой... — Сталин положил трубку, и только тогда у него мелькнула мысль о том, что зенитчики ведь не сбили ни одного самолета. Как могло так случиться?..

С тех пор прошел без малого месяц, а тревога в сердце не только не улеглась, а еще более усилилась. Сегодня, когда была назначена игра на картах с зада-

чей отражения дневного воздушного налета на Москву, Сталин испытывал нетерпение, может, потому, что казалось, будто время упущено — надо было несколько раньше назначить проверку.

Оторвавшись от обжигавших сердце мыслей, Сталин окинул взглядом все еще сидевших в его кабинете Калинина и Маленкова, подошел к столику с телефонами.

— А товарища Щербакова не забыли пригласить? — спросил он сам у себя, протягивая руку к телефонной трубке.

8

Война — смертное противоборство народов разных миров — уже стала привычной формой жизни всей страны и особенно Москвы. Все, что ни делалось на фабриках и заводах, ни решалось в тысячах столичных учреждений, так или иначе было связано с войной... Сопротивляющаяся страна и ее златоглавая и краснозвездная столица, над которой нависла угроза вражеского вторжения, переживали тяжкое время. Именно поэтому в кабинетах всех отделов Центрального Комитета партии, в кабинетах Московского городского и областного комитетов царило небывалое напряжение.

В тиши кабинета главы коммунистов Москвы и Московской области по-особому ощущалась спрессованная сосредоточенность. Стоявшие в дальнем от рабочего стола углу высокие застекленные часы плавными взмахами маятника будто дирижировали ритмом работы в этом кабинете, придавая ей четкость и непрерывность. Многих, входивших сюда, охватывало предчувствие чего-то очень важного, значительного и даже таинственного.

В углу кабинета, за массивным дубовым столом, сидел одетый в военную форму без знаков различия полнолицый человек в очках. Крупная голова его была крепко посажена на плечи, не слишком густая шевелюра разделялась по правой стороне косым пробором. Чуть вздернутый широкий нос над полными губами, складка подбородка, в который врезался воротник гимнастерки, и спокойный взгляд из-за сверкавших стекол очков придавали этому человеку вид крайнего добродушия даже при всей его сосредоточенности.

Это — Щербаков Александр Сергеевич.

На боковом столике для телефона зазвонила «кремлевка».

«Сталин...» — почему-то мелькнула мысль у Щербакова, когда снимал телефонную трубку.

— Щербаков слушает.

— Здравствуйте, товарищ Щербаков, — раздался в трубке знакомый глуховатый голос.

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

— Вот меня не перестает мучить вопрос. — Замедленность речи Сталина свидетельствовала о том, что он тщательно искал самые нужные слова для выражения какой-то волнующей его мысли. — Когда наши бомбардировщики по ошибке оказались над Москвой, слава богу, что зенитки не сбили ни одного... Но почему не попали?.. Вы, как секретарь ЦК, отвечающий за противовоздушную оборону, уверены, что она в хорошей боевой готовности?

— Уверен, товарищ Сталин. Но нас волнует изъятие из войск ПВО слишком большого количества орудийных расчетов с техникой. Восемнадцатого июля мы сформировали десять противотанковых полков... Отдали двести зенитных орудий...

— Так решили Ставка и Государственный Комитет Обороны... Меня сейчас интересует: почему зенитчики не попали?.. Умеют ли они стрелять?..

— Наши бомбардировщики на очень короткое время оказались в зоне обстрела, — пояснил Щербаков.

— Чтобы сбросить на Москву бомбы, не надо большого времени. Важно оказаться над ней.

— Товарищ Сталин, когда генерал Громадин объявил воздушную тревогу, все-таки были сомнения насчет принадлежности самолетов. Это и повлияло на точность стрельбы. Я расследовал...

— И все-таки мы с Жуковым решили провести с руководством первого корпуса ПВО и шестого истребительного авиационного корпуса игру на картах. Надо посмотреть, как они будут отражать дневной налет немцев на Москву... Налета надо ждать в любое время.

— Прикажете приготовить оперативные группы? — со знанием дела спросил Щербаков; он уже присутствовал на подобных играх, которые проводил командующий войсками Московского военного округа генерал Артемьев.

— Распоряжения отданы. Приезжайте к семнадцати часам на командный пункт ПВО. — И Сталин положил трубку.

Щербаков посмотрел на перекидной календарь, где

на листе с датой «21 июля» были записи о многих делах, которыми надлежало ему заниматься в этот день...

За его спиной, как диковинный ковер, висела огромная карта Москвы с четко очерченными и легко раскрашенными в разные цвета районами города. Слева, над длинным столом для заседаний, во всю ширь стены — карта области, тоже раскрашенная, с городами, городишками и селами вокруг столицы. По всему пестрому пространству карты — обозначения заводов и фабрик, различных предприятий.

Трудно было поверить, что сидящий за столом в углу кабинета человек, такой простой с виду, доступный и приветливый, причастен абсолютно ко всему, что нанесено на эти карты. Да еще к противовоздушной обороне и к тому, что начертано на карте-схеме, распластавшейся на столе заседаний и свисавшей до самого пола; там были нанесены рубежи Можайской линии обороны...

Щербаков ведь еще и секретарь ЦК партии, член Военного совета Московского военного округа...

Неужели одному человеку под силу такая, столь тяжкая и ответственная, ноша? Верно, у него колоссальный опыт. К своим сорока годам он успел поработать на высоких постах в Средней Азии, в Горьковской области, Ленинграде. Был первым секретарем Иркутского и Донецкого обкомов партии. Возможно, везде его выручала рабочая закваска. Родившись в древнем Рыбинске, он с двенадцати лет работал в городской типографии, унаследовав от полиграфистов точность и внимательность в деле. Затем трудился на железной дороге, впаяв там в свой характер целеустремленность, четкость и последовательность в работе. А знания, полученные в годы учебы в Коммунистическом университете, а затем в Институте красной профессуры, слившись с обретенным опытом, создали тот крепкий фундамент, на котором и вознесся, набирая силу, дух партийного вожака. Проницательный ум Щербакова позволял в каждый данный момент находить самую главную задачу и держать в границах мысленного видения и памяти все то, что входило в круг его обязанностей.

Если бы только не было так восприимчиво сердце Александра Сергеевича... Каждому человеку, который приходил к нему в кабинет или встречался с ним на заводе, фабрике, на каком-либо собрании, казалось после этой встречи, что обрел он душевного друга или строгого и доброжелательного наставника.

Действительно, у Щербакова было удивительное свойство с первых же фраз проникаться пониманием того, с чем пожаловал к нему посетитель, и тут же находить самое нужное решение. Поэтому по Москве носились разные толки о том, к людям каких профессий питает наибольшее расположение первый секретарь МК и МГК партии. Каждый, кто хоть раз встречался с Щербаковым, высказывал доводы только в пользу своей профессии и даже своей персоны. Но все-таки верх брали велеречивые журналисты и писатели. Они с полной убежденностью и гордостью возвещали о том, что именно к ним наиболее благоволит Александр Сергеевич.

Они не ошибались... и ошибались. Верно, писателей и журналистов он выслушивал очень внимательно, особенно тех, кто приезжал из действующей армии. И не только выслушивал, а и расспрашивал, стараясь ярче увидеть их глазами войну, ощутить ее смертное дыхание. Рассказы очевидцев и поток информации, шедшей с фронтов, помогали Щербакову, может быть, как никому в Москве, понять, сколь трагически для нас складывалось военное противоборство. Перед Александром Сергеевичем не только вырисовывались оперативно-стратегические ситуации на разных участках фронтов и в целом на всем советско-германском фронте, в его богатом воображении вставал обобщенный образ войны и образ всколыхнувшихся народных чувств. Он понимал: подобно тому, как мощное слово любви способно пересоздать человека, так и набатный зов — Родина в смертельной опасности! — будто пересоздал народ, стряхнув с него скорлупу будничных забот о своем личном. События на фронте и в тылу по-особому подсказывали, что забурлили все глубины вскипевшего русского духа, поднялся на борьбу целый мир советских народов и каждый человек в такое время, в том числе и он, Александр Щербаков, обязан, пусть изнемогая под ношей долга, не отчаиваться, не позволять меркнуть мудрости в сердце и взоре.

Щербаков умел «прослушивать» Москву всеми своими чувствами и тут же откликаться на услышанное решением. Когда из сообщений Телеграфного агентства узнал, что в первый день мобилизации в многомиллионной Москве не нашлось ни единого военнообязанного, который бы не явился или хотя бы опоздал на призывной пункт, и что также пришли туда тысячи и тысячи, не подлежащие призыву, уже тогда понял: война будет

всенародной... И в Центральном Комитете партии появилась за подписью Щербакова записка с предложением городского комитета о создании, вслед за ленинградцами, добровольного народного ополчения. Уже 27 июня в Ленинском районе столицы был создан Коммунистический полк, а 2 июля ЦК принял решение о формировании в Москве дивизий народного ополчения.

А разве не по призыву Московского комитета партии уже на второй день войны рабочие десятков далеко не военных заводов столицы и области начали изготовлять минометы, автоматы, фугасные бомбы, снаряды?! Автозавод развернул производство вездеходов, санитарных машин, узлов и литья для пушек, взрывателей. Более ста заводов включились в производство пистолетов-пулеметов системы Шпагина, обретших потом у фронтовиков название ППШ.

А можно ли было не поддержать начинание заводов «Борец», «Динамо», «Станколит» и комбината твердых сплавов, где в первый же месяц войны тысячи женщин-домохозяек, девушек-учащихся заменили у станков мужчин?..

Когда Александру Сергеевичу доложили, что жена генерала-фронтовика Чумакова сдала в банк фамильные драгоценности на большую сумму денег и пожелала не называть ее фамилии, хотя вездесущие корреспонденты радио все-таки проболтались, он ощутил, как встрепенулось его сердце от радостного волнения за человека. А потом узнал, что примеру Чумаковой последовали тысячи. Многие несли в сберкассы золотые и серебряные изделия, деньги и облигации государственных займов. Иные сдавали мотоциклы, велосипеды, пишущие и даже швейные машинки...

И опять записка Щербакова в ЦК партии с предложением создать Народный фонд обороны страны, что и было сделано.

Спустя некоторое время Александр Сергеевич задумается над цифрами, когда узнает, что москвичи, количество которых война уполовинила, внесли в Фонд обороны более 142 миллионов рублей наличными, полторы тысячи граммов платины, около восьми тысяч граммов золота, полтонны серебра...

Александр Сергеевич оторвал взгляд от календарного листка и посмотрел в угол на часы. Близилось время, когда в его кабинете должны были появиться поэт

Василий Лебедев-Кумач, заместитель председателя Моссовета Яснов и военный инженер-строитель Леошеня. Яснов возглавлял созданную Моссоветом оперативную группу для руководства строительством рубежей Можайской линии обороны, Леошеня осуществлял это строительство, ставя задачи начальникам участков и контролируя качество работ. А Лебедева-Кумача, как лучшего поэта-песенника, Щербаков пригласил сам, чтоб тот поприсутствовал при их разговоре об оборонительных сооружениях, а может, и поехал бы с ними в окрестности Можайска. Несколько дней назад Моссовет направил в районы строительства двадцать тысяч москвичей, а сейчас подготовил к отправке еще пятьдесят тысяч рабочих и служащих. Надо было увидеть, как они трудятся, как устроен полевой быт людей, и ощутить их нравственную силу; если надо — подбодрить. Может, Лебедев-Кумач вдохновится на новую песню... Но Государственный Комитет Обороны будет экзаменовать сегодня управление Московской зоны ПВО, а значит, и работу его, Щербакова, который, как секретарь ЦК, немало вложил сил для того, чтобы небо Москвы было надежно защищено.

Александр Сергеевич нажал кнопку электрического звонка. В кабинет вошел его помощник Крапивин — худощавый, стройный, с открытым, но всегда сосредоточенным лицом.

— Товарищ Крапивин, — обратился к нему Щербаков, — срочно известите Яснова, Леошеню и Лебедева-Кумача, что наша сегодняшняя встреча переносится на другое время. В Можайск если и поедем, то на ночь глядя.

— Хорошо, Александр Сергеевич. — Крапивин повернулся, чтобы уйти, но на пороге задержался и с улыбкой сказал: — А Лебедев-Кумач уже здесь — в коридоре читает стихи секретаршам.

— Ах, жаль, мало времени! — Щербаков досадливо взглянул на часы.

— Я извинюсь перед ним, — предложил Крапивин.

— Нет, пусть на минутку войдет. Поэт он ведь не какой-нибудь — весь народ поет его песни...

Крапивин вышел, а Щербаков, дожидаясь Лебедева-Кумача, размышлял: «Поэты — нерв времени. Даже средние из них тонко улавливают звучание эпохи и боль человечества... Да, надо считаться с писателями. Хотя иные среди них — как изжога...»

В кабинет вошел Лебедев-Кумач — лобастый, улыбчивый, излучающий молодость и энергию...

— Здравствуйте, дорогой Василий Иванович. — Щербаков поднялся из-за стола навстречу поэту, чья песня «Священная война», написанная совместно с композитором Александровым, с первых дней вторжения врага стала главной песней Великой Отечественной войны, ее гимном...

9

До тех пор пока не было достроено бомбоубежище в Кремле, Ставка и кабинет Верховного Командующего находились на улице Кирова, 37, в старинном особнячке, соединенном деревянным коробом с входом в метро «Кировская». Тут же рядом были командный пункт 1-го корпуса ПВО и здание Наркомата авиационной промышленности. В кабинете Сталина и было назначено учение — игра на картах по отражению дневного нападения воздушного противника на Москву.

Щербаков застал в приемной Ставки наркома авиапромышленности Шахурина, его заместителей Дементьева и Яковлева, командующего Военно-Воздушными Силами генерал-полковника авиации Жигарева, начальника артиллерии Красной Армии генерал-полковника артиллерии Воронова, командующего ВВС Московского военного округа полковника Сбытова и других. Ровно в 17 часов появился генерал армии Жуков, а через минуту — Сталин и члены Государственного Комитета Обороны. Сталин, направляясь в свой кабинет, пригласил всех следовать за ним. Когда расселись в стороне от длинного стола, Жуков кивнул задержавшемуся у дверей генералу Воронову, тут же в кабинет стали торопливо входить, неся охапки свернутых карт и схем, командующий Московской зоной ПВО генерал Громадин, ее начальник штаба генерал Герасимов, командир 1-го корпуса ПВО генерал Журавлев со своими штабистами, командир 6-го истребительного авиационного корпуса полковник Климов с помощниками... Большинство из военных чувствовали себя скованно, бросали робкие взгляды на Сталина, которого видели так близко впервые.

Щербаков заметил, что Сталин не в духе, и досадливо подумал о том, что вначале надо было развернуть в кабинете карты и схемы, а затем приглашать туда руко-

водство. Но игру готовил Жуков и, видимо, не решился заходить в кабинет Верховного прежде его самого.

Сталин прохаживался по свободной части кабинета и, по мере того как военные развертывали карты и схемы, останавливался и внимательно всматривался в них. Вначале его заинтересовала начертанная разноцветными карандашами схема кольцевой связи, проложенной вокруг Москвы и имевшей несколько вспомогательных узлов.

— Если немцы разбомбят наш Центральный телеграф, мы действительно будем иметь надежную связь с фронтами и с тылом страны? — спросил Сталин, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Так точно, товарищ Сталин, — уверенно ответил Жуков. — Кольцевая линия и новый узел связи уже могут обеспечить междугородную и городскую связь во всех направлениях. Наша проверка показала, что связь устойчивая.

Сталин перевел взгляд на соседнюю, наколотую на фанерный щит карту с нанесенным боевым порядком Московской зоны ПВО. Две красные окружности опоясывали на ней Москву. Большая, с радиусом в 120 километров, обозначала удаление от столицы, на котором должны встречать воздушного противника наши самолеты-истребители. Вторая окружность проходила в 30—40 километрах от центра Москвы — эта зона прикрывалась зенитной артиллерией и зенитными пулеметами. Затем Сталин задумчиво постоял над схемами вариантов налетов на Москву.

Никаких вопросов он больше не задавал, и Щербакову казалось, что на все Сталин смотрит с некоторым сомнением и даже с раздражением. А тут еще впустую проходило время, ибо не помещались на столе карты, которые развертывал начальник оперативного отдела штаба корпуса ПВО полковник Курьянов — высокий, широкоплечий здоровяк. Для карт авиаторов совсем не оставалось места, и полковник Климов, растерянно посмотрев на сидевшего в углу, рядом с Герасимовым и Громадиным, Жукова, приказал своим помощникам расстилать их на полу.

Когда шуршание карт стихло и все в кабинете замерли в ожидании начала учения, Сталин, обращаясь к полковнику Климову и генералу Журавлеву, сказал:

— Покажите нам, товарищ Климов, как полки вашей истребительной авиации, а вы, товарищ Журавлев,

как ваши наземные средства ПВО будут отражать дневной налет авиации противника на Москву. — А затем кивнул генерал-майору Громадину: — Можно начинать.

Громадин — сорокадвухлетний генерал, умевший четко и сжато формулировать мысли, в своем внешнем облике имел что-то крестьянское. Он встал неторопливо, расправил под ремнем гимнастерку, и, когда заговорил, крестьянское тут же исчезло из его облика.

— Два слова о принципах противовоздушной обороны Москвы... — сказал Громадин так, что всем почудилось: он видит ее всю сразу воочию. — В основу этих принципов положена круговая эшелонированная оборона, наиболее усиленная в западном и южном направлениях. Внешняя граница обороны проходит над Ярославлем, Вышним Волочком, Великими Луками, Смоленском, Орлом, Рязанью и Горьким. Общее руководство войсками ПВО столицы осуществляется с командного пункта первого корпуса, где размещается командование зоной с оперативной группой, главный пост ВНОС, узел связи, а также командующие истребительной авиацией и зенитной артиллерией. Каждый из них управляет своими войсками со своего оборудованного здесь же командного пункта... Сейчас я приказываю объявить войскам положение номер один... При этом я и генерал Герасимов представляем нападающую сторону, а генерал Журавлев и полковник Климов — обороняющуюся...

Генерал Громадин умолк, и тут же Герасимов — начальник штаба Московской зоны ПВО — начал считывать заранее подготовленные данные, а операторы стали быстро наносить их на карты, создавая оперативно-тактическую обстановку.

Учение началось. Над всем завластвовал грубоватый и сочный голос генерала Журавлева. Затем последовали первые решения и приказы полковника Климова, согласно которым где-то с дальних аэродромов должны были подниматься в воздух эскадрильи истребительной авиации.

Щербаков, сидевший рядом с членами Государственного Комитета Обороны, будто сам сейчас сдавал экзамен строгим экзаменаторам, испытывая то внутреннее напряжение, которое приходит в предчувствии неудачи. Ему казалось, что Сталина не столько интересовал ход военной игры, наполненной частой сменой острых боевых ситуаций, сколько реакция на эти ситуации генера-

ла Журавлева и полковника Климова. Он словно всматривался сейчас в их характеры, способности, в образ мышления, подгоняя увиденное и угаданное к каким-то своим меркам. Впрочем, лицо Сталина ничего не выражало, кроме замкнутой сосредоточенности. А что крылось за прищуром его глаз? В эти напряженные минуты они то вспыхивали, разгорались, как жар углей на порывистом ветру, то тускнели, будто покрываясь пеплом... Сталин был в плену напряженной работы мысли. Казалось, что он старался привести в равновесие свою веру и свои сомнения.

Щербаков испытывал ревнивое беспокойство. Ему до щемящей боли в сердце хотелось сказать Сталину, что можно с уверенностью положиться на этих военных. Генерал Журавлев Даниил Арсентьевич — артиллерист высшего класса! Участник гражданской войны, он затем получил хорошее военное образование, много потрудился над воспитанием командиров для артиллерии большой мощности, будучи начальником вначале 2-го Ленинградского, а затем Рязанского артиллерийского училища. На посту командира 1-го корпуса ПВО тоже успел показать себя превосходно...

Вызывали симпатии к Журавлеву и рождали доверие к нему также его открытое лицо и смелые глаза. Когда улыбался Журавлев, то будто все в нем улыбалось и весь он излучал доброжелательство и веселье. А коль сосредоточивался, принимая решение, — лицо его делалось строгим, волевым, а глаза еще более пронзительными и дерзкими.

А полковник Климов! Штабисты и командиры авиационных полков понимали его с полуслова! Он для них — непререкаемый авторитет; значит, личность тоже незаурядная.

Но Сталин и сам умел угадывать характеры людей, оценивать их по активности в действиях, образу и глубине мышления. Легковесных он безошибочно узнавал по их пустословию, а также по легкости, с которой они отказывались от своих точек зрения, — Щербаков это хорошо знал. Однако Александр Сергеевич понимал и другое: Сталин столкнулся с малоизвестной ему, обособленной сферой деятельности и не мог из-за условности происходящего должным образом проникнуть в его конкретность. Звучали доклады... Принимались решения... Отдавались приказы... Появлялась новая группа воображаемых немецких бомбардировщиков — с ново-

го направления и на другой высоте... И опять доклады, решения, приказы... Все четко, ритмично, уверенно. Но это все-таки репетиция. Как же будет во время «премьеры»? Очень хотелось бы, чтоб все эти генералы и полковники справились с возложенными на них ролями. А кем заменить тех, кто окажется неспособным? И что будет с Москвой, если неспособные окажутся?

Иногда Сталин бросал вопрошающий взгляд на генерала армии Жукова. Начальник Генерального штаба был хмур и непроницаем. Голос — будто выверенный точным прибором — ровный и требовательно-категоричный. Какие в его воображении возникали реальные последствия этого кабинетного противоборства?

Полтора часа длилось отражение условного воздушного противника. После отбоя «воздушной тревоги» генерал армии Жуков коротко подвел итоги игры и, выразив мнение, что ее участники в основном справились со своей задачей, негромко обратился к Сталину:

— Товарищ Сталин, у вас будут замечания?

Сталин укоризненно посмотрел на Жукова, затем перевел взгляд на Щербакова, будто вопрос начальника Генерального штаба в большей мере относился к нему, Александру Сергеевичу, отвечающему перед ЦК за состояние Московской зоны ПВО, и неторопливо стал раскуривать трубку. Было видно, как он над чем-то размышлял. Потом безучастно-отстраненно сказал, бросая потушенную спичку в бронзовую пепельницу на столе, под уголком топорщившейся карты:

— Товарищ Сталин совсем не специалист в этой области... Кто его знает, может, все так и надо... Но не будет лишним сказать вам вот что. — Он обвел взглядом командиров и генералов, а мундштуком трубки указал на полковника Сбытова — командующего ВВС МВО. — Врага нужно бить не растопыренными пальцами, а мощным кулаком. Надо поднимать как можно больше истребителей и начинать воздушное сражение возможно раньше и дальше от Москвы. Удары истребителям наносить непрерывно, морально подавлять экипажи бомбардировщиков врага. Максимально массировать огонь артиллерии, — теперь он устремил требовательный взгляд в сторону генерала Журавлева, — на главных направлениях налета немецких бомбардировщиков, не допуская ни одного к центру города... — Помолчав, он затем повернулся к генералу Громадину: — Завтра вы покажете нам отражение ночного налета...

Никто из присутствовавших на этом учении не знал, что события упредят завтрашний день вместе с его планами...

10

Вскоре после того как в Москве, на Кировской, 37, опустел кабинет Верховного Командующего и все участники и свидетели игры на картах с чувством облегчения разъехались по своим «присутственным местам», в ставке Гитлера и в некоторых военных резиденциях Берлина стало нарастать радостное напряжение. Довольно широкому кругу высокопоставленных военных и невоенных лиц сделалось известно: Геринг доложил фюреру, что согласно его приказу генерал-фельдмаршал Кессельринг готов поднять в воздух свою особую авиационную группу для нанесения неотразимого бомбового удара по советской столице. В ночь на 22 июля 1941 года, ровно через месяц после вторжения немецко-фашистских войск на советскую территорию, Москва по замыслу заправил фашистского рейха должна была превратиться в груду развалин и сплошное пепелище.

В конце этого дня Геббельс лично отдал распоряжение всем редакторам берлинских газет, выходящих утром, оставить на первых полосах места для важного, экстренного сообщения. Приготовились для поздней работы дикторы Берлинского радио.

В ставке Гитлера как бы сконцентрировалось чувство нетерпеливого и злорадного ожидания всей неметчины. Стыли в серебряных ведерках со льдом бутылки французского шампанского, официанты раскладывали на блюда-подносы бутерброды с икрой, ветчиной, семгой... Разливались в рюмки шнапс, коньяк, ром, виски, джин, ликеры, смешивались в шейкерах яркие разноцветные коктейли — еще пока сытно жила Германия за счет ограбленной Европы... Сочинялись спичи и тосты в честь Гитлера, Геринга и люфтваффе, готовились поздравительная телеграмма генерал-фельдмаршалу Кесельрингу и награды отличившимся в первом налете, печатались благодарственные письма их родственникам... А стальной фашистский молот уже взметнулся в поднебесье для удара по Москве: с аэродромов в районах Бреста, Барановичей, Бобруйска, Дубинской в назначенное время взлетели эскадрильи новейших бомбардировщиков с фугасными, зажигательными и осве-

тительными бомбами на борту. Они устремились к цели четырьмя эшелонами, разделенными на группы. Ориентируясь по зажженным кострам, сигнальным прожекторным лучам, а на нашей территории — по указаниям ракетчиков-диверсантов и по дорожным магистралям, ведущим к Москве, эшелон за эшелоном следовал через 30—40 минут. У всех был один маршрут: Минск, Орша, Смоленск, Вязьма, Москва. Каждая группа имела задачу — при подходе к Москве изменить курс полета, проникнуть к городу с разных направлений и ударить по намеченным целям...

Первый эшелон, состоявший из пяти групп общей численностью семьдесят самолетов, засекли наши посты ВНОС на линии Ржев, Сычевка — в 210 километрах от столицы...

В 22.00 сержант Ф. И. Буланов, красноармейцы П. И. Щербаков и И. В. Смирнов донесли на главный пост ВНОС об обнаружении ими воздушного противника... А сто восемьдесят немецких бомбардировщиков, летевших поэшелонно сзади, еще предстояло обнаружить...

Когда в Москве послышался из репродукторов сдержанно-суровый голос диктора: «Внимание! Внимание! Граждане, воздушная тревога!..» — и вслед за этим в городе взвыли сирены, безоблачное небо над столицей, в котором только начали проклевываться звезды, вдруг стало для всех зловещим. Все, кажется, и ждали этого часа, были внутренне готовы к нему, а при сигналах воздушной тревоги будто ощутили шоковое состояние. От пронзительного воя, утопившего в себе все другие шумы города, сердце заходилось тоскливой болью, холодело, и этот холодок быстрой волной катился к ногам, от чего они делались непослушными, а бомбоубежища или противопожарные посты слишком далекими.

Все, у кого остались невывезенными из Москвы дети, в первые же мгновения тревоги со страхом подумали о них...

Весь город на какие-то минуты оцепенел. Замерли постовые милиционеры с фонарями в руках, позабыв, что надо регулировать движение. Замерли машины на перекрестках. Пешеходы на тротуарах тоже остановились или замедлили шаг, каждый решая вопрос: куда устремляться — домой или в ближайшее бомбоубежи-

ще, адреса которых указывались в расклеенных на тумбах, витринах, заборах объявлениях.

Но тут же шоковое состояние исчезло, и улицы стали выглядеть, как в кино при ускоренной съемке. На тротуарах уже все куда-то бежали, у переходов через улицы визжали тормоза автомобилей. Слышались резкие свистки милиционеров, в сирены воздушной тревоги вплетался вой красных пожарных машин, мчавшихся к закрепленным за пожарными командами объектам. У подъездов, у ворот появились люди в брезентовых рукавицах и с огромными железными щипцами, вышли дворники в белых фартуках и с красными повязками на рукавах; одни из них объясняли непонятливым, где находятся бомбоубежища, другие воевали с ватагами мальчишек, пытавшихся по наружным пожарным лестницам забраться на крыши домов.

И все-таки большинству людей казалось, что эта тревога не настоящая. Многим думалось: до бомбежки не допустят — на то и Москва...

Александр Сергеевич Щербаков собрался на ночь глядя ехать в Можайск и ждал звонка заместителя председателя Моссовета Яснова. Это было еще до объявления воздушной тревоги.

И вот — звонок. Взяв трубку, услышал голос не Яснова, а генерала Громадина — командующего Московской зоной ПВО:

— Александр Сергеевич, идут! — В голосе Громадина чувствовалось сдерживаемое волнение.

— Кто идет? — не понял Щербаков.

— Немецкие бомбардировщики. Массированный налет. Я скомандовал войскам ПВО положение номер один.

— Почему же не объявляете воздушную тревогу? — Щербаков словно увидел сейчас Москву с птичьего полета, ощутил близящуюся грозную опасность родному городу; беспокойство тугой волной захлестнуло ему грудь и сердце, будто придавило плитой.

— Александр Сергеевич, я поэтому и звоню: по положению воздушную тревогу должен объявлять товарищ Пронин, как начальник местной противовоздушной обороны. А он на каком-то заводе — сейчас ему звонят туда.

— Объявляйте без него.

— Слушаюсь!

Щербаков положил трубку и тут же позвонил Ста-

лину. Начал докладывать, что войска ПВО приведены в боевое состояние, но Сталин спокойно перебил Александра Сергеевича:

— А мы уже знаем, товарищ Щербаков. Нам звонил товарищ Пронин. Так что езжайте на командный пункт и наблюдайте, как они там будут отбиваться от немцев. Мы сейчас закончим тут разговор и тоже приедем... Ведь бомбоубежище у нас в Кремле до сих пор не готово?..

Александр Сергеевич почувствовал в последних словах Сталина упрек себе лично, однако ответить ничего не успел: Сталин положил трубку.

Приехал Щербаков на командный пункт как раз в тот момент, когда над затемненным городом раздались первые сигналы воздушной тревоги.

Сколько раз в этом году Александр Сергеевич уже спускался лифтом в это подземное обиталище, находившееся на глубине пятидесяти метров под новым многоэтажным домом, в котором размещался штаб корпуса ПВО? Еще когда завершался монтаж сложнейшей техники управления, он бывал здесь с командующим Московским военным округом. Затем не единожды сопровождал Сталина, членов Политбюро, высшее армейское начальство — Тимошенко, Шапошникова, Жукова...

И дом, и командный пункт под ним всем нравились, хотя кое-кто из высокопоставленных «ревизоров», увидев в главном зале — в пункте управления командира корпуса — мягкую мебель, покрытый огромным ковром пол, обитые бархатом (для приглушения звука) стены, изумленно вскидывал брови или недоуменно улыбался: зачем, мол, такая роскошь под землей? Да еще сифоны с газированной водой на тумбочках... Но вслух никто не выражал этой мысли. Может, потому, что внимание всех тут же переключалось на оборудование — пульты, координатные сетки, карты, светопланы, различные приборы и приспособления. Внушал почтение даже один возвышавшийся среди залы стол; иных брала оторопь, когда узнавали, что, сидя за этим столом, можно было мгновенно связаться со штабами всех войсковых частей и подразделений зоны ПВО, с начальниками родов войск, правительственными учреждениями, да и с любым телефоном города... Из этого подземелья как бы просматривалось и прослушивалось небо над Москвой и вокруг нее в радиусе 250 километров — разумеется, с помощью постов ВНОС.

Никто из дежуривших здесь не чувствовал себя оторванным от мира. И в то же время это был обособленный мирок со своим климатом, уютом и всем необходимым для отдыха и работы — спальнями, столовой, душевыми, кислородным оборудованием, салоном для собраний... Была и своя автономная электростанция на случай, если городская электросеть окажется разрушенной.

Когда на нижнем этаже лифт остановился и Щербаков вышел в небольшой вестибюль командного пункта, его встретил дежурный — старший лейтенант с красной повязкой на рукаве и при противогазе. Он начал докладывать, что командный пункт приступил к боевой работе по отражению воздушного противника, но Александр Сергеевич взмахом руки прервал его и зашагал по ковровой дорожке вдоль коридора, с левой стороны которого выстроились в ряд многочисленные двери. За каждой — чье-то командное хозяйство со своей особой спецификой и четко определенными задачами.

Зашел в просторное помещение оперативной группы и увидел на возвышении за столом генерала Журавлева в окружении нескольких штабных командиров. Журавлев, каким-то чутьем уловив момент появления Щербакова, оторвал глаза от планшета воздушной обстановки, распрямился на подвижном кресле, хотел встать, но Александр Сергеевич упредил его:

— Меня здесь нет. Работайте.

Командный пункт действительно работал. Это уже была боевая работа. Щербаков, прохаживаясь по свободному пространству зала, наблюдал за ней.

Все вокруг выглядело не совсем реально — как во сне после прочтения научно-фантастического романа. Планшет воздушной обстановки, над которым колдовал генерал Журавлев, со стороны казался Щербакову опрокинутым небом, укрытым фигурками немецких бомбардировщиков и наших истребителей, а вблизи — землей, видимой из поднебесья; она хорошо просматривалась сквозь огромный и прозрачный целлулоидный лист с подвижной координатной сеткой. Рядом — приборы для вычисления координат обнаруженных целей.

А цели уже были обнаружены — много целей! На картах и на светоплане можно было увидеть, как в световых полях вступили в бой летчики-истребители, как появлялись все новые и новые вражеские бомбардировщики и наши истребители.

Александру Сергеевичу на время почудилось, что присутствует он на каком-то удивительном спектакле, где главные роли исполняли хорошо знакомые ему люди. Действие же спектакля происходило в этом зале, в смежных комнатах и этажом выше, где находились главный пост ВНОС и командный пункт прожекторной службы. Полковник Глазер с группой командиров — мозговой аппарат главного поста ВНОС. Каждая цель, ее высота и маршрут, о которых докладывали посты, без промедления наносились здесь на карту и записывались в журнале. Из множества целей надо было выделить самые опасные и по внутренней системе связи передать данные о них находившемуся рядом с генералом Журавлевым начальнику оперативного отдела полковнику Курьянову, который тут же наносил их на сводную карту.

У полковника Глазера память — как движущаяся в съемочном аппарате кинопленка — прочно фиксировала все, попадавшее в его слуховой объектив. И, отбирая главное из запечатленного на ней, ее можно было мгновенно прокручивать взад-вперед, дабы не ошибиться в выборе целей... Удивительная память!

Выбранные цели ложились на карту в местах их нахождения в данную минуту в виде миниатюрных свинцовых самолетиков-макетиков. Они будто прилипали к карте и, обозначив собой авиагруппы, начинали двигаться вдоль шоссейных и железных дорог к Москве. На сводной карте командира корпуса их число непрерывно увеличивалось...

Полковник Курьянов спокойно и деловито прокладывал боевой курс каждой группы немецких самолетов, точно угадывая ее задачу. А генерал Журавлев, как-то буднично восседая в своем кресле, со сдержанным спокойствием оценивал обстановку и нажатием кнопки на своем пульте зажигал красные лампочки на пультах начальников служб. Это значило, что все переговоры в сети мгновенно прекращались, и тогда звучал знакомый всем генеральский голос, отдававший приказ...

Справа от зала главного пункта управления находилась комната, где размещался командный пункт командира 6-го авиационного корпуса полковника Климова; слева — комната, откуда управлял полками зенитной артиллерии полковник Лавринович. Сюда и поступали приказы Журавлева. Оперативная же группа прожектористов во главе с начальником прожекторной

службы полковником Сарбуновым командовала своим огромным свето-лучевым хозяйством, находясь по соседству с главным постом ВНОС — на втором этаже.

Щербаков замечал, что по мере увеличения количества немецких самолетов и приближения их к Москве ритм работы на командном пункте убыстрялся и росло напряжение людей. Порой в чьем-то всплеске голоса, в надрывном шепоте, резком движении или нетерпеливом взгляде прорывалась нервозность. Но дело спорилось...

На светоплане и на картах было видно, что некоторые бомбардировщики, не долетев до цели, ложились на обратный курс: можно было предположить, что наши истребители вынудили их преждевременно освободиться от смертоносного груза. И стало совершенно очевидным, что к зоне действий зенитной артиллерии группы немецких самолетов подходили уже рассредоточенными.

Куда бы ни устремлял свое внимание Александр Сергеевич, пытаясь вникнуть во все происходящее в этом зале — в доклады, команды, приказы, шуршание карт, щелканье приборов и аппаратуры связи, — его все больше тревожила мысль: «Почему нет Сталина и других членов Политбюро?.. Ведь было точно условлено: пока не достроят бомбоубежище в Кремле, местом укрытия и работы Политбюро во время налетов будет командный пункт ПВО. Где же они?..»

Вначале успокаивал себя тем, что, судя по обстановке на картах, немецкие самолеты только приближались к воздушным границам Москвы... Но вот стало видно, что отдельные из них прорвались сквозь заградительный огонь зенитной артиллерии и рыщут над окраинами города. По ним уже ведут огонь зенитчики, боевые позиции которых — в центре Москвы.

На какое-то время отвлекли первые сведения о сбитых немецких самолетах. Потом они стали пополняться. На карте все больше появлялось красных кружочков с черными крестиками внутри...

«Но где же товарищ Сталин?» — Щербаков не выдержал и вышел в коридор...

11

Первое крупнейшее ночное сражение в небе Подмосковья и Москвы не прекращалось в течение пяти часов. В пятичасовом массированном налете на советскую столицу участвовало до 250 немецких бомбардировщиков.

Какая же это масса металла была поднята в поднебесье, какая силища моторов, изобретенных разумом человека, вращала лопасти воздушных винтов! И каждый самолет нес в себе до тысячи килограммов железа, начиненного огромной силы взрывчаткой и адскими зажигательными смесями.

С начала второй мировой войны, как уже известно, ни одна столица государств Европейского континента, подвергшаяся нападению немецко-фашистской авиации, не сумела защитить себя. Это вселяло в заправил фашистского рейха уверенность, что не устоит под фугасками гитлеровского люфтваффе и Москва. Более того, Москва согласно приказу Гитлера была приговорена к полному уничтожению, ибо являлась большевистской столицей, возвышавшейся на планете как знамя и символ бессмертных идей Ленина.

Итак, борьба двух миров, двух социальных систем во всю мощь развернулась и в небе. На дальних подступах к Москве на перехват воздушному врагу первыми ринулись советские истребители. Из всех летчиков, участвовавших в тех воздушных боях, только каждый пятый или шестой был подготовлен к действиям в ночных условиях.

Как только Виктор Рублев умостился в кабине истребителя, сразу же ощутил духоту и бензиновый запах, смешанный с горьковатым ароматом увядающей березы. Трепеща потерявшими влажность листьями, березовые ветви заглядывали лейтенанту Рублеву прямо в лицо, косо вздыбившись с земли на фюзеляж и на крылья самолета — для маскировки. Рядом — слева и справа — притаились в купах зелени другие истребители; создавалось впечатление, что это выбежал из недалекого сосняка, подступившего к аэродрому, подлесок и сгрудился в тесные хороводы.

Между замаскированными самолетами гулко протопал тяжелыми сапожищами кто-то из команды аэродромного обслуживания и хриплым, прокуренным голосом прокричал, чтоб летчики дежурных звеньев обоих базировавшихся здесь полков сейчас же присоединили к своим шлемофонам телефонные шлейфы.

Виктор торопливо взял свисавший в кабину жилистый скруток проводов с трехрогим штепсельком на конце, соединил его с розеткой на своем шлемофоне и будто окунулся в новый, неведомый мир, полный приглушенных мужских голосов, чьих-то команд, щелканья

тумблерами; в иных голосах улавливалась сердитость, в других — сдержанное спокойствие или напряженность. Это слышалась предбоевая подготовка командных пунктов — авиационного корпуса ПВО, находящегося где-то в Москве, и двух истребительных полков. Чувствовалось, что вот-вот последует команда дежурным звеньям подняться в воздух и идти наперехват врагу. И сейчас, когда присоединены телефонные шлейфы, командирам полков уже не надо будет зря тратить время и дублировать экипажам приказ командира корпуса, выстрелами из ракетниц подадут сигнал к действию, а после взлета истребителей уточнят им по радио задачи — кому и в какой зоне перехватывать немецкие бомбардировщики. Правда, самолет лейтенанта Рублева, как и другие только вчера прилетевшие сюда «ястребки», или, как их еще называли, «ишачки» — истребители И-16, не был оборудован радиоаппаратурой. Поэтому боевая задача им поставлена заранее. Виктору, например, надо будет устремлять свой истребитель в световое поле над Солнечногорском.

Многоголосье, шум и потрескивание в наушниках растворяли внимание Виктора, повергали в забытье, как легкий прибрежный шум морской волны. Мысли, словно телята на обширном пастбище, разбредались в разные стороны, и он, не проследив до конца ни за одной, устремлялся к другой. Почему-то больше всего думалось о вчерашнем дне, когда в составе эскадрильи перелетел на этот аэродром из-за Волги; там, на военном заводе, вместе с другими «безлошадными» летчиками он получил новый самолет, именуемый авиационным людом «ишачком», а наземным — «ястребком». Да, это был истребитель И-16 — точно такой же, с какого Виктор Рублев выбросился на парашюте в небе Западной Белоруссии, где в первых воздушных боях сбил двух «юнкерсов», одного «мессера», а затем был сбит сам. Попав в окружение, удачно вышел из него вместе с войсковой группой генерал-майора Чумакова.

При воспоминании о генерале Чумакове его мысль мгновенно, как искра на ветру, переносилась к Ирине Чумаковой, хотя ему и в голову не приходило, что она дочь Федора Ксенофонтовича. Всегда размышлял о ней с нежностью, шептал про себя устремленные к ней ласковые слова; написал и отправил в Ленинград «до востребования» несколько писем, в которых изливал горячую любовь к ней, рассказывал о своем житье-бытье

фронтового летчика... Но вот беда: не было у Виктора фотографической карточки Ирины, и он с горечью ощущал, что в его памяти блекнет ее образ. Ну, может, не блекнет, а теряет четкость, будто видится сквозь замутненное стекло. Всей силой памяти он старался удержать черты ее милого лица, ее улыбку, прищур глаз, цвет которых ему вспоминался то синим, то серым. В общем, в его сознании и сердце продолжала жить красивая девушка — реальная и воображенная, которую он страстно любил, но которая неудержимо отдалялась от него, не переставая быть необыкновенно привлекательной.

Мысли Виктора Рублева прервала внезапно наступившая в наушниках шлемофона тишина. Он не мог знать, что где-то на далеком командном пункте Московской зоны ПВО генерал Журавлев нажал кнопку для циркулярной передачи — и загоревшиеся красные сигнальные лампочки на пультах начальников служб мгновенно заставили всех на линиях связи умолкнуть. И тут же услышал твердый, с напускным спокойствием голос:

— Частям корпуса — положение номер один!

У Виктора даже холодок пробежал по спине. Он представил себе, как в Москве и на огромных пространствах вокруг нее приводится в боевое состояние противовоздушная оборона: слетают чехлы с капотов самолетных моторов, падают на землю маскировочные ветки (при этой мысли он тут же крикнул, будто кукарекнув, своему механику: «Сбросить маскировку!»), вздыбливаются стволы зенитных орудий, расчехляются прожекторы и разворачиваются в сторону нарастающего гула самолетов противника, возносятся в небо аэростаты заграждения...

И опять в наушниках тот же повелевающий голос:

— Товарищ Климов, поднимите из Ржева две пары в зону семь.

Виктор догадался, что приказ этот относится к какому-то авиационному командиру. И тут же услышал новое распоряжение:

— Товарищ Сарбунов, организуйте прием истребителей в седьмом световом прожекторном поле! — Это уже приказ начальнику прожекторной службы.

На какую-то минуту в наушники вновь ворвалась разноголосица переговоров — приглушенных и громких, но тут же опять внезапно ударила по нервам наступившая тишина, будто оборвалась сама жизнь на земле.

Но нет, жизнь тут же воскресла — чеканно и значительно прозвучал очередной приказ генерала Журавлева:

— Товарищ Климов, прикажите Стефановскому поднять две эскадрильи с Кубинки и встретить врага в световых прожекторных полях Солнечногорск, Голицыно...

В ту же минуту с опушки леса молнией пронзила небо красная стрела. В вышине — кажется, под самыми звездами — она замедлила лет, плавно изогнулась в дугу и, разгоревшись ярким кровяным светом, стала медленно падать на землю брызжущим искрами клубком...

Красная ракета — сигнал для взлета первой девятки соседнего полка во главе с капитаном Титенковым Константином Николаевичем.

За Титенковым уже утвердилась слава опытного воздушного аса и толкового командира эскадрильи. Да и его ладная фигура, порывистые и энергичные движения, лицо, светящееся зрелой молодостью, силой и веселым задором, располагали к себе, рождали симпатии. Виктор Рублев, только со стороны наблюдая за капитаном, чувствовал, что ему хочется чем-то быть похожим на него — во внешности и в делах. Он даже шлем начал носить, как Титенков, чуть сдвигая его на затылок.

Пока прогревался мотор, Рублев в эту бесконечно длинную перед взлетом минуту с завистью размышлял о том, что и ему хотелось бы летать на более скоростном истребителе Як-1. Но там, на заволжском заводе, выбирать было не из чего. Впрочем, Виктор долго и не печалился: «ишак» так «ишак», ну, тупорылый, зато послушный, увертливый. Сам Чкалов летал на таком самолете.

Огорчало другое: пришлось распрощаться с родным полком. Когда получили на заводе новые самолеты, каждому летчику вручили предписание и карту с проложенным маршрутом: надо лететь в Подмосковье, на Кубинский аэродром, пополнить один из полков 6-го авиационного корпуса Московской зоны противовоздушной обороны... И вот лейтенант Виктор Рублев превратился из фронтового летчика в тыловика. Правда, стоять на защите столицы — это, пожалуй, не всякому так повезет...

Увлекшись размышлениями, Рублев позабыл отсоединить от шлемофона телефонный шлейф и, когда пос-

ле зеленой ракеты начал выруливать на старт, почувствовал, что с головы начало сдирать шлем. Это отвлекло его внимание на несколько секунд, и он, к превеликой своей досаде, взлетел с задержкой и, естественно, самым последним из звена истребителей И-16, замыкавших строй эскадрильи Як-1 их полка.

Впрочем, это уже не имело значения. Ночное небо будто поглотило эскадрилью. И только если внимательно присмотреться, можно было кое-где заметить впереди трепещущие лоскутки синего пламени, вырывавшиеся из патрубков самолетных моторов.

Виктор вдруг ощутил тревогу. Ведь он впервые летит ночью — самостоятельно! Нет возможности сверить карту с земными ориентирами. Сразу после взлета надо было взять курс вслед за командиром звена на Солнечногорск — это почти строго на север. По компасу на приборном щитке Виктор довернул самолет в нужном направлении.

Беспокоило и то обстоятельство, что истребитель был почти не обкатан, если не считать вчерашнего перегона с завода с двумя посадками по маршруту для заправки. В кабине новой машины Виктор чувствовал себя, как в необношенном, сковывающем тело костюме. Казалось, рули работают не совсем послушно, мотор тянет неровно и в его гуде не слышится чего-то привычного для слуха.

Мотор потерянного в Западной Белоруссии «ишачка» был для лейтенанта Рублева будто живым, близким существом со знакомым характером, повадками, привычками. Вслушиваясь в ритм его работы, Виктор как бы видел его нутро, начиненное умным железом, частями и приборами, зависящими друг от друга, дающими друг другу энергию, смысл движения — жизнь. И все казалось там на удивление простым, целесообразным, да и весь самолет ощущался как нечто единое с его, Виктора, телом: рули управления машиной будто были продолжением его рук и ног.

Но так все воспринимается, когда летишь днем и видишь вокруг себя необъятную ширь неба и земли... А сейчас кажется, что ты завяз в густой черной мгле, и если б не звезды, то не знал бы, где земля, а где небо. Даже оторопь брала от ощущения неподвижности и от того, сколь была непроглядной бездна под ним. И только когда самолет развернулся на север, Виктор увидел светящиеся столбы прожекторных лучей. Одни из них

бесновались, мечась из стороны в сторону или описывая круги, другие осторожно ощупывали небо, словно хотели прогреть его черную бездонность, третьи застыли в неподвижности, и мнилось, что они ниспадали с высоты на землю. Это и было световое поле в районе Солнечногорска.

Виктора охватили тревога и какое-то злое нетерпение. На фоне освещенного и исполосованного прожекторами неба он увидел темные точки своих самолетов, которые звеньями расходились в стороны и продолжали набирать высоту. Чтобы не потерять из виду хоть часть эскадрильи, Виктор прибавил газу и потянул ручку управления на себя; истребитель послушно задрал нос так, что все звездное небо будто опрокинулось набок. Когда отметка высотомера сравнялась с цифрой 5000 метров, опять выровнял самолет, уже оказавшись рядом со световым полем, мерцающая яркость которого нарастала с каждой секундой. И сразу же увидел густой косяк немецких бомбардировщиков, шедших километра на два ниже его самолета. Они плыли в сторону Москвы и сверху были похожи на черные крестики, спаянные все вместе какой-то невидимой силой, образуя большущий ромб. Неужели целая эскадра?..

Виктор Рублев еще не успел принять решение, как заметил, что навстречу и в бок строя бомбардировщиков потянулись прерывистые золотистые нити пулеметных очередей. Значит, эскадрилья капитана Титенкова и их эскадрилья уже вступили в бой, а он, лейтенант Рублев, оторвался от звена и особнячком топает сзади. Тут же в лучах прожектора начали взблескивать фюзеляжами сами истребители — это при заходах на повторные атаки...

И Виктор с удвоенной злостью пошел на сближение с самолетами врага, кинув своего «ишака» в крутое пике наперерез бомбардировщикам.

Истребитель с хищной скоростью скользил вниз, и Виктор видел, что бомбардировщики немцев, подсвеченные снизу, по мере приближения к ним будто сами начинали излучать свет, но только с той стороны, откуда он пикировал, и было похоже, что там, внизу, летели продольные половинки бомбардировщиков — знакомых Виктору по очертаниям «Юнкерсов-88» и «Хейнкелей-111».

Рублев решил атаковать «юнкерса», который прикрывал левое крыло армады. Он, этот «юнкерс», мог

скорее других оказаться в его пулеметном прицеле. Но что это?.. Чуть в стороне и справа от истребителя лейтенанта Рублева, лоснясь в белом сиянии мерцающего света зеленым покрытием, пронесся остроносый Як-1. Виктор даже успел заметить черные цифры бортового номера: это самолет капитана Титенкова. Скорость его была столь высока, что Виктору показалось, будто его И-16 не пикирует, а просто падает, скользя по косой линии.

Еще несколько мгновений, и Як-1 Титенкова был над центром армады немецких бомбардировщиков, нацеливая удар по флагманской машине, шедшей впереди строя. Из десятков немецких самолетов навстречу Як-1 тут же брызнули красные трассирующие нити пулеметных очередей. Но Титенков уже гвоздил флагмана из пушки и пулеметов...

Наблюдать за этим воздушным поединком Виктор больше не мог. Ему навстречу тоже ударили из пулеметов немецкие воздушные стрелки. Рядом с его «ястребком» замелькали злые красные светлячки, словно впереди летел невидимый самолет и обильно выхлопывал из патрубков мотора искры.

Далее наступили для Виктора те мгновения, когда действия и мысль становятся для летчика-истребителя чем-то единым. «Юнкерс» будто наплывал на него, укрупняясь и в прожекторных лучах превращаясь из светящегося серебром зверя с распахнутыми в стороны лапами в медленно ползущую черепаху.

Виктор почувствовал, как самолет его привычно задрожал, и понял, что он инстинктивно, однако вовремя нажал на гашетки пулеметов. И почувствовал, увидел сквозь прицел, что пули его секут вражескую машину. Но «юнкерс» будто был припаян к своему месту в воздушной армаде. Его борт вдруг ощетинился целыми снопами огня, устремившегося навстречу атаковавшему истребителю.

Виктор вспомнил, что Ю-88 вооружен четырьмя пулеметами. Это умерило его пыл. Он отвернул свой самолет в сторону, чтобы, описав круг, повторить атаку. И когда вновь, побывав в темени за пределами светового поля, устремил самолет в атаку, то был поражен до такой степени, что у него перехватило дыхание: армада «юнкерсов» и «хейнкелей» уже не существовала. Потеряв флагмана, она распалась на группы, группки и одиночные самолеты, которые устремились в разные

стороны от центра светового поля, открыв на полную мощь огонь из бортового оружия по советским истребителям, сновавшим золотыми шершнями между бомбардировщиками или осыпавшим их пулеметно-пушечным огнем откуда-то из темных закоулков неба.

Виктор с восторгом проследил, как почти одновременно «юнкерс» и «хейнкель» клюнули к земле командирскими кабинами и, разваливаясь на части, стали падать. Свою цель Виктор потерял и пошел наперехват «юнкерсу», расстояние до которого показалось ему наиболее близким и который торопился, полупикируя, скорее вырваться из объятий прожекторных лучей. Зная, где находилось в бомбардировщике гнездо воздушного стрелка, Виктор как бы нырнул под вражеский самолет и ударил из пулеметов по его левому мотору. И даже закричал от радости, увидев, как от мотора, будто щепки от колоды при ударе топором, полетели металлические, подсвеченные взрывами крупнокалиберных пуль ошметки.

Еще разворот — и новая атака на того же «юнкерса»; сбросив куда попало бомбы и развернувшись, он пытался удрать на одном моторе. А Виктор уже предвкушал победу, намереваясь с тем же подходом ударить по работающему мотору... И вот «юнкерс» все ближе... Виктор снова нажал на гашетки. Самолет задрожал от пулеметных очередей, но они вдруг захлебнулись... Что это еще за фокусы?.. Виктор судорожно сделал перезарядку и еще ближе подобрался к вражескому самолету. К этому времени «юнкерс» успел вырваться из пространства светового поля. Он угадывался в темном небе только по выхлопам из патрубков мотора и виделся как расплывчатое темное пятно. Виктор нажал на гашетки. Но очередей вновь не последовало... Тоскливо заныло сердце, липкий холодок пробежал по спине: Виктор понял, что израсходовал все патроны и сейчас его «ишачок» никакой опасности для «юнкерса» не представляет...

«Никакой?» — задал себе злой вопрос лейтенант Рублев, вспомнив, что читал в «Красной звезде», как в первый день войны лейтенант Рябцев в районе Бреста, а лейтенант Мисяков под Мурманском таранными ударами сбили каждый по одному немецкому бомбардировщику. Да и здесь, в Подмосковье, лейтенант Гошко ударом винта истребителя Як-1 скосил с неба, казалось, неприступного «Хейнкеля-111». А капитан Мо-

розов не только таранил вражеский самолет, но и, выбросившись потом на парашюте, захватил в плен немецкого летчика...

Все это пронеслось в памяти одной стремительно-обжигающей мыслью, которая тут же родила мучительное желание настигнуть «юнкерса» и врезаться в него своим «ястребком»!..

Экипаж «юнкерса», словно угадав намерение советского лейтенанта Рублева и уже будучи без бомбовой нагрузки, с пологим пикированием стал уходить от преследования... Виктор понял этот маневр, чертыхнулся про себя, что его И-16 трудновато тягаться со скоростным бомбардировщиком... Но тут же кинул в пике и свой «ястребок».

Пикируя, бомбардировщик обнаруживал себя только факелком пламени, порхавшим у закраины выхлопной трубы мотора. Больше всего сейчас боялся Виктор Рублев потерять из поля зрения этот факелок, похожий на красно-голубой платочек, полоскаемый свирепым ветром. Но пикировать до бесконечности было нельзя, и немецкий самолет взмыл вверх. Виктор раньше вывел истребитель из пике и более четко разглядел на фоне звездного неба, уже совсем недалеко от себя, темное пятно «юнкерса», будто застывшего в неподвижности.

Газ — до предела. Казалось, что не истребитель настигал «юнкерса», а будто сам бомбардировщик надвигался на «ястребка». Уже совсем близко... Все как в дурном сне... Еще несколько секунд, и, чуть подав вперед ручку, Виктор услышал треск, заглушивший на мгновение гул мотора... Винт истребителя за доли секунды «размолотил» хвостовое оперение «юнкерса», и тот, словно наткнувшись на каменную стену, тут же нырнул вниз и исчез в пучине темноты...

Лейтенанту Рублеву казалось, что он вырвался из удушливого кошмарного сна оттого, что его начала свирепо тормошить какая-то неподвластная разуму сила. Но сразу понял: это трясется всем своим металлическим телом «ястребок», срезавший пропеллером, словно гигантской циркулярной пилой, стабилизатор и киль немецкого «юнкерса». К удивлению пришедшего в себя Виктора, отключившегося было на какие-то мгновения мыслями и чувствами от реальности, его тяжко пораженный И-16 продолжал полет, хотя и бился как в лихорадке. Невидимые во вращении лопасти пропеллера, наверное, безобразно изогнулись и ввинчивались в под-

небесный воздух с разной шириной «шага». Вслушиваясь в работу мотора, Виктор опытным слухом различал, как захлебывался тот в своей железной боли и был готов вот-вот заглохнуть.

В лицо Рублеву густо пахнуло смесью тошнотворных запахов масла, сгоревшей краски и бензина. Тут же в горле ворохнулись позывы к рвоте, глаза заслезились от рези, звезды в небе будто растаяли и само небо исчезло.

Если летчик потерял чувство горизонта, если не имеет возможности определить, где небо, а где земля, надо идти на поклон приборам; иначе — неминуемая гибель.

Виктор прильнул к щитку и сквозь стекла летных очков впился глазами в тускло светившиеся циферблаты приборов. Указателя уровня бензина в баке на щитке самолета этого выпуска не было. Только часы... Вглядевшись в них, прикинул, что бензина должно бы хватить дотянуть до аэродрома, если только самолет не начнет разваливаться.

Тряска не прекращалась, но истребитель продолжал лететь, хотя с трудом, даже при больших усилиях летчика, подчинялся рулям. Развернув его строго на юг, Рублев вдруг со смертной тоской подумал, что аэродром он сумеет найти лишь по счастливой случайности. Ведь на земле не просматривался ни один ориентир. Редкие огоньки, мелькавшие в разных местах, и несколько пожаров ни о чем ему не говорили. Сверить карту с местностью невозможно — ни местность не видна, ни карту не разглядеть. Правда, в полусотне километров слева небо густо искрилось и вспыхивало зарницами, словно в воробьиную ночь. Москва... Среди множества прожекторов там будто раздула горнила невидимая из-за расстояния гигантская кузница и тысячи молотобойцев гвоздили в ней тяжелыми кувалдами по наковальням, расплющивая раскаленный, брызжущий золотыми жуками металл.

Компас уже не мог помочь летчику, ибо его самолет в схватке с «юнкерсами» много раз уклонялся в разные стороны и на разные расстояния от линии, именуемой на военном языке азимутом, по которой он пришел к световому полю; оно сейчас разметало свои лучи по всему небу, встречая новые эшелоны немецких бомбардировщиков, шедших к Москве на разных высотах.

Оставалась надежда на помощь «господина случая». Нужно было разглядеть сквозь темень ночи пересечение

Белорусской железной дороги с автострадой Москва — Минск. Оттуда уже не хитро будет даже без бензина спланировать на поле Кубинского аэродрома.

Потянулся рукой к сектору газа, чтобы ускорить снижение, и поймал себя на мысли о том, что завтра найдут тараненный им немецкий бомбардировщик, восхитятся его подвигом, а его, Виктора, возможно, уже не будет в живых... Тяжко было об этом думать, печально сознавать, что такое вполне может случиться, но... Но он все-таки не пустил к Москве вражеский бомбовоз, несший в своем чреве тысячу килограммов бомб. Это скольких своих людей могла лишиться Москва от фугасок сбитого им «юнкерса»?!

Мысли, самые разные, совсем некстати врывались в его голову. А ведь надо было уловить тот момент, когда проглянется земля, чтобы успеть вывести самолет в горизонтальный полет, но в воспаленном воображении маячили то школьный бал в Ленинграде, где они с Ириной Чумаковой кружат в вальсе, то могильный холмик, над которым плачет Ирина. Над кем же она плачет? Ведь это он, ее Виктор, подходит к ней с букетом цветов в руке, со скомканным шелком парашютного купола на плече.

А вот и земля, как дно чудовищно-огромного водоема... Рублев четко увидел, что высотомер показывал пятьсот метров. Но земля просматривалась смутно, будто очки его шлема были закопчены: лес не отличишь от поля, и о выборе площадки для вынужденного приземления не могло быть и речи. Виктор, напрягая зрение, пытался разглядеть три спасительных огня на аэродроме — один красный и два белых, которые должны быть расположены треугольником. Заходить на посадку надо со стороны красного... Но нигде не видно огней... А бензина в баке оставалось всего лишь на несколько минут... Садиться куда попало — вслепую?.. Верная гибель... Хотя бы озеро заметить да спланировать на воду.

С креном пошел по кругу, не отрывая взгляда от земли. Мотор в это время сделал несколько перебоев, и Виктор почувствовал, что истребитель теряет скорость. Еще хлопок мотора, и наступила тишина... Только тихий свист рассекаемого крыльями «ястребка» воздуха...

Виктор выровнял истребитель, подтянулся на руках, держась за края кабины, и вывалился из нее. И-16 тут же исчез, уносясь по наклонной к земле.

Не хватило Виктору времени оглядеться, развернуть-

ся по ветру и принять нужное положение тела под раскрывшимся куполом парашюта после того, как рванул на груди вытяжное кольцо...

12

Борьба двух миров... Какой страшный смысл в этих будто бы простых словах. Сражаются миры — истребляют друг друга народы. Истребляют самую здоровую, сильную часть человечества, наделив обязанностью воспроизводить род людской главным образом тех, кто не пригоден, неполноценен по физическим и духовным качествам для борьбы с оружием в руках. Эта азбучная истина ясна всем, но войны, к сожалению, являют собой скорбные вехи в истории человечества. И каждая из них имеет свои классовые причины и выражает тенденции эпохи.

Да, у каждого класса есть свои закономерности и свои принципы следования этим закономерностям. Ими и диктуются поступки человека, принадлежащего к тому или иному классу. Вторая мировая война охватила пожаром Европу из-за того, что фашистским главарям во главе с их «психологом» и вдохновителем Гитлером пожелалось расширить свое властвование на все континенты планеты, а потому их взоры с особой алчностью устремились на Восток, куда указал своим перстом Гитлер еще в тридцатые годы. Еще тогда устно и печатно вопил он, что, «приняв решение раздобыть необходимые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае мы должны были, перепоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов. Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущный немецкой нации...». Но еще задолго до проявления этих нацистских аппетитов, исстари на Руси бытовала поговорка: «По одежке вытягивай ножки». Правда, после покорения европейских стран у фашистов одежки прибавилось, ножки, естественно, тоже подвытянулись. И возомнили они, что Московия стала им доступной... Загремели громы очередной войны, полились реки крови.

Противоборство между двумя мирами разгорелось на земле, на морских просторах и в воздухе. И если на суше и на морях боевые операции в большей степени подчинялись общим закономерностям и утвердившимся

методам военного искусства, то борьба в воздухе часто распадалась на индивидуальные поединки, исход которых зависел от многих слагаемых. Не последнюю роль в этих поединках играла крепость духовной брони, характер всех советских воинов, в том числе и летчиков. Метод познания мира у наших летчиков, их образ мышления исходил из главной истины — от сохи и наковальни они вознеслись в небеса Родины, стали ее стражами...

Спасшийся на парашюте командир экипажа «юнкерса», тараненного Виктором Рублевым в районе Солнечногорска, категорически утверждал, что его не мог настигнуть советский истребитель И-16. Немецкий полковник фон Рейхерт, конечно не без основания, был убежден в значительном превосходстве технических и боевых качеств немецкого бомбардировщика. Высокий, бледнолицый, мужественно-красивый, он щурился, глядя на советского переводчика, и искренне недоумевал по поводу задаваемых ему вопросов.

— Если вы, господин полковник, так уверены в своем Ю-88, так почему же сбросили бомбы, как утверждаете, неизвестно куда и повернули на запад? — спрашивал майор-переводчик.

— Я поступил точно так, как поступало большинство моих коллег, — ответил фон Рейхерт.

— Кто вы по происхождению, кто ваши родители?

— Я из знатной династии баронов... Мой отец — известный скульптор, коллекционер работ древних ваятелей.

— Как же сын такого отца может стать разрушителем творений рук человеческих и убийцей?

— Долг перед Германией превыше всего!.. И я еще проникся пониманием, что большевизм угрожает миру.

— Чем же он угрожает?

— Отнимает у людей собственность, накопленную веками, переходящую от старших к младшим. Большевизм нивелирует человека, лишает его признаков личности...

— Да, крепко замусорил вам мозги доктор Геббельс!

— Простите, а мне можно задать вам вопрос? — Фон Рейхерт устремил внимательный взгляд на переводчика.

— Спрашивайте, — удивился майор.

— У Советов появился новый вид оружия, если вы сумели сбить даже флагмана нашей эскадры?..

Жаль, что не слышали этого вопроса советские летчики-истребители Виктор Рублев, К. Н. Титенков, П. В. Еремеев, С. С. Гошко, А. Г. Лукоянов, П. А. Мазепин и другие, сумевшие в прошедшую ночь низвергнуть с поднебесных высот на просторы Подмосковья более десяти немецких бомбардировщиков...

Допрос фон Рейхерта происходил на второй день, а пока налет на Москву продолжался, и советские летчики-истребители были заняты боевой работой, к которой всей своей мощью подключились другие средства ПВО, и особенно зенитная артиллерия, ибо отдельные немецкие бомбардировщики все-таки прорвались к столице. Первой сбила вражеский самолет Хе-111 зенитно-артиллерийская батарея лейтенанта И. Н. Шарова, огневая позиция которой располагалась на Центральном аэродроме, близ Ленинградского шоссе.

Поднялась в воздух и эскадрилья истребителей, которой командовал Герой Советского Союза полковник Юмашев. Все ее экипажи впервые взлетели в ночное небо на боевое задание. Среди них был и летчик-испытатель Марк Галлай...

...Хуже всего, когда не знаешь, как быть. Сердце ноет, томится, в голове сумбур от сталкивающихся мыслей, а ты никак не можешь ни на что решиться, будучи уверенным, что везде откажут...

Так чувствовали себя летчики из отряда испытателей, в том числе и Марк Галлай, узнав, что упустили реальную возможность попасть на фронт. Ведь совсем рядом, в родственном научном авиацентре, формировали два истребительных полка, комплектуя экипажи из таких же, как и они, летчиков-испытателей. Прослышали об этом, когда уже было поздно: полки улетели воевать, но... без них и без него, Марка.

Куда податься и перед кем хлопотать? В районном военкомате и разговаривать не станут, ибо летчик-профессионал, да еще испытатель, — фигура им неподвластная. А фронт сейчас казался Марку единственным и самым главным местом, где должен находиться каждый, умеющий владеть хоть каким-либо оружием. Ведь враг — вот он, рвется к Москве, Ленинграду, Киеву, а

фашистские самолеты чувствуют себя в нашем небе хозяевами, разбойничая днем и ночью...

Как же ему попасть на фронт? Ведь в действующей армии не так уж много было летчиков, которые научились летать на том же МиГ-3. А этот новый истребитель, пусть и капризный, должен стать смертной грозой для фашистов. Благодаря мощному мотору он пока самый скоростной и самый высотный. У него закрывающийся фонарь, посадочные щитки, предкрылки и закрылки. Оружие — два скорострельных пулемета — ШКАСы и один крупнокалиберный — Березина; к ним бы еще пушку!.. Да будет и пушка!..

И вдруг, словно стремясь навстречу желаниям Марка, разнеслась весть: создаются две отдельные эскадрильи авиационных ночных истребителей для противовоздушной обороны Москвы! Летный состав для одной из них набирают из числа летчиков-испытателей авиационной промышленности... Тут уж Марк не упустил случая и был зачислен в 2-ю эскадрилью знаменитого Юмашева Андрея Борисовича — полковника, Героя Советского Союза, того самого, который прославился на весь мир еще в 1937 году участием в самом дальнем перелете по прямой без посадки: Москва — Северный полюс — США. Юмашев был не только герой, но и душа человек, один из лучших летчиков-испытателей.

Радуясь такой удаче, Марк Галлай не учел только одного: эскадрилья предназначалась для ночных действий. А летать ночью ему не приходилось. Впрочем, не одному ему! Другие летчики-испытатели тоже не нюхали ночной боевой работы, но были уверены, что справятся с ней, ибо настоящий испытатель обязан на ходу во все вникнуть, все освоить и понять. Однако, не будучи военными летчиками, «новобранцы» все-таки предполагали, что им дадут хоть какое-то время для ночных тренировочных полетов и ночных стрельб по подсвеченному конусу-мишени. Да и казалось, что война еще где-то далеко...

Но увы! После формирования эскадрильи ей сразу же приказали нести ночные боевые дежурства с готовностью в любую минуту подняться в небо навстречу врагу. И для Марка Галлая такой момент не замедлил наступить, хотя в это ему пока не верилось.

Вечером он принял от техника Тимашкова машину, посидел в кабине, проверив работу рулей, зажигания, сектора газа; осмотрел пилотажные и навигационные

приборы. А потом, как и другие летчики дежурного звена, улегся на расстеленных у самолета чехлах, готовый вздремнуть или побалагурить...

И тут приказ: «Готовность номер один!» Это означало, что надо надеть парашют, сесть в кабину самолета, прогреть мотор и быть готовым к взлету...

Но все-таки никак не верилось, чтоб вот так сразу — и в настоящий бой... А когда со стороны Москвы донеслись приглушенные расстоянием гудки заводов, вой сирен, частые вскрики паровозов, тревога тоскливым холодком шевельнулась в груди. Почудилось, что в столице уже случилось что-то страшное, непоправимое.

Потом внимание Марка привлек странный отблеск на стеклах приборного щитка в его кабине, и он, повернув голову, увидел, что на западе, где-то в стороне Можайска, с неба будто смахнули ночную темень и оно белесо высветилось там, как огромная прогалина в сплошных облаках, сквозь которую падали на землю потоки солнечного света. Это, как догадался Галлай, наши прожектористы взметнули в небо световое поле, в котором ночным истребителям легче будет обнаружить немецких бомбардировщиков.

Начали полосовать ночное небо белые столбы прожекторных лучей и над Москвой. Тут же они будто стали сшибать с неба звезды, высекая при этом целые снопы искр, которые густо и ярко расцвечивали черный горизонт, рассыпались, гасли и вспыхивали вновь, все шире охватывая кровавыми всплесками пространство над Москвой... Могло показаться, что там бесновался необычайных размеров фейерверк, вышедший из-под власти пиротехников... Это открыла заградительный огонь наша зенитная артиллерия. Значит, враг все-таки прорвался в небо Москвы...

Марк с тревогой оглянулся на темные силуэты соседних самолетов дежурного звена. Их острые носы были устремлены к взлетной полосе, которая серым клином вонзилась в невидимую даль аэродрома. И в это время в кабину Марка втиснулась голова полковника Юмашева; было слышно его учащенное от быстрого бега дыхание.

— Марк, надо лететь!.. — сказал он как-то буднично, словно речь шла не о боевом вылете. Потом голос Юмашева стал строгим и чужим. — Высота три — три с половиной тысячи метров. Центр Москвы... Ниже двух с половиной не спускаться: там привязные аэростаты

заграждения. Обнаружить противника. Атаковать! Уничтожить!..

Наступили те мгновения, когда у летчика мысль сливается с рефлективными движениями. Марк Галлай, может, и не фиксировал своего внимания на всем том, что связано с запуском мотора самолета и выруливанием на старт. Но, как только прибавил газу, тут же был ослеплен огромными потоками пламени, яростно заструившимися с обеих сторон кабины из выхлопных патрубков; а ведь днем и не замечал этого хвостатого огня, мешающего сейчас смотреть вперед. Наблюдать же из глубокой кабины поверх капота мотора можно было только после взлета.

Но как взлететь вслепую, чтоб не сбиться с направления?.. От встревожившей мысли вскинул глаза в ночное небо и... увидел звезды. Есть решение!..

Прежде чем закрыть фонарь, Марк заорал стоявшему невдалеке механику Тимашкову:

— Скажи ребятам: на разбеге, чтоб не слепило, пусть смотрят поверх капота на какую-нибудь звезду! Понял?..

Механик кивнул и помчался к соседнему самолету, а Галлай, вырулив МИГ на старт, начал разбег... Когда земля оказалась внизу, даже изумился, что ночной взлет прошел так благополучно — ведь это впервые, без всякой подготовки.

Набрал высоту и, осваиваясь с необычным чувством отсутствия для взгляда простора, поглощенного темным покрывалом неба, густо проткнутым яркими звездами, стал разворачивать самолет в сторону Москвы. И тут ему показалось, что вновь, как и при взлете, произошло что-то непредвиденное и пока непонятное. В глаза ударило слепящее сияние, словно носовая часть самолета — капот с мотором, передние кромки крыльев — вспыхнула белым пламенем, осветив бездну пространства. И вслед за этим, как кинжальный удар в сердце, догадка: в Москве пожары. Несколько кварталов были затоплены густым, зловеще-белым, слепящим, мечущимся в дикой пляске огнем. Неужели немцы прорвались в небо Москвы?

В это трудно было поверить, потому что нисколько не редел в небе над Москвой кипящий, густо сверкающий вспышками заградительный вал зенитно-артиллерийского огня. Не уменьшилось и количество прожекторов, лучи которых, будто светящиеся доски гигантского,

крест-накрест с разной степенью прочности сколоченного штакетника метались под упругим ветром, ударявшим по ним со всех сторон...

А между тем панорама огня в безбрежье затемненной земли все ширилась — это он хорошо видел из-под звездного неба, ощущая, как липкой росой покрывался его лоб, как от острого внутреннего страдания руки напряглись до предела, удерживая ручку управления и увеличивая сектором газа тягу самолета... В нем проснулось истинное бесстрашие.

Но, видимо, нередко в моменты крайнего человеческого потрясения наступает рубеж, когда воображение и знание, осененные лучом разума, соединяются одно с другим и, став единым, просветляют человека. Марк вдруг вспомнил, что даже один тяжелый бомбардировщик способен сбросить до двух тысяч зажигалок — легких кассетных бомб, начиненных белым фосфором, термитом или магнием. И даже одна такая бомба в затемненном городе способна своим заревом ярко освещать целый квартал...

Самолет Галлая оказался над Москвой, а Марка все еще неотвязно терзала мысль: с чего начать, как найти и как атаковать врага? Заметив на другом конце ночи в скрещении лучей прожекторов серебряный крестик бомбардировщика, он круто развернул в ту сторону истребитель, прибавил газу, но вражеский самолет, видимо сбросив бомбы, нырнул в темноту.

И тут же Галлай почти физически почувствовал удар прожекторного луча по своему самолету: в ярком, наступившем внезапно, как взрыв, свечении инстинктивно пригнул голову, прильнул лицом к приборному щиту и почти прикоснулся носом к ручке управления. Но вновь нахлынула темень: прожектористы, видимо, опознали свой самолет... Так повторялось несколько раз, а потом вокруг самолета начали вспыхивать брызжущие огненными стрелами разрывы зенитных снарядов... Ох как же тяжка эта беспомощность, когда нет возможности связаться с землей, предупредить или вскрикнуть на всю Вселенную, что свои стреляют по своим!.. А может, и сам Марк был виноват, что не обошел полосу заградительного огня?.. Спас маневр: ручку управления в одну сторону, ножную педаль в другую — и стремительно заскользил из опасной зоны...

Нет ничего бескомпромисснее, чем время. Никакими силами не возвратить ни одной проведенной в воздухе

минуты: время в полете — это сожженное горючее, без которого сердце самолета не сделает ни единого лишнего удара. Мало горючего! А еще ни одной атаки. Вернуться на аэродром ни с чем?..

И тут увидел, как в скрещении лучей нескольких прожекторов ярко засветилась точка. Лучи, вцепившись в нее, будто осмысленно вели ее прямо навстречу ему, Галлаю...

«Это мой!..»

Не отрывая взгляда от светящейся точки, которая заметно росла, распухала, приобретая очертания бомбардировщика, Марк отвернул свой самолет в сторону, чтобы, сделав полукруг, зайти врагу в хвост. Атаковать сбоку не решался, боясь промазать: ведь никогда не приходилось стрелять по быстро движущейся цели, брать упреждение, чтоб пули встретились с самолетом безошибочно.

Странное ощущение, когда ты надвигаешься из темноты на световое поле, в котором распластался вражеский самолет, раскинув обрубленные желтоватые крылья с черными крестами на них и чуть приподняв два киля хвостового оперения. «Дорнье», — узнал Марк тип немецкого бомбардировщика... А ты будто бы сам по себе — без машины, и даже тела собственного не ощущаешь, а несешься в темноте сгустком присмиревших в напряженном ожидании чувств, средь которых главенствует одно: не упустить врага...

«Дорнье» уже метрах в четырехстах... Марк, прижавшись затылком к бронеспинке, устремив взгляд сквозь сетку прицела, ударил длинными пулеметными очередями по крылу с черным крестом... Но зачем с такого большого расстояния и почему по крылу?! Надо подойти ближе и стрелять по моторам, по кабине экипажа!.. Подошел ближе и опять дал сноп очередей — уже по центру бомбардировщика. И кажется, точно прошил машину, хотя подставил и себя двум воздушным стрелкам, сидевшим в гнездах за колпаками «дорнье» — один сверху, второй в хвосте. Марк увидел, как ему навстречу брызнули струи светящихся пуль и пронеслись мимо... В темноте он был невидим для ослепленных стрелков.

Отвалив в сторону, сделал новый заход и чуть снизу ударил из пулеметов по кабине пилота, а затем по правому мотору... И опять встречная очередь светлячков, от которой успел вовремя уклониться.

Еще несколько заходов, и «дорнье» перестал огрызаться огнем. Теперь его можно было расстреливать почти в упор, что Марк и сделал...

13

Озадаченный и встревоженный тем, что Сталин и все другие члены Политбюро, хотя налет на Москву длился уже два часа, не появлялись на командном пункте ПВО, который был и надежным укрытием от бомб, Александр Сергеевич Щербаков вышел из зала главного пункта управления в коридор, ощутил разгоряченным лицом, как гуляют здесь свежие струи воздуха, нагнетаемые, видимо, компрессорами, и огляделся по сторонам.

— Прервалась связь с наблюдательной вышкой на здании управления корпуса! — услышал он торопливый говорок узкогрудого и узколицего майора в очках, выбежавшего вслед за ним в коридор. — Полковник Гиршович приказал немедленно восстановить...

— Есть, восстановить! — откликнулся старший лейтенант — до красноты рыжеволосый, веснушчатый и с белесыми глазами. Он с группой бойцов-связистов сидел в просторной нише-комнате, за столом с телефонными аппаратами.

Два бойца по приказу старшего лейтенанта, стараясь не топать сапогами, на носках побежали вдоль коридора к лифту.

Щербаков вспомнил, что на крыше здания штаба, под которым был оборудован командный пункт ПВО, есть наблюдательная вышка. И он неторопливо пошел вслед за связистами. А в ушах будто застрял скоренький говорок майора в очках: «Полковник Гиршович приказал...»

Только сейчас Щербаков наблюдал работу полковника Гиршовича — начальника штаба корпуса; тот сидел за столом рядом с генералом Журавлевым, у пульта управления, и действительно был как бы правой рукой командира корпуса. Перед Гиршовичем лежал раскрытый журнал, в котором он торопливой и четкой скорописью фиксировал поступавшие по всем каналам связи донесения. Туда же записывал и о принятых решениях. Иногда они с Журавлевым о чем-то переговаривались — видимо, советовались, — и тогда Гиршович что-то перечеркивал в журнале и делал новые записи. Его бледноватое худощавое лицо, нахмуренные брови вы-

ражали крайнюю степень внимания и озабоченности. Казалось, что полковник решал на строгом экзамене какую-то сложнейшую математическую задачу и она ему не давалась.

«Но где же товарищ Сталин?» — в который раз сам себя спрашивал Щербаков, поднимаясь в лифте к верхнему этажу дома, откуда можно было взобраться по лестнице на чердак, а с чердака на крышу, где под броневым козырьком находилась наблюдательная вышка.

Орудийная пальба уже хорошо была слышна в лифте. Но когда Александр Сергеевич появился на крыше дома, ему показалось, что вокруг лютовала гроза с тысячами молний.

— Александр Сергеевич! — испуганно кинулся к нему один из дежуривших здесь наблюдателей. — Нельзя вам сюда! Осколки залетают...

— Я на минуту, — спокойно и строго ответил Щербаков, оглядываясь по сторонам.

Это был тот момент воздушного налета, когда к Москве прорвались с запада несколько бомбардировщиков. С наблюдательной вышки хорошо было видно, как плотнела и перемещалась по ночному небу в направлении центра столицы кипящая вспышками сотен взрывавшихся зенитных снарядов заградительная завеса. А лучи прожекторов, будто нервничая, делались все более подвижными. Вот в их скрещении ярко засеребрилась пылинка — немецкий самолет. Вокруг него густо засверкали красные и колючие искры взрывов. Донесся густой, угрожающий грозовой раскат сработавших фугасных бомб... Значит, кое-что удается врагу...

Из-за гулкой и резкой стрельбы зенитных орудий, простуженного татаканья крупнокалиберных пулеметов и частого тявканья автоматических зенитных пушек почти не различался на слух рокот самолетных моторов в небе. Одиночные немецкие бомбардировщики угадывались в тех местах, куда устремлялись разноцветные прерывистые нити пулеметных очередей и трассирующих снарядов МЗА — малокалиберной зенитной артиллерии. Щербаков увидел, что светящиеся дорожки потянулись в небо почти вертикально от здания штаба корпуса. Значит, самолет прямо над головой.

Послышался нарастающий свист, переходящий в протяжный, жутко холодящий сердце вой; казалось, что это кричит само небо, низвергаясь на город.

Вокруг свирепо, с гулкой многозвонностью ударило

по крышам домов, засверкали поначалу будто безобидные вспышки в глубине видимых с вышки дворов и на перекрестье Кировской улицы с Бульварным кольцом.

— Разрядился, гад, зажигалками! — послышался сдавленный страхом голос одного из наблюдателей.

Щербаков действительно увидел, как в тех местах, где сверкнули упавшие зажигалки, будто начали разгораться маленькие солнца, свет которых был бело-слепящим, сердито брызжущий искрами. И только теперь Александр Сергеевич заметил, что на всех домах копошатся люди. Там, где крыши не имели по краям железных решеток-барьеров, мужчины, женщины, подростки попривязывали себя веревками к дымоходам, радиоантеннам, выступам; у иных концы веревок прятались в слуховых окнах, привязанные к чему-то на чердаках.

Когда зажигалки начинали разгораться, то дружинники, кто был поближе к ним, кидались на огонь с железными клещами, с наполненными песком совковыми лопатами или ведрами. Искрящиеся маленькие солнца часто вылетали из слуховых чердачных окон или высившихся над крышами дверей. Они с грохотом катились по жести, озаряя все вокруг ярко-белым мерцающим сиянием. А те зажигалки, которые, не пробив жесть, застревали в крышах, вытаскивались и тоже сталкивались вниз. Продолжая гореть на земле, они расплавляли асфальт, опаляли деревья, прожигали, казалось, насквозь мостовые.

Вокруг сделалось неестественно светло: не то наступил белый день, не то чрезмерно лунная ночь. Свет был зловещим, переменчивым, прыгающим в дикой пляске. Казалось, что вот-вот до самого поднебесья взовьется пламя от запылавших домов, улиц, деревьев Бульварного кольца.

Со всех сторон раздавались мужские и женские голоса, неслись выкрики, команды, вопли, матерщина, предупреждения:

— Не жалей песку, растяпа!

— Глаза, глаза береги, очкарик!

— Без рукавиц не лезь!..

— Дурак, сними кастрюлю с головы, она каску не заменит!

— А ты, мать твою, рот закрой! Влетит — не выплюнешь!

— Не надо водой!.. Выбрасывай клещами!

Находились и шутники:

— Эй, соседи! Вы нам кидайте зажигалки, а мы вам — черных кошек!

— Вы свою молодую дворничиху нам швырните!.. А мы вам своего дворника... Не пугайтесь, мы его с недобросом!..

Вдруг все голоса утонули в надсадном вое тяжелой бомбы. Казалось, что она падала прямо на здание штаба, но пролетела дальше и с грохотом взорвалась где-то у Никитских ворот.

Затем на крыше соседнего дома послышался крик-мольба:

— Помогите, миленькие!.. Ногу мне отбило! Падаю!.. А-а-а!..

На чердаках и крышах жилых домов, административных зданий, кинотеатров, музеев, больниц, магазинов — везде боролись с немецкими зажигательными бомбами москвичи. Иные погибали, если в здание попадала фугаска. Специальные бригады тут же начинали разбирать, растаскивать развалины...

Да, Москва защищалась. И как не вздрогнет сердце, когда подумаешь, что это плод неустанного труда коммунистов столицы и бессонные ночи его, Щербакова, первого секретаря МК и МГК! Сколько раз и сколько часов на бюро горкома обсуждали они все то, что требовалось сделать для отпора врагу! Затем обсуждения переносились в райкомы партии города, в парткомы заводов, фабрик, вузов. Как сейсмические волны, распространялись указания Центрального Комитета партии большевиков о том необходимом, что и когда надо было делать, предпринимать, дабы выстоять перед напором фашизма.

Велика сила — партия... Это она всколыхнула на все глубины душу народа и объединила его силы, указала цели...

Перед внутренним взором Щербакова промелькнули знакомые лица секретарей райкомов партии, руководителей Моссовета, председателей райисполкомов, директоров заводов, фабрик, ученых, конструкторов — коммунистов, олицетворяющих собой партию. Вспомнился бывший секретарь Фрунзенского райкома Гритчин Николай Федорович, которого в эти дни назначили комиссаром 1-го корпуса ПВО... Тысячи и тысячи коммунистов — лучших из лучших — ушли на укрепление рядов армии, авиации и флота. Надо!.. Ведь действительно

встал вопрос: быть или не быть Советскому государству?..

Александр Сергеевич посмотрел в небо, перекипающее в огненном крошеве, увидел, как высоко-высоко метался в лучах прожектора серебряный крестик самолета, а к нему тянулись светящиеся пунктиры пуль — но не с земли, а откуда-то с затемненных промоин неба, с борта невидимого советского истребителя. Пули, в яркости которых мнилась грозная увесистость, будто впитывались серебряным крестиком, словно утяжеляя его и делая неспособным держаться в воздухе. И он действительно вдруг клюнул носом и неуклюже закувыркался к земле, сопровождаемый какое-то время одним прожекторным лучом.

Это падал в сторону Южного речного вокзала сбитый летчиком-испытателем Марком Галлаем немецкий бомбардировщик «Дорнье-217».

На железной стойке наблюдательного пункта зазвенел телефон.

— Есть связь! — обрадованно воскликнул дежурный наблюдатель, хватаясь за телефонную трубку. А после того как он доложил кому-то, что видит с вышки крупный пожар в стороне Белорусского вокзала и замечен один падающий немецкий бомбардировщик, Щербаков приказал наблюдателю:

— Пригласите, пожалуйста, к аппарату полкового комиссара товарища Гритчина.

Через минуту Гритчин откликнулся из подземных апартаментов командного пункта.

— Николай Федорович, — с тревогой в голосе заговорил с ним Александр Сергеевич, — от товарища Сталина ничего не слышно? Почему никто из Кремля не приехал сюда?

— Как же не приехал? — удивился Гритчин. — Все здесь! И товарищ Сталин!.. В салоне для собраний...

Оказалось, что вскоре после объявления тревоги, когда Щербаков с напряженным вниманием вслушивался на пункте управления в первые доклады о выходе на рубеж нашей противовоздушной обороны сразу нескольких десятков немецких бомбардировщиков, генерал Громадин встретил членов Политбюро у лифта и доложил, что воздушный враг, пройдя над Можайском, приближается к Москве и что наши ночные истребители вступают с ним в бой. Члены Политбюро бесшумно прошли по коридору мимо зала главного пункта управления. Ви-

димо, каждый с тревогой размышлял о том, как сложится обстановка в ночном небе на подступах к столице.

Их заметили почти все, кроме Щербакова. И каждый, делая свое дело во время отражения воздушного налета врага, не забывал, что рядом находится сам Сталин, и это создавало особую атмосферу ответственности и внутренней приподнятости.

Александр Сергеевич, успокоившись, спустился с наблюдательной вышки в подземелье командного пункта. В коридоре столкнулся с полковым комиссаром Гритчиным. Чубастый, по-юношески стройный и подтянутый, полковой комиссар ступил с ковровой дорожки в сторону и, щелкнув молодецки каблуками ярко начищенных хромовых сапог, устало улыбнулся. В этой устало-извинительной улыбке, в притушенности глаз с покрасневшими белками и чуть опавшем лице Щербаков угадал крайнюю измотанность Гритчина. Ведь во время отражения налета комиссар корпуса был как бы живым связующим звеном между пунктом управления генерала Журавлева, главным постом ВНОС, оперативной группой прожектористов, начальником зенитной артиллерии... Все ощущали его присутствие, слышали ненавязчивое, но нужное всем слово, своевременную информацию о том, что происходило там — в небе, на поверхности земли, на улицах столицы. Гритчин умудрялся, не вторгаясь в телефонные оперативные переговоры, перемолвиться несколькими фразами с военным комендантом гарнизона генералом Ревякиным, командирами и комиссарами полков, узнать, как действуют санитарные и пожарные дружины. Было такое впечатление, что если каждый человек, находившийся здесь, на командном пункте, отвечал за конкретное, порученное только ему дело, то полковой комиссар Гритчин будто был в ответе за все и всех. Щербаков очень хорошо понимал эту неброскую особенность комиссарской работы, знал, что Гритчин видит происходящее здесь, под землей, и там, под небом, как единое целое и, что весьма важно, ощущает людей, накал их нравственных сил, работоспособность и все те качества, которые требует специфика обязанностей каждого. Словно комиссар носил в своем сердце чудодейственный прибор, измерявший атмосферу настроения и всеобщей деятельности в любой отрезок времени, взвешивал все измеренное своим рассудком и запечатлевал в своей памяти.

Остановившись, Александр Сергеевич с чувством симпатии вгляделся в моложавое лицо Гритчина и с улыбкой заметил:

— А височки-то рановато седеют, Петр Федорович.

— Почему рановато? В самый раз дать волю бесу, который метит в ребро, да вот не получается...

— А как настроение там? — Александр Сергеевич кивнул в сторону салона для собраний. — Товарищ Сталин не выходил?

— Того гляди, мундштук трубки перекусит. Изо рта не выпускает... Нервничает... Появлялся товарищ Мехлис. Меня ругнул, что мешаю оперативной работе: я в то время разговаривал по телефону с полком майора Кикнадзе.

— Может, действительно ты не вовремя занял линию? — заметил Щербаков.

Гритчин досадливо поморщился и пояснил:

— У нас же по нескольку линий связи с каждым полком! Кроме главной, командной, есть оповещательная и третья — для донесений. Вот я ею и воспользовался.

— Ну, Мехлис этого мог и не знать.

— А может, мне действительно при налетах надо находиться где-нибудь на огневых позициях?

— Еще чего! — Щербаков нахмурился. — Политработников хватает в полках и без тебя. Комиссару корпуса надлежит быть рядом с командиром! Мало ли какие ситуации могут сложиться... Комиссар здесь — представитель ЦК партии...

— Между прочим, — вспомнил Гритчин, — товарищ Мехлис и вами интересовался. Спрашивал, где вы... Жалко, я тогда не знал, что секретарь ЦК забрался на обзорную вышку под бомбы и осколки зенитных снарядов — настучал бы начальнику Главпура, а он — Сталину.

— Я тебе настучу! — шутливо погрозил пальцем Щербаков. — Никому ни слова! Молчок.

— Могила! — Гритчин выразительно прикрыл рукой губы. — Разрешите, пойду к энергетикам: у них я еще не был.

— Ну сходи. — Щербаков кинул взгляд в конец коридора, где дверь в салон для собраний была приоткрыта, и подумал: «А что действительно ответить Мехлису, если спросит по поводу отлучки на вышку?»

Александр Сергеевич был в общем-то в приятельских отношениях с Мехлисом, ценил его остромыслие, находчивость и проворность в решении политических и административных вопросов. Правда, он нередко обменивался с Мехлисом ироническими колкостями, особенно когда тот лез поперед батьки в пекло, забегая в каком-нибудь деле вперед. Мехлис чаще отшучивался, напоминая, что не привык в шагающем строю «затягивать ногу». Их перепалки случались на заседаниях секретариата ЦК или Политбюро, чаще во время обеда на даче или в кремлевской квартире Сталина, когда обсуждались какие-нибудь относящиеся к их работе вопросы. Щербакову нравилось, что Мехлис умел подчас безошибочно ухватиться за петельку, от которой тянулась нить к сущности главной проблемы. С этим его качеством соседствовала поразительная логичность мышления, умение доказательно обосновывать свою точку зрения. Однако армейского комиссара часто подводил его неумеренный темперамент, в котором Щербаков подозревал и скрытое самолюбие: не терпел Мехлис, когда ему перечили, не соглашались с его доказательствами, резко судил об иных людях и скор был на строгий приговор чьей-то судьбе. Случалось, что не по заслугам ласкал угодивших ему подчиненных, а не угодивших порой карал сверх вины, будучи уверенным, что ласка не принесет вреда делу партии, а кара станет наукой для других. Временами эксцентричностью своего характера он походил на человека, хохотавшего со страстью, для которой не было повода, или вопил трагичнее, нежели к этому побуждали обстоятельства.

Эти мысли о Мехлисе промелькнули в сознании Щербакова как отражение человека, прошедшего мимо зеркала. Александра Сергеевича интересовало сейчас другое: не искал ли его Мехлис по поручению Сталина? Может, дело какое ждет?

Но в салон для собраний все-таки не пошел: что-то сдерживало Щербакова. Он свернул в зал главного пункта и стал рассматривать светопланы, пытаясь понять, что произошло в зоне противовоздушной обороны за время его отсутствия. Но едкая мыслишка все-таки не покидала: никто ведь из партийного руководства, кроме него, не заходил сюда... Что ответить товарищу Сталину, если спросит, почему он, Щербаков, во время работы командного пункта находился то у пульта управления, то на наблюдательной вышке?.. Однако как же

иначе? Главный спрос в случае чего с него — с Щербакова... А, собственно, в случае чего?..

Александр Сергеевич вдруг почему-то вспомнил, как на днях генерал Журавлев с тревогой пожаловался ему: некоторые товарищи предупреждают, что не сносить ему, Журавлеву, головы, если хоть одна бомба упадет на Москву...

Когда налет немецкой авиации был отбит окончательно и объявлен отбой воздушной тревоги, Сталин с членами Государственного Комитета Обороны и членами Политбюро молча проследовал по коридору командного пункта к лифту. Увидев Щербакова, вышедшего из помещения главного пункта, он сказал ему бесстрастно-спокойным голосом:

— Пойдемте, товарищ Щербаков, с нами. Итоги будем подводить в Ставке.

Александр Сергеевич удивился, что в Ставку не были приглашены ни Громадин, ни Журавлев. А Сталин будто догадался о его озадаченности и уже в лифте пояснил:

— Военные товарищи пусть немножко передохнут, придут в себя... И им надо сгруппировать информацию... Чуть попозже мы их вызовем по телефону.

...Все собрались в кабинете Верховного, в том самом особнячке на улице Кирова, в котором только вчера проводилась проверка готовности Московской зоны ПВО к отражению ожидавшегося дневного воздушного налета немцев на Москву. Сейчас казалось, что это «вчера» было очень давно...

Сталин уселся за свой стол и начал, привычно манипулируя пальцами, набивать табаком трубку... Щербаков, всматриваясь в его уставшее, с резко проступавшими оспинками сероватое лицо, никак не мог угадать, какие тревоги гнездятся в голове Сталина и какие чувства томят его сердце. Сталин казался мрачным, подавленным, будто его мысли не могли найти чего-то важного, блуждая по заросшим травой забвения тропинкам памяти. А может, все проще? Возможно, его подавленность вызвана тем, что ему уже сказали: две тяжелые бомбы упали на Кремль. Одна — на Арсенал, почти полностью уничтожив находившуюся на его крыше прислугу счетверенного зенитного пулемета, вторая угодила в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца и, за-

стряв в потолке, не взорвалась[1]. Арсенал — напротив его, Сталина, квартиры и кабинета. Значит, прицельно бомбили немцы...

В это время в дверях кабинета появился Поскребышев и хрипло доложил, прикоснувшись рукой к горлу, которое, видимо, беспокоило его:

— Товарищ Сталин, маршал Тимошенко на проводе.

Сталин снял трубку с черного телефонного аппарата и, прежде чем начать говорить, сказал Поскребышеву:

— Пригласите к нам генералов Громадина и Журавлева. — Затем прижал к уху телефон: — Здравствуйте, товарищ Тимошенко! Слушаю вас...

Лицо Сталина постепенно начало светлеть, расплываться в улыбке, его золотистые глаза блеснули веселыми огоньками. Потом он прикрыл ладонью микрофон телефонной трубки и, обращаясь к сидевшим в кабинете, скороговоркой, в которой особенно четко прозвучал его грузинский акцент, пояснил:

— Тимошенко докладывает, что наблюдает подбитые нэмэцкие самолеты, идущие от Москвы. Многие горят и падают за линией фронта...

О чем еще докладывал Тимошенко, никто не знал, ибо лицо Сталина вновь похмурнело, глаза недобро сверкнули. Выслушав маршала, он со сдержанной строгостью сказал ему:

— Вы обязаны принять все меры, чтобы выбить немцев из Смоленска! Это требование Государственного Комитета Обороны! Во что бы то ни стало Рокоссовский должен пробиться к армиям Лукина и Курочкина!

Когда Сталин закончил телефонный разговор с главкомом Западного направления, в кабинет вошли генералы Громадин и Журавлев. На их строгих, спокойных лицах выражалось что-то общее, хотя они совсем не были похожи друг на друга. У Журавлева — пухловатые щеки, выразительные глаза под густыми бровями, лицо холеное, интеллигентное. У Громадина обличье по-крестьянски простое, бросались в глаза чуть оттопыренные уши; в пронзительном взгляде крайняя сосредоточенность. Правда, временами казалось, что глаза Громадина обращены в самого себя и рассматривают там нечто особенное, недоступное другим.

---

[1] Когда саперы разряжали бомбу, оказалось, что в ней отсутствовал взрыватель, а в его гнезде находилась записка: «Мы — немцы-антифашисты». *(Прим. авт.)*

— Садитесь, товарищи стражи неба. — В голосе Сталина будто прозвучала смягченность, происшедшая в настроении. Но так ли это?.. Когда генералы сели, он сказал: — Доложите, пожалуйста, товарищи Громадин и Журавлев, Государственному Комитету Обороны, какие военные и промышленные объекты пострадали от бомбежки — вокзалы, мосты, электростанции?..

— Никакие, товарищ Председатель Государственного... — Первым начал отвечать генерал Громадин, встав со стула.

— У меня есть имя, товарищ Громадин, — перебил его Сталин.

— Никакие серьезные объекты не пострадали, товарищ Сталин, ни военно-промышленные, ни коммунальные. — Громадин поправился спокойно, будто и не расслышал замечания Сталина.

— Жертвы среди населения и личного состава войск ПВО большие?

— Жертвы есть, товарищ Сталин, но, к счастью, небольшие. Потери уточняются.

Потом генерал-майор Журавлев, соблюдая чисто военную последовательность и твердо чеканя каждое слово, докладывал о действиях наземных и воздушных сил ПВО: времени обнаружения противника, количестве немецких бомбардировщиков, которых, по предварительным данным, насчитано более двухсот единиц[1], о тактике их действий. К Москве прорвались лишь отдельные самолеты, им удалось поджечь железнодорожный эшелон с горючим на запасных путях близ Белорусского вокзала, толевый завод в Филях и деревянные бараки на одной из окраин города. Разрушено несколько домов и здание 47-го отделения милиции. Одна бомба пробила Устьинский мост, но не взорвалась... Первыми вступили в бой полки истребительной авиации. На командный пункт 6-го авиационного корпуса поступили сведения о двадцати пяти воздушных боях, в которых сбито двенадцать немецких бомбардировщиков. К зоне зенитного огня приблизилось около двухсот самолетов. Десять из них было сбито артиллерийско-пулеметным огнем...

— Товарищ Сталин, разрешите мне задать вопрос? —

---

[1] По уточненным после Отечественной войны данным, в первом налете на Москву участвовало 250 немецких бомбардировщиков. *(Прим. авт.)*

Из-за стола для заседаний поднялся начальник Главпура армейский комиссар первого ранга Мехлис.

— Пожалуйста, товарищ Мехлис, — разрешил Сталин и обвел взглядом членов Политбюро: — У кого есть вопросы — не скупитесь, задавайте...

— Скажите, товарищ Журавлев, какое соотношение самолетов, сбитых артиллерией и пулеметным огнем? — спросил Мехлис.

— Преобладающее — артиллерией, — без промедления ответил Журавлев и открыл журнал с записями начальника штаба полковника Гиршовича. — Окончательные сведения уточняются. Но вот, например, зафиксировано, что пулеметчики сбили бомбардировщик, атаковавший Белорусский вокзал, а зенитные артиллерийские батареи лейтенантов Осаулюка и Турукало сбили по два бомбардировщика.

— Молодцы! — не удержался от восклицания Михаил Иванович Калинин, сидевший в конце стола и делавший какие-то записи на листе бумаги в зеленой папке. — Пусть лейтенанты сверлят на гимнастерках дырки для орденов. Обязательно наградим!

— А какой расход боеприпасов — снарядов и патронов? — опять спросил Мехлис. — И сколько раз поднимались в воздух наши самолеты?

— Немцы пытались прорваться к Москве в течение пяти часов. — Журавлев, прищурив глаза, всмотрелся в записи в журнале. — За это время наша истребительная авиация сделала сто семьдесят пять самолетовылетов, зенитная артиллерия израсходовала двадцать девять тысяч снарядов, зенитными пулеметами выстрелено сто тридцать тысяч патронов.

— Впечатляющие цифры! — не без иронии ответил Мехлис. — Если зенитным огнем сбито всего лишь десять бомбардировщиков, то на каждого из них израсходовано почти по три тысячи снарядов и по тринадцати тысяч патронов?.. Как вы это расцениваете, товарищ Громадин и товарищ Журавлев? — И Мехлис устремил выразительный взгляд на Сталина, будто призывая его к единомыслию.

Сталин тут же откликнулся:

— Один очень старый грузин, мой земляк, однажды сказал мне: «Если б я арифметику знал так, как я ее не знаю, то вполне мог бы стать академиком...» По знанию арифметики вы, товарищ Мехлис, годитесь в академики...

Первым зашелся удушливым смешком Калинин, затем рассмеялся сидевший в кресле рядом со столом Сталина Молотов. А потом взорвались хохотом все, находившиеся в кабинете Председателя Ставки. Сталин даже удивился такому всеобщему веселью и тоже стал смеяться. Затем, подняв руку, призывая всех к вниманию, сказал, обращаясь к Мехлису:

— Уж если вы такой специалист по арифметике, то загляните в энциклопедию и подсчитайте, сколько израсходовано тонн металла в первую мировую войну на каждого убитого солдата.

Генерал Журавлев, который продолжал стоять у стола для заседаний, резко захлопнул журнал с записями, обвел обиженным взглядом членов Политбюро, а затем обратился к Сталину:

— Разрешите, товарищ Сталин, дать краткое объяснение товарищу армейскому комиссару первого ранга?

— Пожалуйста, — сказал Сталин.

— Я позволю себе уточнить для ясности, что прицельный огонь мы вели только по целям, освещенным прожекторами. А основная масса снарядов выпускалась в небо в качестве заградительной завесы... Сегодня именно этот заградительный огонь сыграл решающую роль: только нескольким немецким бомбардировщикам удалось прорваться к центру Москвы.

— Хорошо, товарищ Журавлев, садитесь, — сказал Сталин и устремил вопрошающий взгляд на генерала Громадина, который по-школярски поднял руку. — Вы что-то хотите добавить?

— Да, товарищ Сталин. — Громадин встал и заулыбался. — Я хотел напомнить, что сегодня немцы сбросили не менее двухсот пятидесяти тысяч килограммов бомб. В этом можете не сомневаться, ибо у них, как и у нас, не рекомендуется возвращаться с боевых полетов с бомбами. Если вывести коэффициент полезного, с точки зрения немцев, действия их фугасок и зажигалок, то получится ноль целых и, извините, хрен десятых.

Лицо Мехлиса покрылось багрянцем; он явно сердился, однако старался не показать этого.

— На один Тушинский аэродром, — продолжал Громадин, — они сбросили тысячи зажигательных бомб. Все бомбы были потушены, и ни один самолет, ни один ангар не пострадали.

— В Тушине все пожары потушены, — не очень весело скаламбурил Молотов.

Среди членов Политбюро опять прокатился короткий смешок. Но Сталин, кажется, не вник в шутку Молотова, увлекшись какой-то своей мыслью. Даже не поднял глаз. Это озадачило Щербакова. Он записывал в блокнот главное из докладов Громадина и Журавлева, мысленно формулировал текст для сводки Информбюро, прикидывал в уме, какого содержания должен быть итоговый приказ Наркома обороны. По его мнению, войска ПВО Московской зоны в основном хорошо справились с первой, весьма серьезной боевой задачей. Но ведь приказ подписывать Сталину... Сойдутся ли их точки зрения?.. И он взглянул на Сталина, словно рассчитывал угадать его мысли.

И чтобы не смущать свою душу, быстро набросал на чистом блокнотном листе то, что ему казалось неопровержимым:

«В ночь на 22 июля немецко-фашистская авиация пыталась нанести удар по Москве.

Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения (ВНОС) вражеские самолеты были обнаружены, несмотря на темноту ночи, до появления их над Москвой.

На подступах к Москве самолеты противника были встречены нашими ночными истребителями и организованным огнем зенитной артиллерии. Хорошо работали прожектористы. В результате этого эшелоны из более 200 самолетов противника, шедшие на Москву, были расстроены, и лишь одиночки прорвались к столице. Возникшие отдельные пожары были быстро ликвидированы энергичными действиями пожарных команд. Милиция поддерживала хороший порядок в городе...»

Дальше мысль Александра Сергеевича застопорилась: надо ли вносить в приказ наркома раздел о недостатках и просчетах?

А Сталин, будто опять догадался о сомнениях Щербакова, сказал:

— Мы не готовы полностью и глубоко проанализировать весь ход сегодняшнего отражения налета на Москву вражеской авиации. Товарищи военные сделают это лучше нас и доложат нам послезавтра. Однако двадцать два сбитых самолета — это более десяти процентов от числа участвовавших в налете. Для ночного времени — нормально. Нужно также иметь в виду и то, о чем докладывал сейчас маршал Тимошенко: общие потери немецкой авиации не столь уж маленькие... Но я

согласен с товарищем Мехлисом вот в чем: заградительный зенитный огонь — это все-таки пассивная форма обороны. Она требует очень большого количества снарядов. Мы должны проверить, выдержит ли наша промышленность такую нагрузку. И далее: надо поручить нашим ученым поискать более эффективные и более экономные способы ведения заградительного огня, чтобы меньше выстреливать снарядов впустую. Займитесь этим, товарищ Громадин.

— Есть, товарищ Сталин, — ответил генерал.

— И немедленно представьте к правительственным наградам всех отличившихся сегодня в отражении налета бомбардировщиков.

— Слушаюсь.

Затем Сталин устремил взгляд на Щербакова, и Александр Сергеевич понял, что он должен будет прочитать сейчас проект сообщения для печати и проект приказа по Красной Армии. И он, прежде чем начать чтение, озадаченно посмотрел на генералов: мол, проект приказа об их действиях, удобно ли обсуждать его при них? Сталин понял взгляд Щербакова.

— Можете быть свободными, — сказал он Громадину и Журавлеву.

Когда генералы ушли, Щербаков прочитал проект сообщения о налете на Москву для Совинформбюро.

— Пусть это будет и преамбулой к приказу Наркома обороны... Это первый с начала войны благодарственный приказ... — И Сталин начал неторопливо диктовать, глядя на Щербакова, который быстро записывал его слова: — «За проявленное мужество и умение в отражении налета вражеской авиации объявляю благодарность:

1. Ночным летчикам-истребителям Московской зоны ПВО.

2. Артиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростатчнкам и всему личному составу службы воздушного наблюдения (ВНОС).

3. Личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.

4. За умелую организацию отражения налета вражеских самолетов на Москву объявляю благодарность:

— командующему Московской зоны ПВО генерал-майору Громадину;

— командиру соединения ПВО генерал-майору артиллерии Журавлеву;

— командиру авиационного соединения полковнику Климову.

Генерал-майору Громадину представить к правительственной награде наиболее отличившихся».

Последний пункт приказа чуть ли не трагично отразился на судьбе генерал-майора Громадина Михаила Степановича.

Сталин никогда, как говорится, не бросал слов на ветер и всегда строго, с жесткой требовательностью проверял, как выполняются его распоряжения, задания и даже малейшие поручения. И коль было приказано, что более подробные выводы об отражении первого налета на Москву Громадин и Журавлев «сделают лучше нас и доложат послезавтра», Сталин ровно через день вызвал обоих генералов в свой кремлевский кабинет.

И еще раз подтвердилась истина, что жизнь военачальников в условиях войны — тетка весьма суровая. Вникая в подробности боевых действий всех звеньев противовоздушной обороны в ночь на 22 июля, командование пришло к выводам, что было недостаточно глубоко продуманным, а на практике не весьма четким взаимодействие между различными родами войск. Не совсем удачно работали прожектористы, создав вокруг Москвы световое кольцо; город казался с воздуха будто раскинувшимся в воронке, и его легко было обнаружить. Нередко за одним немецким бомбардировщиком тянулось 15—20 прожекторных лучей, а отдельные самолеты, воспользовавшись этим, пролетали незамеченными. Иногда артиллерийско-пулеметная стрельба велась впустую — по недосягаемым целям. Некоторые летчики-истребители слишком долго задерживались в зонах ожидания и неумело вели поиск вражеских самолетов... Словом, было над чем размышлять в штабах войск ПВО всех ступеней, было что обсуждать на командирских совещаниях, на партийных и комсомольских собраниях.

Но ведь и немцы не дремали: подводили свои итоги и делали свои выводы. За первым их налетом на Москву последовали второй, третий... И так каждую ночь. Второй налет, например (в ночь на 23 июля), оказался для противовоздушной обороны Москвы более трудным, чем первый. Советские истребители и наземные огневые средства были ослеплены густой облачностью. Гитлеров-

цы не преминули воспользоваться этим благоприятным для них обстоятельством и ринулись на Москву мелкими группами бомбардировщиков на больших высотах через каждые 10—15 минут.

Но и это не помогло немцам. Из их 12 боевых эшелонов, включавших 150 бомбардировщиков, четыре эшелона вовсе не были допущены к столице нашими ночными истребителями. Остальные самолеты противника натолкнулись на могучий заградительный огонь артиллерии, сквозь который удалось прорваться к городу только одиночным бомбардировщикам. В эту ночь немцы потеряли 15 своих самолетов.

Сталин и другие члены Государственного Комитета Обороны и члены Политбюро с удовлетворением выслушали доклады генералов Громадина и Журавлева о мерах по совершенствованию ПВО Московской зоны. А потом Сталин, устремив взгляд на Председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина, с недоумением спросил:

— А где Указ о награждении отличившихся воинов при отражении первого налета?

Калинин пожал плечами и вопросительно посмотрел в сторону Громадина. Перевел взгляд на генерала и Сталин. В кабинете воцарилась зловещая тишина. Всем стало ясно, что произошло необыкновенное: не выполнен приказ Председателя Государственного Комитета Обороны.

Громадин побледнел до такой степени, что казалось, он сейчас потеряет сознание. А лицо генерала Журавлева побагровело до черноты. Тишина в кабинете Сталина делалась все напряженнее и нестерпимее.

Громадин поднялся медлительно, будто на его плечах была непосильная тяжесть. Белизна лица генерала начала, кажется, заплескивать его виски — все заметили, как коротко подстриженные волосы на них вдруг засеребрились.

— Товарищ Сталин, — изменившимся до неузнаваемости голосом заговорил Громадин, — если можете — простите... Приказ о представлении к наградам я отдал, а до конца дело не довел... Замотался... Сегодня же документы будут у вас...

— Хорошо, — после некоторого молчания сказал Сталин. — Но запомните: Сталин не привык, чтоб его приказы не выполнялись...

К концу дня, созвонившись с Поскребышевым, генерал-майор Громадин послал в Кремль пакет с наградными документами. Однако среди отличившихся в воздушных боях летчиков-истребителей не значилось имя лейтенанта Виктора Рублева, который таранным ударом сбил близ Солнечногорска немецкий бомбардировщик Ю-88. Обстоятельства сложились для лейтенанта Рублева так, что в авиационном полку ему пришлось давать показания представителю военной прокуратуры. Виктора заподозрили в трусости, что является в боевых условиях преступлением.

14

Случится же такое!..

Люди всегда поражаются случайным встречам, изумляются неожиданным стечениям обстоятельств. И чем разительнее случайность или неожиданность, тем глубже след оставляют они в сознании, страстно побуждают к размышлениям о превратностях человеческих судеб и о несомненно существующих связях между случайностями и закономерностями.

Но если б знали люди, сколько раз неожиданности обходят их стороной! И тоже случайно!.. Случайно многое не случается... Сколько раз на фронтовой дороге брат мог обнять брата или сын отца, но при встрече не взглянули друг другу в лицо... Никогда также солдат не узнает, что выпущенная в него вражеская пуля только случайно пролетела мимо; солдат в это время, может, наклонился, чтобы поднять уроненную цигарку или коробок спичек... Война для отдельно взятого человека — это цепь случайностей, малых и больших, трагичных или счастливых. Ты мог быть убит или ранен, но случайно остался жив. Ты мог уцелеть, но случайно оказался в том месте, где тебя караулила смерть. Солдатская выучка, военное мастерство, разумеется, уменьшают количество случайностей, когда речь идет о том, быть гибели в бою или не быть, но все-таки не исключает их вовсе.

Ольга Васильевна Чумакова уступила дочери Ирине и не согласилась эвакуироваться в Сибирь, куда настоятельно звал их обеих Сергей Матвеевич Романов, которому было поручено строить там завод. Может, потому уступила, что испугалась любви Сергея Романова к ней, вернувшейся из двадцатых годов с нерастраченной юношеской силой. А может, то была уже и вовсе

не любовь, а память о той давней любви, когда Ольга считалась невестой Сережи, или это была только эгоистичная жажда отомстить Федору Чумакову, ее Феде, за то, что он похитил его, Сережино, счастье...

Во всяком случае, надо было решаться на что-то серьезное. Война звала к делу всех. И они с Ириной приняли твердое решение: вместе идти на фронт, в полевой госпиталь, поближе туда, где воевал самый дорогой для них человек — Федор Ксенофонтович Чумаков. Ольга Васильевна, размышляя о муже, не могла отрешиться от наивного представления о том, что ее Федя на войне чуть ли не самый главный начальник, и пока он жив, а гибель его казалась ей немыслимой, немцам ни за что не пробиться к Москве. А чтоб ему, Феде, и его войску было легче одолеть врага, она без малейшего колебания снесла в банк, в Фонд обороны, все сохранившиеся от дворянского рода Романовых драгоценности, завещанные Ольге покойной Софьей Вениаминовной.

И какое же счастье испытала Ольга, когда ее кровинушка Ирина — дочь, которую любила без памяти, восприняла решение матери как свое собственное, без тени жалости или жадности, лишь оставив себе на память о бабушке какую-то безделушку. А ведь, как и многие девушки, любила украшения и даже понимала в них толк.

А теперь они решили идти на фронт и с нетерпением ждали повесток из военкомата. И вот пришли по почте два конверта с бумагами — предписаниями: Ирину призывали служить в полевую походную хлебопекарню, а Ольга Васильевна должна была с получением повестки явиться на Ново-Басманную улицу к месту формирования банно-прачечного отряда...

Вот тут-то у Ирины и ее матери проявился истинно чумаковский характер, со всей его взрывчатой силой. Ну, призови их куда угодно, однако в одну часть, вместе! Зачем же разлучать мать с дочерью?!

...Взволнованные и рассерженные (и от этого еще более красивые), Ольга Васильевна побледневшая, а Ирина пунцовая, бежали они по знакомой улице в направлении призывного пункта. Не знали, к кому будут обращаться и что станут говорить, но у обеих кипело в груди от негодования и несогласия с теми, кто так несуразно, будто в насмешку, распорядился их судьбами. Ведь Ирина еще в десятилетке приготовилась на случай войны быть санитаркой!..

На призывных пунктах военкоматов Москвы в эти дни уже схлынули давки и очереди, ибо на заводах, фабриках, в учреждениях и вузах готовились к формированию дивизий народного ополчения. И тем не менее во дворе школы, занятой под призывной пункт, в коридорах и в зале перед учительской, где властвовал уже знакомый Ирине капитан, было людно. Это не смутило Ольгу Васильевну. Никто из ждавших своей очереди для приема не успел глазом моргнуть, как они вместе с Ириной ворвались к капитану.

Тот в это время стоял за столом у своего кресла и разговаривал с кем-то по телефону. Появившихся в учительской он окатил строгим и даже свирепым начальственным взглядом.

— Есть, товарищ полковник! — раз за разом повторял капитан, сердито глядя на Ольгу Васильевну и Ирину. — Будем отбирать строго по инструкции... Но как мне доложить военкому?.. Кто приказал?.. Записываю: «Микофин Семен Филонович...» Какой ваш номер телефона?..

И тут случилось совсем невероятное.

— Сеня! Микофин! — закричала Ольга Васильевна и, подбежав к столу, почти силой отняла у потрясенного капитана телефонную трубку: — Милый Сеня! Это я, Оля, жена Феди Чумакова!.. Ты послушай: мы с дочкой попросились на фронт как медики, а эти бюрократы...

Вот еще один из случаев, которые меняют русла человеческих судеб. Через минуту-две капитан вытирал платком испарину со лба, осторожно расспрашивал, откуда товарищ Чумакова знает полковника Микофина — начальника одного из управлений Главного управления кадров Красной Армии, извинялся за «недоразумение» с повестками о призыве «не по роду войск» и обещал в ближайшие дни исправить ошибку и призвать мать и дочь для прохождения службы в один из походно-полевых госпиталей Западного фронта, хотя столь конкретное назначение зависело уже не от него, капитана... Но раз сам полковник Микофин!..

Мать и дочь вышли во двор школы счастливые, довольные собой, военкоматовским капитаном и пораженные тем, что так удачно «встретились» со старым другом и однокашником по академии их отца и мужа Семеном Филоновичем Микофиным.

И все-таки что-то беспокоило Ольгу Васильевну.

Не улетучивалась из памяти фраза Федора, которую он произносил нередко: «В армии должностей не выбирают. В армии служат там, куда зовут интересы дела...» Воспоминание это раздражало, как муха, назойливо вившаяся у лица.

«В конечном счете я не военнообязанная, — успокоила себя Ольга Васильевна. — Прошусь куда хочу!.. А куда я хочу?.. — И почувствовала, как изнутри легкий жар обдал ее лицо. — Хочу быть вместе с дочерью и поближе к мужу — человеку, которого люблю больше себя самой... И больше дочери?.. Да!.. Да, возможно, и больше дочери! Федя — рыцарь, защищающий Родину. Погибнет он — погибну и я. Зачем мне жизнь без него, без его вразумительного слова, без успокаивающей улыбки, без сдерживающего упрека?.. А Ирина уже взрослая, выстоит и найдет свое счастье, хотя ой как трудно будет ей, такой красавице...»

Так, переметываясь от мысли к мысли, не замечая их отрывочности и подчас нелогичности, шла она рядом с Ириной через школьный двор в сторону 2-й Извозной улицы, как вдруг их окликнул чей-то знакомый, с хрипотцой голос:

— Эй, соседушки!.. С фронтовым приветом!.. Какие заботы позвали вас сюда?!

Перед ними стоял их домоуправ Бачурин; он был почти неузнаваем — в кирзовых сапогах, военной хлопчатобумажной форме, подпоясанный зеленым брезентовым ремнем. Помолодевший, без привычной сутулости, Бачурин всем своим видом излучал энергию и деловитость. Присмотревшись к нему, Ольга Васильевна поняла, что домоуправа особенно молодила красноармейская пилотка, из-под которой серебрились виски коротко подстриженных волос.

— Дядя Бачурин! — Ольга еще в юности так звала домоуправа. — Неужели и вы на фронт?!

— Я уже с фронта и опять туда же.

— И мы на фронт! — восторженно похвасталась Ирина. — В военный госпиталь!

— Вам что, в Москве госпиталей не хватает? — Темные глаза Бачурина подернулись грустью, а лицо похмурнело и постарело.

— В Москве и без нас полно добровольцев, — с некоторым гонором ответила Ирина.

Бачурин посмотрел в ее красивое и взволнованное

лицо с печальной снисходительностью и начал закуривать папиросу. При этом будто с неохотой сказал:

— Федор Ксенофонтович не одобрил бы...

— Это почему же?! — В голосе Ольги Васильевны просквозила озабоченность.

— Ему на фронте сейчас ой как не сладко. А узнает, что и вы под бомбами, — еще горше будет.

— Мы полагали — наоборот. — Голос Ольги Васильевны потускнел. — Воевать будем рядом.

Бачурин затянулся табачным дымом, выдохнул его и тут же удушливо закашлялся. Потом заговорил будто о другом:

— Из Смоленска не успели эвакуировать госпиталь. Тысячи раненых и медперсонал захвачены немцами... Вы же семья генерала... Вам первым петлю на шею...

— Дядя Бачурин, зачем вы нас пугаете? — с искренней укоризной спросила Ольга Васильевна. — Сейчас все должны забыть о страхе и думать об общей пользе...

— Вот именно! — перебил ее Бачурин. — О пользе там, где ее действительно можно принести.

— Что же вы советуете?

— Ехать, допустим, на строительство оборонительных рубежей. Там санитары тоже нужны — даже на нашем участке... Могу взять вас с собой.

Вряд ли бы согласились Ольга Васильевна и Ирина на предложение Бачурина, если бы не он — с л у ч а й: когда они стояли посреди школьного двора и вели этот разговор, на крыльцо вышел начальник призывного пункта и громко крикнул:

— Бачурин еще не уехал?!

— Здесь я! — настороженно откликнулся Бачурин. — Жду грузовик со склада военного округа!

— Только один грузовик? — огорчился капитан. — Там мне звонит военный комендант Большого театра товарищ Рыбин. Просит забрать у него на окопные работы группу добровольцев — артистов и музыкантов.

— У Большого театра есть свои автобусы. Пусть сами и везут! — Бачурин заговорщицки подмигнул Ольге Васильевне, однако глаза его не утратили печального выражения. — Вчера ведь один их автобус приходил под Можайск!

— Возьмите хоть двух народных артистов!

— Нет места в машине!.. А артистов, писателей, разных там сочинителей музыки у нас на каждую сотню

метров противотанкового рва по десятку! Лопат и кирок не хватает!

Если строительством поясов Можайской линии обороны занимаются даже народные артисты из Большого театра, так почему же не поехать и им — Ольге Васильевне и Ирине?!

«К дьяволу колебания!..» — подумала Ольга и, взглянув на дочь, поняла, что и она близка к такому решению. — Едем, Иришенька?

— Едем, мамонька!

15

Ольга Васильевна как жена кадрового военнослужащего, казалось, ничему не привыкла удивляться, что относилось к делам военным. Видела она полигоны и стрельбища, военно-инженерные городки и искусственные препятствия на танкодромах. Но вот так, чтоб, сколько охватит глаз, земля была распорота глубокой раной, именуемой противотанковым рвом, и в этой ране, в ее незаметно нарастающей глубине и на пологой крутизне выброшенной на одну сторону рва земли, пока высившейся как нескончаемо длинный надгробный холм, копошились с лопатами и кирками в руках тысячи и тысячи людей, — такого она и вообразить не могла. Ее поразило даже само пестрое разноцветье платков, косынок, беретов, блузок и кофточек на женщинах и девушках. Белые, голубые, красные, зеленые, оранжевые, они, будто цветы на порывистом ветру, колыхались, наклонялись и выпрямлялись, от чего рябило в глазах. Ров и копошащийся в нем и над ним людской муравейник тянулись от Минского шоссе, через чуть сгорбившееся жнивье, до далекого леса, подернутого сизой дымкой.

В этом муравейнике, если присмотреться, было немало подростков, юношей и пожилых мужчин. Но они как-то не замечались на фоне женского трудового войска, может быть, потому, что брали на себя самую тяжкую часть работы, копали на самом дне рва, выбрасывая оттуда грунт, который женщины отбрасывали лопатами еще выше, отгребали дальше, а затем разравнивали и маскировали.

А если б взглянуть на земную бескрайность из глубин поднебесья, стало бы отчетливо видно, что вокруг Москвы постепенно образовывалось гигантское кольцо,

состоявшее из канав, из что-то скрывавших под собой бугров, из наклоненных в сторону от города густых линий столбиков и замысловато разбросанных железных крестовин, из нагромождений сваленных деревьев. Эта почти полумиллионная армия мирных жителей советской столицы, главным образом женщин, готовила для своих отступающих под напором врага и для формировавшихся в тылу новых дивизий опорные места битвы: копала противотанковые рвы и эскарпы, строила доты и дзоты, устанавливала всякого рода препятствия — надолбы, ежи, делала лесные завалы... Работы на одних участках уже заканчивались, на других были в полном разгаре, на третьих только начинались. Все делалось под строгим контролем военных специалистов — так, чтобы огневые сооружения, строящиеся сзади препятствий, были менее заметны со стороны противника и имели перед собой простор для обзора и обстрела. Расчищались опушки и оборудовались огневые точки. Продуманно использовались для создания рубежей обороны складки местности, речки и речушки, заболоченные места, населенные пункты и отдельные строения.

В составе руководства всех участков были партийные работники, в большинстве — секретари райкомов партии... А итог работ мог только изумлять: вокруг Москвы к концу лета был вырыт 361 километр противотанковых рвов, 331 километр эскарпов, построено 4026 пушечных и 3755 пулеметных дотов и дзотов, устроено 1528 километров лесных завалов...

Да случится же такое!.. Воздушная трасса лейтенанта Виктора Рублева сошлась с наземной дорожкой Ирины Чумаковой. Сошлась, да и разошлась...

Уже с неделю были на земляных работах Ольга Васильевна и Ирина. Жили в одной из многочисленных брезентовых палаток, стадом разбредшихся в молодом сосняке. Но чаще спали на воздухе, у палатки, на толстой подстилке из душистого сена. Ирина вместе с матерью рыла ямы для надолб; работа нехитрая: копаешь продолговатую яму, а потом в ней сбоку еще яму, чтобы общая глубина достигла трех метров и опущенное туда бревно само по себе устанавливалось под нужным углом, затем яма засыпалась землей и плотно трамбовалась. Вот и получалась надолба — одна за другой, ряд в ряд... Попутно Ирина выполняла и роль санитарки,

имея при себе сумку с медикаментами. Врачевала волдыри, царапины, ушибы и, случалось, раны. Первые дни показались им с непривычки невыносимой каторгой и мучительной вечностью, но потом втянулись в работу и как бы слились силами со всеми остальными женщинами и девушками и стали такими же неузнаваемо загорелыми, с облупившимися носами и с огрубелыми, мозолистыми ладонями рук.

Ольга Васильевна, пересиливая не покидавшую ломоту в пояснице, все размышляла о счастливых, прожитых без войны годах, о всяких событиях, вступала в разговоры и даже споры с женщинами, работавшими рядом. Часто вспоминала слова своего разлюбезного Федора, который нередко твердил: «Труд — это творчество или первооснова любого вида творчества; итог труда — высшая степень творческого чувствования и проявление счастья...» Нет, не приносили радости эти трудовые дни под палящим солнцем, эта боль в пояснице, в икрах ног и в руках, державших лопату со скользким черенком.

И вот однажды она услышала рядом с собой:

— Ольга Васильевна?! Ангел мой, а вы как оказались здесь?! — Голос прозвучал с приторностью и знакомой картавинкой.

Ольга распрямилась и, стоя по колени в недорытой для надолбы яме, увидела над собой их московского дворника Губарина. Военная форма, точно такая же, как на Бачурине, и укороченные усы изменили его до неузнаваемости; лицо сделалось куда приятнее и моложавее.

Да, это был он — их дворник Губарин Никанор Прохорович, который помог Ирине снести и сдать на почту, как и полагалось ввиду войны, радиоприемник, принадлежавший покойному Нилу Игнатовичу Романову. Губарин же был и понятым при вскрытии представителем милиции сейфа умершего профессора и шкатулки с драгоценностями, оставленными в наследство Ольге Чумаковой.

— Никанор Прохорович, как вас могли отпустить из Москвы?! — искренне удивилась Ольга Васильевна. — Вы же начальник пожарной дружины нашего дома на случай бомбежки! Кто вас из жильцов заменит? — Она встревоженно вернулась мыслями в свой московский дом, во двор со сквером и ощутила их полную незащищенность без дворника Губарина.

— Не жильцы, а обыватели, — извинительно сказал, поглаживая усы, бывший дворник. — Все настоящие граждане, патриоты, не отсиживаются в такое время по домам и не прикрываются пожарными дружинами... Вот и вы, полагаю, не случайно здесь...

— Мы с Ирочкой как все, — ответила Ольга Васильевна.

— И ваша красавица дочь здесь? — изумился Губарин и огляделся по сторонам.

— Она сейчас на медпункте делает перевязки легкораненым. Нас вчера бомбили, — пояснила Ольга Васильевна.

— Знаю, ангел мой, сам нырял в щель — прятался от бомб... Но я не могу позволить, чтоб вы, жена генерала, мозолили свои рученьки на окопных работах.

— Я для этого и приехала сюда.

— Мы найдем вам занятие не менее полезное и важное.

Ольга обратила внимание на то, что к их разговору стали с любопытством прислушиваться женщины, копавшие ямы по соседству, и раздраженно перебила Губарина:

— Никанор Прохорович, здесь все равны, и норма выработки для всех одинакова... Не отвлекайте меня от дела.

Не могла она знать, что дворник Губарин, он же бывший графский сын Николай Святославович Глинский, человек высокообразованный и с нетерпением ждавший прихода немцев, имел свои виды лично на нее, как привлекательную женщину, и на ее богатство, не веря в то, что она действительно все наследственные драгоценности до грана отдала государству на нужды войны. По требованию своего младшего брата Владимира, кадрового, как оказалось, абверовца, Николай должен был отправиться с московским ополчением на Западный фронт, перейти там на сторону врага и передать абверовцам от Владимира, носившего у немцев кличку Цезарь, сведения о судьбе абвергруппы, которой Владимир командовал в первые дни войны, о его нынешнем месте пребывания, а также разработанный и выверенный им план покушения на Сталина и, возможно, на других большевистских руководителей и главных военачальников.

Но уже в вагоне поезда, везшего ополченцев в сторону фронта, Николай Губарин наслышался такого о

кровопролитных боях на Смоленской возвышенности, что его охватил ужас. Ходить в штыковые атаки и при удачном случае поднять перед немцами руки? Где же гарантия, что они обратят на это внимание? А если свои заметят?.. Хоть и говорят, что пуля — дура... Нет, она способна очень сообразительно сделать свое дело.

Поразмышляв о том, что его брату Владимиру, который с документами майора Красной Армии Птицына долечивал раненую руку в одном из московских госпиталей, спешить с покушением на Сталина не следует (все равно немцы придут в Москву), Николай решил тоже не торопиться. И когда подъезжали к Голицыну, он судорожно схватился за сердце, сумел даже вызвать на своем лице бледность и испарину на лбу. Его ссадили с поезда, проводили в медицинский пункт.

Так дворник Губарин отстал от ополченцев, а потом там же, в Голицыне, попал в распоряжение начальства, руководившего рытьем окопов, противотанковых рвов и строительством дзотов. Возраст и солидный вид Губарина-Глинского внушил начальству расположение к нему, да еще неожиданная встреча со своим домоуправом Бачуриным; и Губарин сам стал небольшим начальником: помощником Бачурина по обеспечению строительных отрядов землеройными, пилющими и колющими инструментами.

— Ну как знаете, ангел мой. — И Губарин, галантно поклонившись, зашагал прочь. — Я хотел как лучше.

А вечером, когда вся пестрая армия землекопов отхлынула в сосняк, к палаткам, и уселась за дощатые столы ужинать, к Ольге Васильевне, которая от усталости еле управлялась с ложкой, выгребая из алюминиевого котелка жирную пшенную кашу, подсела молодая женщина. Ее все знали как водовозку Валю, целыми днями ловко правившую старой лошадью, запряженной в оглобли пожарной бочки. Валя исправно развозила свежую родниковую воду вдоль трассы землеройных работ. У нее было славное личико с мягкими, округлыми чертами — неброскими и неяркими. Но когда Валя улыбалась, то лицо ее менялось, будто высветливалось изнутри какой-то особой привлекательностью. Казалось, сама доброта поселилась в ее улыбке и чуть загадочных глазах. Правда, среди женщин ходили сплетни, что Валя путалась кое с кем из начальства, кто-то видел ее свидание в недалеком лесу с незнакомым лейтенантом.

Но Ольга Васильевна не придавала значения этой женской болтовне и относилась к Вале приветливо и доброжелательно.

— Генеральша, у меня к тебе поручение, — зашептала Валя, толкнув под столом коленкой ногу Ольги Васильевны.

— Меня зовут Ольгой...

— Была Ольга, а теперь генеральша... Все знают.

— Ну и что? Какое поручение?

— Мне передал Губарин, а ему, видать, начальство повыше... Приглашают тебя поужинать в командирскую столовую... Шампанское будет, шоколад... Хотят там тебя и на работу пристроить, а твою дочь — в санитарную часть штаба...

— А шампанское какое? Сладкое, полусладкое или сухое? — с притворной заинтересованностью спросила Ольга Васильевна, покосившись на притихшую рядом Ирину.

— А шут его знает! Шампанское — оно и есть шампанское. Шипит и в нос шибает. Не пожалеешь, генеральша, — убеждала Валя.

— Но хоть на льду настоянное? — спросила Ирина, включившись в словесную игру матери.

— Тю на тебя! Какой сейчас лед?! — изумилась Валя.

— А ты разве не знаешь, что генеральши пьют шампанское, только охлажденное в серебряном ведерке со льдом?

Валя, догадавшись, что Ольга Васильевна и ее дочь с презрением шутят над ней, обиженно отвернулась, не зная, как держать себя дальше.

В сосняке все вокруг заволоклось мглой — пора было ложиться спать. Звяканье ложек о котелки и алюминиевые тарелки постепенно затихало, таял женский застольный галдеж, будто размытый теменью. И лишь гудение надоедавших комаров вдруг начало набирать силу...

Но то оказался не комариный звон: это шли на Москву эскадры немецких бомбардировщиков...

С протяжно-угрожающим ревом пронеслись над лесом навстречу врагу звенья наших истребителей. В прогалинах верхушек ветвистых молодых сосенок засветилось на западе небо: далекие прожекторные лучи будто

растворили его непроглядность и раздвинули звездную ширь. Вскоре донеслись до лагеря приглушенные расстоянием пулеметные очереди и хлопки-выстрелы самолетных пушек.

«Иду-иду-иду!» — многоголосо и грозно возвещали, набирая густоту и силу, моторы немецких бомбардировщиков. Этот давящий и пугающий звук заполнил, казалось, весь звездный шатер темного неба и падал на лагерь строителей со всех сторон.

Через какое-то время в рокот немецких бомбовозов вдруг ворвался нарастающий и захлебывающийся вой одинокого истребителя, летевшего, кажется, над самыми верхушками молодого леса. Над лагерем его мотор будто взвыл от смертельного удара — послышался похожий на выстрел хлопок, и в небе остался только размеренный гул немецких самолетов; все различили оборвавшийся шум мотора истребителя, и многие увидели, как он косым полетом скользнул над Минским шоссе и наклонно устремился в сторону недалекого безымянного озера, окруженного высокими камышами и коварно-топкими болотами-торфяниками. Тут же со стороны озера донесся гулкий звук удара, вслед за которым послышался шум падающей воды и коротко шкваркнувшего в ней раскаленного железа.

Ольга Васильевна от охватившего ее испуга не успела ничего осмыслить, как Ирина, быстро сняв висевшую на сучке сосны санитарную сумку, взволнованно крикнула:

— Мама, бежим! Там наш летчик гибнет!

В сторону упавшего истребителя побежали несколько десятков людей, главным образом юношей. Ольга Васильевна тоже выскочила на опушку сосняка, но увидела, что до темнеющей стены камышей довольно далеко, и в нерешительности остановилась.

В это время буквально в десятке метров от нее приземлился парашютист. Он гулко ударил ногами о землю, затем свалился на бок, перевернулся на спину и несколько мгновений лежал неподвижно, как мертвый.

«Немец!» — испуганно трепыхнулась мысль у Ольги Васильевны.

Парашютист зашевелился, затем сел, и послышался его урчащий, сдавленный болью голос, в котором она разобрала бранно-матерные слова.

«Свой!» — облегченно вздохнула.

Парашютиста окружили выбежавшие из сосняка

люди, помогли встать, освободиться от лямок парашюта.

Это был лейтенант Виктор Рублев.

— До Кубинки далеко отсюда? — с тяжкой удрученностью спросил он.

— Порядочно, — ответила за всех водовозчица Валя. — Садись в мою карету, подвезу до штаба, а оттуда на машине подбросят. — И она указала на впряженную в двуколку с бочкой лошадь, стоявшую на опушке.

...И опять господин случай. Задержись Ирина в лесу на несколько минут, она непременно встретилась бы с полюбившим ее первой и страстной юношеской любовью Виктором Рублевым — ленинградским лейтенантом, о котором вспоминала, ощущая в сердце сладкое щемление и смутную тревогу. А может, и не узнала б его? Могло случиться и такое — ведь у них были только две короткие встречи...

Явившись в штаб полка — двухэтажное кирпичное здание, замаскированное растянутыми на шестах сетками, — лейтенант Рублев сложил в углу коридора скомканное, опутанное лямками полотнище парашюта и, подойдя к старшему лейтенанту с красной повязкой на рукаве, сидевшему за столом дежурного, спросил:

— Кому докладывать?

— О чем?

— Ну я после задания. Не нашел аэродром, а бензин кончился... Пришлось выброситься...

У старшего лейтенанта вытянулось лицо и холодком промелькнул страх в сузившихся зрачках глаз. Он сказал:

— У всех хватило бензина, и все нашли аэродром... А ты что, в одиночку летал?

— Я отстал на взлете... Забыл отсоединить телефонный шлейф от шлемофона. Чуть голову себе не оторвал.

— Ну и ну! — произнес осипшим голосом дежурный и спросил, придвинув журнал для записей: — Как фамилия и чья эскадрилья?

Записав все, что полагалось, старший лейтенант уже сочувственно посмотрел на Рублева и сказал:

— Сейчас все на верхотуре. — Так условно именовался командный пункт полка. — Отражают налет немцев... А ты, герой, бери лист бумаги и пиши объяснение. Только правду пиши!

Рублев измерил старшего лейтенанта укоряюще-болезненным взглядом и, повернувшись, пошел на летное

поле, где бензовозы заправляли бензином вернувшихся с боевого задания истребителей...

На второй день лейтенанту Рублеву действительно пришлось объясняться с военным дознавателем, который по поручению военного прокурора уточнял обстоятельства утраты летчиком боевого самолета. Сложность положения, в которое попал Виктор, заключалась в том, что воздушная разведка не могла обнаружить место падения его самолета, чтобы послать туда специалистов, которые бы по виду лопастей винта могли убедиться, что Рублев действительно таранил в ночном бою вражеский самолет. Место же падения «юнкерса», сбитого в районе Солнечногорска, было найдено. Однако немецкий самолет разметало взрывом на огромной и очень заболоченной территории — сработал высокооктановый бензин. Ни по каким признакам невозможно было удостовериться, что он действительно таранен, а не сбит пулеметным огнем, ибо на обломках бомбардировщика были обнаружены следы пуль. Да и сопоставление скоростей «юнкерса» и истребителя И-16 было не в пользу доказательств лейтенанта Рублева.

А Виктор даже не мог представить себе, что его всерьез заподозрили в трусости и не верили в то, во что не поверить было, с его точки зрения, просто немыслимо. Ведь он вначале заклинил огнем своего пулемета один мотор «юнкерса», а затем заставил его удирать пикированием. После выхода из пике «юнкерс» на одном работающем моторе уже не обладал прежней скоростью, да и Виктор, подняв из пике истребитель на несколько секунд раньше бомбардировщика, сократил свою кривую и резко сблизился с немцем. Попросив у дознавателя, которым оказался вчера дежуривший по штабу старший лейтенант, чистый лист бумаги, он аккуратно вычертил траекторию пикирования «юнкерса» и траекторию маневра своего истребителя, сделал даже тригонометрические вычисления. Но дознаватель в тригонометрии оказался не силен, а тут еще сбивали всех с толку показания пленного немецкого полковника фон Рейхерта — командира экипажа тараненного лейтенантом Рублевым «юнкерса». Полковник с саркастической улыбкой доказывал, что русские сбили его каким-то тайным оружием, категорически отрицал, что у его самолета был заклинен один мотор, иначе, мол, он, командир экипажа, не позволил бы отрываться от со-

ветского истребителя пикированием, ибо на одном моторе у «юнкерса» не хватило б мощности выйти из пике. Так ли это?.. Но несомненно, что Ю-88 с двумя исправными моторами советскому истребителю И-16 не догнать.

Вроде бы все логично. Но кто же тогда сбил самолет полковника фон Рейхерта? Впрочем, такой вопрос не особенно занимал военного дознавателя, так как в ту ночь многие немецкие бомбардировщики получили изрядные порции пуль и снарядов при атаках советских истребителей; вполне возможно, что успех кого-то из наших летчиков остался незамеченным.

А командиру истребительного полка уж очень хотелось зарегистрировать первый ночной таран за своим летчиком. Да и убежденность лейтенанта Рублева, с которой тот доказывал свою правоту, подкупала командира. И он, не закрывая заведенного на лейтенанта следственного дела, разрешил ему вместе с двумя бойцами из команды аэродромного обслуживания попытаться разыскать свой упавший истребитель.

— Если найдете самолет, то в качестве доказательства тарана хоть отпилите одну лопасть винта, — приказал командир полка.

И Виктор отправился на поиски.

16

Воображение всегда безбрежно и почти неуправляемо. Оно бывает палачом и щедрым благодетелем. Это испытывал на себе Федор Ксенофонтович Чумаков, сидя среди раненых в маломощном санитарном автобусе. Переваливаясь на ухабах Старой Смоленской дороги, той самой, по которой в 1812 году Наполеон шел со своей армией на Москву, автобус к утру миновал городишко Кардымово и уже держал путь на Дорогобуж, где предположительно должен находиться полевой госпиталь.

Генерал Чумаков изнемогал от наплыва мыслей, пытаясь еще и еще раз проникнуть во все случившееся с его войсковой группой, высветлить в уме складывавшиеся ситуации и определиться в ответе: все ли правильно сделал он там, в районе Красного, и ранее, чтоб не позволить немцам рассечь группу и прорваться к Смоленску?.. А главное, томил вопрос: что и как произошло после его ранения? Сумеет ли полковник Гулы-

га со штабом не распылить оставшиеся части и пробиться из очередного окружения? Должен суметь!.. Разумен же... Но не всегда благоразумен. Разум и благоразумие — вещи разные, пусть и лежат рядом. Боится полковник рисковать, а на войне риск подчас решает успех боя. Нельзя на войне без риска. И, принимая окончательное решение, уже не надо вопросительно оглядываться на других, ибо этим проявишь неуверенность и посеешь у подвластных тебе людей недоверие к своему решению.

Не подозревал Федор Ксенофонтович, что в следственных инстанциях военной прокуратуры Западного фронта в какой-то степени подобным образом размышляли и о нем самом, приняв меры к его розыску. Прокуратуре стало известно, что генерал Чумаков причастен к взрыву смоленских мостов через Днепр, хотя на это не имелось санкции ни штаба фронта, как было обусловлено в письменном приказе начальнику гарнизона полковнику Малышеву, ни даже командующего 16-й армией генерала Лукина. Заодно кто-то заронил сомнение — так ли уж тяжело ранен Федор Ксенофонтович, что отстранился от командования своей войсковой группой, покинул район боевых действий, но нашел возможность вмешиваться в дела начальника Смоленского гарнизона, подчиненного командующему 16-й армией. Ко всему этому еще добавлялась и зловещая ситуация с майором Птицыным, с которого не спускала глаз контрразведка, заподозрив в нем гитлеровского агента. Птицын по поручению Чумакова навещал в Москве его семью.

Не догадывался Федор Ксенофонтович, что над его седеющей головой сгущались темные и небезопасные тучи. Он пока был поглощен своими мыслями и воспоминаниями, хотя боль в раненых плече и шее иногда вытесняла тиранившие его сомнения, и тогда он начинал ощущать — может, впервые в жизни, — сколь томительно тяжко бывает на душе, когда время течет бессмысленно, вкладываясь в рвущую тело боль и в удары самого верного счетчика минут — собственного сердца.

Именно эти наполненные болью и ощущением безвременья часы были весьма мучительными, тем паче что ничем не мог помочь, когда автобус надолго останавливался в пробках на переправах, в уличных заторах или когда водитель, оставив кабину, убегал куда-то с

ведерками клянчить бензин, визгливо доказывая где-то там, в стороне, что у него среди раненых находится чуть ли не маршал.

В автобусе стояла духота, терпко пахло испарениями крови и мочи, и клубилась встряхиваемая пыль. Дорога за Кардымовом была разбитой, над ней непрестанно висела курчавившаяся серая завеса, поднятая шедшими в обе стороны машинами, тракторами, повозками... Федор Ксенофонтович на остановке в Кардымове уступил свои подвесные носилки старшему лейтенанту, тяжело раненному в грудь при бомбежке, а сам сел на шершавое от засохшей крови место в углу автобуса, потеснив сидячих раненых. От нечего делать стал прислушиваться к разговорам в автобусе. Разговорчивее всех был Алесь Христич, раненный в голову осколком противотанковой гранаты, им же брошенной у смоленской военной комендатуры в грузовик с немецкими диверсантами. Сержанта Чернегу пришлось высадить еще на выезде из Смоленска — из-за тесноты в автобусе. Да и не было необходимости, чтоб сержант дальше сопровождал генерала Чумакова.

Федор Ксенофонтович с радостным удовлетворением отметил про себя, что в столь тяжкое время, в такой тревожно-напряженной атмосфере, при бомбежках и обстрелах дороги с воздуха, раненые не ныли, не паниковали, сдержанно говорили о том времени, когда Красная Армия сплошным фронтом станет лицом к немцам и те побегут вспять; высказывали мечты, как бы побыстрее вернуться в строй: ведь они, мол, поднабрались боевого опыта и воевать будут с бóльшим знанием дела. Эти подслушанные разговоры повергли Федора Ксенофонтовича в размышления о том, сколь не прав был тот древний мудрец, утверждавший, что истинно счастливым бывает только тот, кто творит... Военный же человек, мол, никогда не может быть счастливым, ибо он существует для войны, то есть для разрушения... Конечно, кто творит, созидает, тот испытывает огромное счастье. Но разве он, Чумаков, не счастлив, созидая советского воина с его светлым внутренним миром, воина, способного и жаждущего защищать то, что является плодом созидателей новой жизни? Вот они, эти воины, вокруг него. Апогей счастья военного человека, конечно же, в победе над врагом, захватчиком...

А ведь эта победа обязательно придет... Следовательно, военное дело, как оно поставлено в Красной

Армии, есть творчество — от начала и до конца, в мирное время и на войне...

Прежде чем попасть в Дорогобуж, надо было проехать через днепровскую переправу в деревне Соловьево, которая находилась в самой узкой части горловины — между Ярцевом и Ельней, захваченными немцами. Эту горловину враг настойчиво пытался перехватить, нависнув над Соловьевом с севера и юга будто двумя железными челюстями раскрытой гигантской пасти, в которой продолжали сражаться армии генералов Курочкина и Лукина. Сомкнуться грозным челюстям мешал, словно стальная распорка, сводный, довольно крепкий, состоявший из опытных бойцов и командиров отряд сорокалетнего полковника Лизюкова Александра Ильича. Этот отряд, усиленный полутора десятками танков — остатками 5-го механизированного корпуса — и несколькими двизионами артиллерии, оборонял не только соловьевскую, но и радчинскую, что ниже по Днепру, переправы. Ближайшими помощниками полковника Лизюкова, как правая и левая руки, были испытанные в боях командиры полков майоры Сахно и Шепелюк.

Чем ближе подъезжал санитарный автобус к раскинувшейся на холмистом берегу Днепра деревне Соловьево, тем явственнее чудилось генералу Чумакову, да и всем другим раненым, что приближаются они к передовой линии фронта, где ожесточенность боя вскипала до высшей степени.

Самым тяжким оказалось переехать через переправу в Соловьево. Перед собранным из железных понтонов мостом с обеих сторон реки скопилось на дороге и ее обочинах множество машин и повозок. А в небе над этим скопищем и над мостом кружили немецкие бомбардировщики и несколько наших истребителей. Свист бомб, тяжкие взрывы, рев самолетных моторов, пальба зенитных орудий и счетверенных пулеметов сливались в страшный грохот, заглушавший командные окрики и матерщину на переправе, вопли раненых людей — военных и гражданских — и предсмертное ржание лошадей. Но это были еще не самые страшные дни Соловьевской долины. Самые страшные наступят тогда, когда поток войск направится только в одну сторону — на восток...

Полковник Лизюков лично руководил переправой. Впрочем, сказать «руководил» — будет не совсем точно. Он жестоко диктовал всем свою волю — тем, кто проез-

жал через наплавной мост, саперам, днем и ночью чинившим его, зенитным батареям, которым приходилось вести огонь не только по самолетам, но и по прорывавшимся к переправе немецким танкам, и всем тем, кто сгрудился на дороге и на берегу Днепра. Крутолобый, с облысевшей головой, глаза с прищуром, лицо добродушное, на котором выделялся широкий, мясистый нос, — весь внешний облик полковника вязался и не вязался с непостижимым его характером. Он, этот характер, проявлялся то в бурных всплесках гнева, то в увещевательных или укоряющих интонациях, когда полковник наводил порядок на въездных путях на наплавной мост или когда появлялся у места наведения запасного моста ниже по течению Днепра.

Генерал Чумаков узнал полковника Лизюкова по голосу, когда тот проходил мимо их санитарного автобуса, уже долго стоявшего в застопорившейся колонне машин и повозок. Лизюков кого-то грозно отчитывал за какую-то провинность, и Федор Ксенофонтович громко позвал его:

— Александр Ильич! Это ты?!

Лизюков заглянул в автобус и не сразу узнал Чумакова, хотя судьба не единожды сводила их в академических аудиториях и на всякого рода сборах и совещаниях. Когда-то на краткосрочных курсах их особенно сблизило знание немецкого языка, но Лизюков, будучи сыном одаренного сельского учителя из Белоруссии, владел еще французским и немного английским, чем немало гордился.

И когда он признал Чумакова, тут же, без лишних слов, строго спросил:

— Ходить можешь?

Федор Ксенофонтович, конечно, смог бы при чьей-нибудь помощи пройти несколько сотен метров. Но, когда заметил, как настороженно замкнулись на нем взгляды всех раненых, находившихся в автобусе, ответил:

— Не могу, Александр Ильич. Отяжелел я...

— Тогда мы тебя на носилках перетащим в одну из передних машин... Иначе настоишься...

— Спасибо, Саша, не надо. Я уж как-нибудь со своей компанией буду терпеть...

— Черт упрямый! — беззлобно ругнулся Лизюков. — Ладно, что-нибудь придумаем. — И удалился.

Через десяток минут к их автобусу подошел, неровно тарахтя мотором, тракторишко какой-то странной мар-

ки; его чумазый водитель в пропитанном соляркой комбинезоне соединил металлическим тросом автобус со своим железным конем, и они общими усилиями (трактора и автобуса) сползли на кочковатую болотистую обочину дороги и медленно потянулись к въезду на переправу. Здесь их встретил со своими людьми полковник Лизюков.

Встав на откидную подножку автобуса, полковник спросил в открытую дверь:

— Федор, что там происходит?

— Наводи больше переправ и строй подъездные пути, — суховато ответил Чумаков. — Если со стороны Ярцева, Рославля и еще откуда-нибудь наши немедленно не нанесут удары по смоленской группировке немцев, то через твои переправы, я полагаю, будут пробиваться армии Лукина, Курочкина и частично Конева... А это, сам понимаешь, хлынут тысячи... Плюс артиллерия, тягачи, автотранспорт...

— Да немцы и сейчас напирают, чтоб перехватить нашу горловину, — сказал Лизюков. Затем раздраженно спросил: — А из чего строить мосты?!

— Хотя бы из домов, — не раздумывая сказал Федор Ксенофонтович. — Вон сколько дерева!

— Вчера мне местные бабы предложили разбирать их дома... Многие уже и барахло перетащили в землянки на огородах. Но дома из хлипкого материала — сваи мне нужны.

— Готовь хоть плоты и пешеходные мостики! Все сгодится!

На этом они и расстались, не предчувствуя, что это была их последняя встреча.

Вскоре «санитарка» оказалась за Днепром. И это было вовремя: в раскрытую дверь автобуса раненые видели, что над переправой появилась очередная группа «юнкерсов», выстраиваясь в карусель для бомбежки моста и зенитных батарей. Зенитчики, прикрывавшие переправу, тоже вступили в дело: в небе вокруг бомбардировщиков стали вспыхивать черные облачка разрывов снарядов.

До Дорогобужа добрались без особых препятствий. Ориентируясь по фанерным указателям-стрелкам с подписями «ППГ», что означало — «Походный полевой госпиталь», подъехали к двухэтажному кирпичному зданию. Но автобус с ранеными не пропустили даже на территорию двора — госпиталь был переполнен. Дежурный

врач, протиснувшись в автобус, опытным взглядом окинул раненых и приказал двоим своим санитарам снять носилки со старшим лейтенантом, губы которого кроваво пенились, а изо рта рвался надсадный хрип. Сопровождавшей автобус рыжеволосой санитарке — моloденькой девчонке — приказал получить в госпитальной аптеке медикаменты, бинты и следовать с автобусом вплоть до Вязьмы, свернув, однако, на север, к магистрали Минск — Москва, где дорога была получше.

Долог июльский день, особенно когда его небо без устали грозит бомбами и пулями всем обитающим на земле, охваченной военными заботами. Солнце было еще высоко, когда санитарный автобус, дымя по Минской шоссейной магистрали, приблизился к повороту на Вязьму. Здесь его остановил «медицинский маяк» — боец с красным флажком в руке. Неподалеку от этого места, в кювете, догорали останки двух грузовиков, разбомбленных несколько часов назад; воздух от этого был удушливым: пахло взрывчаткой, сгоревшей масляной краской и еще чем-то ядовито-приторным, вызывавшим тошноту и резь в глазах. Рядом у дороги группа красноармейцев сталкивала в яму убитую лошадь; двое тащили ее за ноги, а двое подваживали ломом спину. Лошадь упала в яму, заурчав утробой, и тут же на нее посыпалась земля, сбрасываемая лопатами.

Вся эта картина с догоравшими машинами и погребением убитой лошади хорошо была видна в раскрытую дверь автобуса Федору Ксенофонтовичу, и он подумал о том, что война слишком глубоко вклинилась в глубь России, везде густо посеяв тяжкую беду.

Причина остановки автобуса никому не была ясна, и раненые забеспокоились: в автобусе наступило сторожкое безмолвие. Вдруг в дверь заглянул военный, судя по петлицам, медик, лицо которого на фоне солнечного неба показалось всем черной маской.

— Генералы, старшие командиры и отяжелевшие раненые есть в машине? — строго спросил он у вышедшей из автобуса рыжеволосой санитарки.

— Есть генерал-майор, — с некоторой гордостью ответила санитарка. — Ранение у него средней степени, но уже пора на операционный стол.

— Самостоятельно выйти можете, товарищ генерал? — полуприказным, но предупредительным тоном спросил военврач третьего ранга; медик был именно в

таком звании, как потом разглядел Федор Ксенофонтович.

— Зачем? — удивился генерал Чумаков, тем не менее осторожно поднялся со своего места, стараясь не сдвинуть повязок на ранах.

— И вещички возьмите с собой, если есть, — добавил военврач.

— Зачем? — с недоумением повторил свой вопрос Чумаков, взяв полевую сумку, в которой были топографические карты, устаревшие донесения и набор бритвенных принадлежностей. Чемодан с его «вещичками» остался где-то там, за Смоленском, в одной из штабных машин.

Военврач помог Федору Ксенофонтовичу ступить с откидной ступеньки автобуса на землю и сказал:

— Тут недалеко посадочная площадка. У нас в санитарном самолете есть свободные места... Не лететь же нам в Москву налегке...

Словно пламя полыхнуло в груди Федора Ксенофонтовича — радость тугой волной ударила в сердце, опалила лицо, и он на мгновение стремительной мыслью уже оказался в Москве, на 2-й Извозной улице, в квартире покойного Нила Игнатовича, увидел устремившиеся к нему для объятий руки жены Оли, ее сверкающие счастьем и любовью глаза, а рядом — милая Иришенька, дорогая и единственная дочь.

В это время мимо проходила на запад какая-то автоколонна: впереди промчались два грузовика с бойцами и с закрепленными в кузовах счетверенными пулеметными установками, затем — автомобиль-фургон, по всей видимости — радиостанция, несколько машин, в которых сидели на скамейках, соединявших борты кузовов, командиры в накинутых на плечи плащ-палатках. Замыкал колонну ЗИС-101 — легковой автомобиль, окрашенный в зеленый цвет. Он уже миновал было автобус, потом вдруг завизжал тормозами, остановился и задним ходом подъехал к «санитарке».

— Рокоссовский! — удивился неожиданной встрече Федор Ксенофонтович, когда дверца машины открылась и на щербатый асфальт дороги шагнул высокий и стройный генерал-майор в полевой форме. — Константин Константинович! Ты ли это?!

Рокоссовский заулыбался знакомой смущенной улыбкой, всегда молодившей его и без того молодое, красивое лицо, глядя голубыми глазами чуть из-подо лба, и

надвинулся на Чумакова всей своей высокой стройной фигурой, расставив для объятий руки. Пока приближался, Федор Ксенофонтович уловил мелькнувшую в глазах Константина Константиновича тревогу, которая как бы сузила на его губах улыбку: значит, пригляделся, сколь много бинтов намотано на его, Чумакова, плече и шее.

Осторожно обнялись, осторожно пожали друг другу руки.

— А как же наша недоигранная партия на бильярде? — Рокоссовский указал на перебинтованное плечо Чумакова. — Помнишь, в прошлом году в Сочи не доиграли?

— Доиграем, когда немца прогоним, — не без горечи в голосе ответил Чумаков. — А ты загорел, будто не из Москвы едешь.

— В Москве был транзитом — в Генштабе получил новое назначение.

— Уже успел повоевать?!

— Да, на Юго-Западном... Меня, потомственного кавалериста, перед самой войной перекантовали там на 9-й механизированный корпус.

— Мы с тобой как под копирку отлаженные: и я мотмехом командовал. Воевал от границы до Смоленска, пока косая чуток не коготнула.

— Ну тогда считай, что я на твое место назначен. — Рокоссовский посерьезнел, от чего на его лицо будто надвинулась тень. — Приказано сколотить армию и остановить немцев на ярцевском направлении.

— Из чего сколотить?

— Из тех дивизий, которые там держат Гудериана, и из всего, что будет появляться вокруг.

— Сложная задача... — с сомнением сказал Чумаков, а затем с убежденностью добавил: — Да и сдержать немцев — это полдела. Надо отбросить их, а то перехватят горловину между Ярцевом и Ельней... На переправах через Днепр — у Соловьева и Радчина — уже сейчас светопреставление.

Рокоссовский встревоженно посмотрел вдоль шоссе, вслед скрывшимся из виду своим машинам, и произнес:

— Ладно, на месте буду разбираться. Скажи в двух словах: какой главный опыт вынес из боев?

Чумаков оглянулся на почтительно топтавшегося в стороне военврача, заметил его нетерпение и, обеспокоенный, торопливо заговорил, как заученный урок перед учителем:

— Непрерывная разведка врага... Обеспечение флангов армий и стыков между соединениями... Максимум сил для противотанковой обороны и обязательное наличие хоть каких-нибудь артиллерийско-противотанковых резервов... Ну и связь — взаимная между армиями и дивизиями.

— Все это элементарно, — чуть разочарованно заметил Рокоссовский.

— Немцы рвут танками и бомбами эту элементарность! — Чумаков чуть возвысил голос, почувствовав, что его коллега ожидал от него каких-то новых формул военного противоборства. — Создают массированные кулаки в неожиданных местах и устремляются в оперативную глубину. Это тоже будто элементарно, но пока переигрывают нас! Надо нам иметь подвижные резервы для маневра...

— Товарищ генерал, — несмело напомнил о себе военврач третьего ранга, — самолет может не дождаться... — И указал на грузовик с откидным задним бортом и опущенной к земле железной стремянкой. В кузове грузовика (он стоял в тени старой ветлы) лежали на сене несколько раненых; белые повязки на них словно подтолкнули Чумакова:

— Ну, счастья тебе, Константин Константинович!

— Выздоравливай. — Рокоссовский пожал Чумакову руку, а потом вдруг, прищурив глаза, сказал: — Да, забыл... Там, в штабе фронта, я слышал, что тебе приписывают самовольный взрыв смоленских мостов. Это верно?

— Верно... Попал мне в руки немецкий документ, в котором предусматривался захват мостов в целости. И если бы мы их не взорвали, немцы уже вышли б в тылы всего нашего фронта.

На этом они расстались. Федор Ксенофонтович тяжело поднялся по стремянке в кузов грузовика, чувствуя, как в его сердце родился от последних слов Рокоссовского тревожный холодок.

17

Закономерности человеческих чувств и страстей не всегда просты. Их изначальность, логика проявления и возрастания подчас не поддаются самым надежным жерновам рассудка. Сила болезненного воображения,

энергия сомнений нередко ослепляют человека, туманят его разум и заполняют сердце таким гнетущим мраком, что человеку не хочется жить.

В подобном душевном состоянии пребывал в эти дни генерал-майор Чумаков. С наболевшей и потрясенной душой он наконец оказался в подмосковном госпитале Архангельское, где ему сделали операцию, удалив осколок из плеча и зашив небольшую, но опасную рваную рану на шее.

Архангельское — это целый усадебный комплекс прекрасных зданий, построенных в стиле классицизма, среди парка, окаймленного с юга старицей Москвы-реки и искусственными прудами. В древнюю старину усадьба эта принадлежала князьям Голицыным, потом — другим родовитым дворянам и, наконец, князьям Юсуповым, а после Октябрьской революции стала вместе со своими памятниками, редкими коллекциями картин, скульптур, книг заповедным, доступным для народа местом.

Военный госпиталь располагался в двух корпусах дома отдыха начсостава РККА, построенных незадолго до войны на месте бывших юсуповских оранжерей, недалеко от старинного архитектурного ансамбля. Федор Ксенофонтович лежал в первом корпусе, в обыкновенной санаторной палате: кресла, ковры, буфет с набором посуды, тумбочки с настольными лампами у кроватей. Если бы не заклеенные бумажными полосами стекла окон да не черные для светомаскировки шторы вместо портьер, то можно было вполне вообразить, что ты находишься не в госпитальной палате, а в санаторном полулюксе, где одну из двух кроватей перенесли из спальной комнаты в гостиную. Именно в гостиной и стояла кровать генерала Чумакова — этому он был рад, ибо сбоку дышало сухим июльским теплом или душистой свежестью распахнутое окно, за которым уже с утра слышался гомон выздоравливающего, восседающего в шезлонгах или на парковых скамейках военного люда, а на тумбочке у его кровати не умолкала радиоточка — репродуктор, включенный на самую малую громкость, ибо сосед по палате, лежавший в спальне, не выносил шума, не хотел слушать сообщений Совинформбюро, будучи убежденным, что война с немцами уже проиграна и все вокруг делается только для того и так, чтобы обмануть лично его, полковника Бочкина, прошедшего с отступающими частями Красной Армии от Белостока до Моги-

лева и досконально знающего, что, где и как произошло, то есть почему фашистам якобы удалось победить. Часто он кричал в беспамятстве, грозился, что если выживет и оправится от контузии, то непременно пойдет в Кремль и расскажет там все без утайки, потребует наказания виновных.

Такое соседство угнетало Федора Ксенофонтовича, и в то же время ему было жалко тяжело раненного полковника Бочкина, перенесшего, как и он, Чумаков, не одно потрясение. К тому же Бочкин ударом взрывной волны был тяжело контужен и потерял, кажется, здравомыслие. Да и у самого генерала Чумакова творилось на душе такое, что страшно было туда заглянуть. Его больше всего волновала сейчас близость Москвы и возможность дать знать о себе жене и дочери. Мысленно он уже десятки раз преодолевал расстояние от Архангельского до 2-й Извозной улицы в Москве, помня дорогу по довоенному времени. Однажды зимой он приезжал в Архангельское с Ольгой и с друзьями смотреть коллекцию картин, собранных князем Николаем Юсуповым. Но ни номера дома и квартиры покойных Романовых, ни номера телефона не помнил. Впрочем, одна милая девушка — полноватенькая и мордастенькая санитарка Маша — откуда-то дозвонилась до справочного бюро телефонной станции, и там ей назвали номер телефона квартиры Романова Нила Игнатовича, но сколько Маша ни звонила по этому номеру, квартира безмолвствовала.

И теперь каждую ночь во сне Федор Ксенофонтович ходил по Москве, искал 2-ю Извозную улицу, узнавал знакомые и часто совсем незнакомые — чему поражался даже во сне — места. Выходил и к Киевскому вокзалу, близ которого начиналась 2-я Извозная, но желанной цели не достигал и просыпался с тяжелым камнем на сердце, измученный до полусмерти физически и нравственно.

«Полковник Микофин! — молнией сверкнуло однажды в его памяти. — Сеня Микофин — друг и соратник по военной академии! Может, он не на фронте, а попрежнему в Главном управлении кадров РККА?!» И тут же с санитаркой Машей послал комиссару госпиталя записку с просьбой дозвониться до Микофина и сообщить ему, что он, генерал Чумаков, находится на излечении в Архангельском.

Микофин оказался в Москве и незамедлительно от-

кликнулся. Однако, прежде чем приехать в Архангельское, Семен Филонович попытался выяснить, где находится семья Чумакова. Но даже для него, кадровика, загадка эта оказалась неразрешимой... Призывной пункт в школе на 2-й Извозной улице, как филиал военкомата Киевского района, свернул свою работу. В военкомате же ни в каких списках призванных в военные госпитали Чумаковы не значились. Тогда Микофин с последней надеждой поехал на квартиру покойного профессора Романова...

На черной дерматиновой обивке дверей квартиры увидел меловую надпись: «Папа, мы с мамой уехали на окопные работы под Можайск. Точный адрес пришлем домой, и он будет лежать в почтовом ящике до победы. Ключи спроси у соседей напротив... Целуем тебя крепко!.. Мама и я — Ира».

Но что это? Дверь оказалась чуть приоткрытой. Микофин толкнул ее, и она легко распахнулась: замки были взломаны, а квартира, видимо, ограблена. Он дважды бывал когда-то здесь, у профессора Романова, и, войдя в прихожую, тут же направился в кабинет, служивший и столовой. Увидел, что из резного буфета выдвинуты ящики — украли серебро, остановил взгляд на маленьком железном сейфе, стоявшем в углу на тумбочке, под ветвями старого фикуса, росшего в дубовой кадке; дверца сейфа была распахнута, а у тумбочки, на полу, валялась перевернутая шкатулка черного дерева и лежала толстая тетрадь в сафьяновом переплете. Микофин поднял тетрадь и положил на письменный стол. Затем сходил на кухню, принес большую кастрюлю воды и полил фикус. Потом сел за стол к телефону и начал звонить в милицию... Взгляд его споткнулся о старую надпись, сделанную на листке откидного календаря: «Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатьевичем». А внизу — номер телефона, по которому можно было позвонить в приемную Сталина...

В милиции отказались принимать телефонное заявление об ограблении квартиры, в которой никто не живет. Требовали письменного.

Все это рассказывал полковник Микофин Федору Ксенофонтовичу, приехав в Архангельское в конце второго дня, когда ему позвонил комиссар госпиталя. Друзья, казалось, не узнавали друг друга, столь разительно изменились они после того, как расстались в самый ка-

нун войны. А изменились они, может, не столько лицами своими, сколько тем, что как-то по-особому смотрели друг на друга и по-иному взвешивали услышанное друг от друга. Впрочем, Семен Микофин заметно изменился и внешне: лицо его запало, истончилось, прежде яркий белок глаз стал желтоватым и мутным, отчего они казались больными или выражали крайнюю измотанность. Да и Чумаков будто усох, а исхудавшее лицо с марлевой наклейкой на левой скуле стало выглядеть моложе.

— Ну а в почтовый ящик забыл посмотреть? — спросил Чумаков о том, что его больше всего беспокоило.

— Пустой ящик... — ответил Микофин и продолжал рассказ. В квартирном чулане он разыскал сундучок с инструментами и всякими железячками. Нашел там большой навесной замок со связкой ключей, забил в дверь и в косяк по узкой скобе и закрыл квартиру на замок. — Два ключа отдал соседям, а тебе вот третий. — И положил кургузый ключ на тумбочку, где уже лежала и тетрадь в сафьяновом переплете. — А на дверях мелом написал: «Замок не взламывать, квартира уже ограблена». Для твоих же, если вернутся, тоже надпись: о том, где ты сейчас пребываешь.

— Спасибо, Семен Филонович. — Чумаков, окинув друга благодарным взглядом, взял с тумбочки тетрадь. — И за этот свод мудростей спасибо. Здесь — душа нашего незабвенного Нила Игнатьевича, его видение мира и понимание законов жизни.

Наугад открыв тетрадь, Федор Ксенофонтович прочитал, растягивая слова:

— «Наиболее богато то государство, которое менее других расходуется на свои институты управления...»

— Если это истина, то мы должны быть самыми богатыми, — с откровенной горечью сказал Микофин.

— Ты что имеешь в виду?! — удивился Чумаков этой горечи.

— Наш государственный аппарат трудится сейчас почти круглосуточно. Наркомы ночуют в своих кабинетах. Я уже не говорю о генштабистах — они на казарменном положении... У меня, например, с началом войны прибавилось работы раз в десять, надо бы соответственно увеличить число сотрудников отдела... Ан нет! Справляйтесь. И так везде.

— Что же ты предлагаешь?

— Ничего не предлагаю. Но мы ведь не железные.

— А многие, кто воюет, были бы счастливы поменяться с тобой местами. Например, Рукатов.

Микофин уловил в словах Федора Ксенофонтовича открытый упрек себе, хотел обидеться, но упоминание о Рукатове отвлекло его.

— Видел там Рукатова?.. Ну как он?

— Никак... Скорпионит, как и раньше.

— Что это значит?

— Не будем на ночь глядя говорить о плохом человеке. Ты лучше объясни мне: почему Ольга и Ирина поехали на окопные работы? Ты же говоришь — в госпиталь намеревались.

— Сам не пойму. Ведь копальщицы из них аховые.

— Конечно, — согласился Чумаков, вздохнув. — Сроду лопат в руках не держали.

— Может, от отчаяния? Ты ведь в курсе? — Микофин вопросительно и тревожно посмотрел на друга. — В Москве кто-то пустил слух, что ты попал к немцам в плен.

— Вот это да-а!.. — со стоном произнес Федор Ксенофонтович. — Какая же сволочь могла решиться на такую страшную ложь?!

— Рукатов говорил, что кто-то из командиров или генералов, вышедших из окружения, видел, как ты сдавался.

— Сдавался даже?! Сам?! — В ярости Федор Ксенофонтович рванулся с постели и тут же, подкошенный болью в ранах, упал на подушку. — Сдавался?

— Успокойся, Федор... Все уже знают, что это подлый навет или чудовищное недоразумение. Известно, что ты воевал как надо... Успокойся, — Микофин погладил его руку, вымученно улыбнулся и виновато посмотрел на наручные часы. А потом вдруг спохватился и взялся за свой раздутый портфель, стоявший на полу у тумбочки: — Да, я и забыл! Склеротик несчастный!.. Надо же вспрыснуть нашу встречу! — Он достал из портфеля и поставил на тумбочку бутылку коньяку. Затем стал выкладывать закуски: несколько плиток шоколада, бутерброды с ветчиной, пакеты с яблоками, печеньем и грецкими орехами. — Понимаешь, взял, что было у нас в буфете.

— Давно не пробовал, — тускло сказал Федор Ксенофонтович, беря стакан, наполовину наполненный

коньяком. Потом, возвысив голос, обратился к соседу по палате: — Полковник Бочкин, выпить хочешь?!

Бочкин не откликнулся...

Когда Микофин распрощался и покинул палату, Федор Ксенофонтович почувствовал, что ему тяжело дышать, не хочется жить, ощущать себя и давать волю мыслям. Такая смертная тоска навалилась на него, что впору по-волчьи завыть... Он представил себе Ольгу и Ирину в момент, когда они услышали весть о том, что он якобы сдался немцам в плен... Какую же страшную муку испытали эти самые близкие ему на свете и дорогие люди! Какую бездну душевных страданий, шторм мыслей и сомнений! Конечно же, Ольга ни за что не могла поверить такому вздору, что сам сдался... А если убедили ее подло-притворные доброхоты?.. Тот же Рукатов?.. Но зачем? Что он, Федор Чумаков, кому плохого сделал?.. Может, какое-то трагическое недоразумение?.. А если вдруг поверила Ольга, значит, прокляла его, разлюбила, раскрепостилась от его любви. При ее же красоте и при загадочной привлекательности ее упрямого характера недолго останется она без чьего-то мужского внимания... Нет-нет, это все противоестественно... Тогда ни во что святое нельзя верить... Даже одна мысль, что Ольга и Ирина испытывают муки, не зная правды о его судьбе, чудовищно давила на сердце, помрачала рассудок...

Но как же тогда понимать Иринину надпись на дверях квартиры? Когда она сделана? До лживой вести о его сдаче в плен или после нее?.. И откуда Ирина могла знать, что он может появиться в Москве? Ведь Федор Ксенофонтович и сам этого не предполагал... Как же разобраться в столь запутанном клубке обстоятельств, неясностей, сомнений, предчувствий, подозрений?.. И ищущая мысль, как за спасением, часто кидалась в прошлое.

Оно, прошлое, уже не существовало самостоятельно. Оно виделось сквозь сегодняшний день, сквозь его, Федора Ксенофонтовича, душевное смятение: многое из прошлого казалось маленьким до мизерности, будто смотрел на него в бинокль с обратной стороны...

Однажды они поссорились с Ольгой из-за того, что Федор Ксенофонтович приобрел путевки на курорт в Крым, а не на Кавказ, как ей этого хотелось. Боже, какая поднялась в доме буря!.. А потом по пути в Крым он в Харькове по оплошности отстал от поезда — в пижа-

ме, без копейки денег. А Ольге почему-то подумалось, что назло ей отстал... Ох и характер у женушки!.. Сейчас смешно вспоминать обо всем...

Сложно складывалась судьба трудового народа, взявшего в свои руки власть всего менее двух десятилетий назад, — понимание этого помогало тогда жить генералу Чумакову. Солнце разума рассеивало мрак, высветливало самые укромные уголки его души, куда прямой луч не попадал. И тогда он, зашедший в своих сомнениях даже слишком далеко, спохватывался, усмирял свои чувства, навеянные чаще всего событиями дня и неумением вовремя оглянуться туда, где те события брали начало.

Ведь в самом деле, нельзя было забывать, что с победой Великой Октябрьской социалистической революции, с низложением Временного правительства России и переходом государственной власти в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов рухнула власть буржуазии и помещиков. В созданном Советском государстве стал диктовать свою волю пролетариат. Раскрепощенный народ зашагал по новым, неизведанным путям, горячо уверовав в законы общественного бытия, открытые Марксом и Энгельсом. Ленин сумел в эпоху империализма на всю глубину всмотреться в классовые сдвиги общества и обогатить марксистское учение о социалистической революции, решил вопрос о союзниках пролетариата... Партия большевиков как бы проводила тогда пальпацию народных чувств. Новая верховная власть, исходя из интересов народа, издала целый ряд декретов, согласно которым вслед за национализацией земли, ставшей всенародной собственностью, национализировались торговый флот, внешняя торговля, частные железные дороги, вся крупная промышленность.

Сие означало, что силы буржуазии, помещиков, реакционного чиновничества и контрреволюционных партий были в корне подорваны, была сломлена экономическая мощь свергнутых эксплуататорских классов...

Все ясно как дважды два, свято и нравственно, ибо основано на законах справедливости... Да, но ведь нравственность — естественная форма человеческой воли и выражение духовных канонов личности. А сколько же тысяч и тысяч человеческих личностей, составлявших собой разрушенное пролетариатом буржуазное общество, у которых были отняты земли, банки, железные дороги, промышленные предприятия, имения, подобные Архан-

гельскому, где он сейчас лечится, расплескалось, словно вешние воды, по необъятным просторам континентов земного шара! Огромное же большинство их осталось в границах бывшей Российской империи. Затаилось. Прижилось. Выжидало, надеясь на возврат старых порядков. Многие, исходя из своего понятия нравственности, способствовали тому, чтобы воскрес старый мир, потихоньку «подсыпая песок» в оси, на которых вращались колеса движущегося по путям развития молодого социалистического государства. Иначе и быть не могло: они тоже личности, но со своими духовными канонами, со своим пониманием справедливости и нравственности.

Федор Ксенофонтович предполагал, что были такие и в армейской среде, были на руководящих постах в партии, в следственно-судебных органах и органах государственной безопасности, на командных постах, в народном хозяйстве — везде. Ведь у них были образованность, опыт, которых так не хватало рабочему классу и крестьянству, еще только рождавшим свою кровную советскую интеллигенцию. И было также не исключено, что зерна раздора между отдельными военными величинами прорастали со времен гражданской войны, а между партийными деятелями — с еще более отдаленных времен, когда в партии большевиков вырабатывались положения о диктатуре пролетариата и о переходе от буржуазной революции к социалистической.

Враги намеренно неистовствовали в усердии разоблачений, опираясь на негодяев, карьеристов, завистников, людей типа Рукатова. Случались и сведения партийных и иных счетов, отчего весы правосудия, попав в руки недостойных или заблуждавшихся, начали давать сбой. Тяжкая беда постигла многих невиновных, беря, однако, начало в виновности виноватых.

Пусть с запозданием, но опомнились. Начали разбираться и исправлять ошибки. Но сколько изломанных человеческих судеб! В души многих посеяны черные семена страха, неверия и ненависти...

Нет, это далеко не случайные мысли, приходившие в голову генералу Чумакову на госпитальной койке, много испытавшему и израненному в боях с фашистами. Федор Ксенофонтович убежден, что подобные непростые вопросы рождаются сейчас не у него одного. Рождаются потому, что стало ясно: немецко-фашистские войска на всех главных направлениях советско-германского фронта добились значительных стратегиче-

ских успехов. Над Советским государством нависла смертельно опасная угроза. Это тот самый критический момент, когда могут дать знать о себе внутренние враги Советской власти, если они притаились среди народа.

Почему же он, генерал Чумаков, в своих воспаленных мыслях сплетает сейчас воедино прошлое и сегодняшнее, свои личные, семейные боли с тревогами, вызываемыми событиями на фронте? Почему вся отшумевшая и нынешняя жизнь смешалась в общую тяжесть, так невыносимо давящую на сердце? Ему казалось, что за ним тащится целый эшелон мыслей и сомнений и каждый вагон этого эшелона катится по путям, проложенным его, Чумакова, воображением, без сцепления друг с другом. В любую минуту эшелон мог свалиться под откос или вагоны могли наскочить на путевые стрелки, которые разведут их в разные стороны...

Когда Федор Ксенофонтович терял нить своих размышлений, он возвращался к их изначальности, чтобы все-таки отыскать главную причину охвативших его тревог... Тревоги ли? А может, подсознательный испуг сердца? Генерал Чумаков замечал за собой такое: случалось, что испуг приходил от ощущения опасности, от понимания ее реальности и неотвратимости. А бывало, что мысль еще не постигла источника опасности, а сердце уже испугалось. Нет, не из робкого десятка был Федор Ксенофонтович — просто ему было присуще все человеческое; разве что увереннее других управлял он своими чувствами и умел определять, где находятся его мысли — у подножия постижения истины или уже на вершине. Когда оказывался на вершине, то, естественно, проницательнее видел с нее пути, куда дальше устремлять ищущую мысль и направлять действо.

И вдруг озарило: эта его очередная тревога начала зарождаться еще под Вязьмой, когда генерал Рокоссовский, прощаясь с ним, сказал: «...Я там, в штабе фронта, слышал, что тебе приписывают самовольный взрыв смоленских мостов...» Слово «приписывают» уже звучало зловеще и несло в себе опасность, тем более что он действительно советовал начальнику Смоленского гарнизона полковнику Малышеву немедленно взорвать мосты, заверив полковника, что он, генерал Чумаков, готов вместе с ним нести за это ответственность, если о таковой встанет вопрос. И сейчас Федор Ксенофонтович уже был убежден, что вопрос встал и Малышев держит ответ. А тут еще распущенный Рукатовым слух, что

кто-то из наших военных видел, как он, генерал Чумаков, якобы сдавался фашистам в плен...

Но это лишь начало тревог — могуче пульсирующий родник мыслей, упрямо растекающихся по двум направлениям. Во-первых, Чумакову казалось, что он без труда отметет чьи-то злонамеренные измышления о его сдаче в плен... Вздор есть вздор. Во-вторых, Федор Ксенофонтович был также убежден, что сумеет кому угодно доказать безусловную необходимость взрыва мостов через Днепр в черте Смоленска в ночь на 16 июля, когда противнику удалось захватить южную часть города...

Хотя, впрочем, есть тут над чем и призадуматься. Сейчас такое адское время, что нетрудно спутать виновного с невиновным. Ведь обновленный в первых числах июля Военный совет Западного фронта нашел возможным предать суду военного трибунала не только бывшего командующего генерала армии Павлова и бывшего начальника штаба генерал-майора Климовских, но и целую группу подчиненных им должностных лиц в высоких званиях. Они-то небось тоже не лыком шиты, умеют мыслить, знают законы и в состоянии доказать свою невиновность, вытекающую хотя бы из своей подчиненности командующему и начальнику штаба... Но вдруг виновны?.. Вдруг есть обстоятельства, которые ему, генералу Чумакову, неизвестны?..

И тут еще одна мысль холодной саблей полоснула по сердцу: не усмотрело бы высшее руководство, что все случившееся на Западном фронте явилось следствием усилий своего рода «пятой колонны»! Но ведь это абсурд!.. И да и нет. Федор Ксенофонтович хорошо знал отданных под суд генералов Павлова, Климовских, Клыча, Григорьева, Коробкова и о каждом мог сказать, как и о самом себе: «Умрет, но не изменит Родине...» Но все-таки случилось то, что случилось: армии Западного фронта в первые же дни войны оказались без надлежащего управления, понесли огромные потери, оставили врагу склады, базы и уступили ему обширную территорию. Значит, кто-то должен нести ответственность за случившееся, тем более что на смежном, Юго-Западном фронте встретили врага более организованно. Значит, генерал Чумаков, не зарекайся, что и за тобой нет никакой вины...

Но не ответственности, пусть за мнимую вину, боялся Федор Ксенофонтович. Боялся, что в столь запутан-

ной ситуации его слово не будет услышано. А сказать ему было о чем, сказать кому угодно — маршалу Шапошникову, начальнику Генштаба Жукову или даже самому Сталину. Мнилось генералу Чумакову и другое: он, побывав в пекле приграничных боев и чудом вырвавшись из-под Смоленска, постиг нечто весьма важное, конкретное о противнике и действиях своих войск; уже немало об этом размышляя, болея душой из-за того, что многое из очевидного так и останется на фронтовых рубежах противоборства очевидным, но пока неизменным. Наши войска в обороне и в наступлении выстраивают свои боевые порядки так, как этого требуют Боевой и Полевой уставы Красной Армии, хотя иные из этих требований источил червь времени. При нынешнем оснащении воюющих сторон автоматическим оружием нельзя значительную часть этого оружия держать в глубине поэшелонного построения боевых порядков бездейственным. Вооружению надо открыть простор для одновременного и массированного поражения противника. Нужно менять тактику ведения боя от взвода до дивизии включительно, надо также пересмотреть обязанности и место в бою командира...

Да, но до этого ли сейчас Генеральному штабу? Можно ли при развернувшихся событиях что-нибудь предпринимать, если в них нечто от известной пословицы: «Коня на скаку не меняют». А тут речь идет о целых армиях и фронтах, состоящих из миллионов людей...

Федору Ксенофонтовичу вдруг вспомнился его академический учитель, профессор военной истории Романов Нил Игнатьевич. Однажды он говорил, что ему хорошо думалось в постели, когда глядел в потолок. Распалявшаяся от беспокойных мыслей фантазия профессора рисовала на потолке целые материки и когда-то гремевшие на них битвы...

Федор Ксенофонтович устремил свой взгляд в высокий потолок госпитальной палаты, переметнулся мыслью туда, где сейчас велись тяжкие бои, и потолок над ним начал оживать, словно полотно киноэкрана, на который спроецировали заснятые на кинопленку кадры. Ощущая в себе внезапно вспыхнувшую духовную мощь, он будто из поднебесья увидел автодорожную магистраль между Смоленском и Москвой, на которой каменными наростами бугрились Ярцево, Вязьма, Можайск... По обе стороны магистрали раскинулись необъятные пространства с лесами, перелесками, речками и речушками, го-

родишками и деревнями. Такая сила избирательного воображения может появляться только у истинно военного человека, который много времени провел над топографическими картами и привык видеть на них не условные обозначения, а живые просторы земли, охваченные войной, со всем тем, что на этой земле обитало и происходило. Сейчас Федор Ксенофонтович пытался мысленно разглядеть где-то юго-западнее Смоленска остатки полков своей войсковой группы, силясь представить ее положение... Но тут фантазия его была бессильной, порабощенная той прискорбной явью, что вражеские моторизованные силы захватили южную часть Смоленска, ее окрестности... и, естественно, рассекли группу на части... Тут же взгляд невольно скользнул через голубую жилку Днепра, туда, где продолжали бои 16-я армия генерала Лукина, 20-я армия генерала Курочкина и 19-я — генерала Конева, имевшие противника почти со всех сторон. На северо-востоке от Смоленска дымилось в пожарищах Ярцево, захваченное немцами, прорвавшимися с севера со стороны Демидова и Духовщины. Пылала Ельня, в которую 19 июля ворвались фашисты с юго-запада, а сейчас, видимо, рвутся оттуда на север для соединения со своей ярцевской группировкой войск. В случае их соединения рухнут соловьевская и радчинская переправы через Днепр и захлопнется капкан, в котором окажутся армии Лукина, Курочкина, Конева и остатки его, Чумакова, войсковой группы...

От понимания неизбежности того, что открылось перед его бескомпромиссным воображением, от трагического озарения он ощутил, как запылали огнем виски, а в груди будто столкнулись ледяные глыбы, подмяв сердце.

Федор Ксенофонтович не знал, что предпринимало в эти дни высшее командование Красной Армии, какие вводило в бой резервы и какими новыми силами заслоняло направления, по которым немецко-фашистские войска могли устремиться к Вязьме, а затем к Москве. Но когда в санитарном самолете он летел из Вязьмы и напряженно всматривался с небольшой высоты в недалекую серую ленту автомагистрали Минск — Москва, надеясь там увидеть колонны войск, движущихся к фронту, то в районе Можайска, Кубинки и еще где-то поближе к Москве разглядел неохватные взглядом строившиеся оборонительные рубежи, с немалой поэше-

лонной глубиной каждый. Войска же шли к фронту, но жидко, видимо, маскируясь днем от авиации противника.

Федор Ксенофонтович не мог понять, на что опиралось его чувство, подсказывавшее разуму: пространства в квадрате Смоленск, Рославль, Вязьма, Калуга слабо прикрыты нашими войсками, а это позволяло моторизованным соединениям врага предпринимать охватывающие маневры. И он мысленно увидел синие стрелы, нацелившиеся острыми наконечниками из района Рославля на Юхнов, Калугу, Медынь, а из района Духовщины — на Вязьму, Гжатск...

Трудно постигнуть, по каким законам разум влечет за собой колесницу воображения. Видимо, есть такие законы; они опираются на подсознательные задачи, к решению которых направлены духовные усилия человека. Не потому ли генерал Чумаков неожиданно для себя перенесся мыслью в другую войну — 1812 года — и увидел в притушенности света и красок то давнее Вяземское сражение... В конце октября 1812 года арьергардным войскам французской армии, отступавшей к Смоленску по Старой Смоленской дороге, был по велению Кутузова навязан бой авангардом русских войск под командованием генерала Милорадовича... Вот они, боевые порядки французов, зажатые с двух сторон в районе деревень Федоровское и Горовитка. А русские войска делали свое дело согласно приказу Кутузова, гласившему: «...следовать по большой дороге за неприятелем и теснить его сколько можно более, стремиться выиграть марш над неприятелем путем параллельного преследования...» Французы, обладая большим преимуществом в количестве войск, отошли под шквальным фланговым огнем к Вязьме, но и оттуда были выбиты. Потеряв более восьми тысяч убитыми, ранеными и пленными, они начали отступать на Дорогобуж...

Но тогда властвовало другое время, когда, будь у какой-либо армии только один станковый пулемет или один танк, он решил бы исход войны в пользу этой армии. Однако почему же мысль генерала Чумакова переметнулась в прошлое столетие?.. Видимо, для того, чтоб вернуться в сегодняшний день с другой стороны. Да, именно так. Федору Ксенофонтовичу впервые подумалось, что если немцы нацелят свои главные ударные силы вдоль магистрали Минск — Москва и создадут на флангах вспомогательные подвижные группировки, обес-

печив широкоохватные действия своих войск таранными артиллерийскими ударами и массированной поддержкой авиации, то... части Красной Армии могут быть расчленены, и, кто знает, найдется ли тогда чем прикрыть Москву?..

Несколько глушила тревогу надежда на то, что не его одного, генерала Чумакова, посетило подобное озарение. Наверняка не только он один видит, что над Москвой занесен меч, под удар которого надо успеть подставить прочный щит, а затем вышибить меч из рук немецко-фашистского командования...

Рядом на тумбочке зашипел репродуктор, и тут же зазвучал голос диктора. Чумаков осторожно повернулся на бок, чтобы лучше слушать последние известия, ощутив боль в ранах, даже в челюстях, под марлевой наклейкой.

Передача последних известий началась с сообщения о том, что получен ответ от правительства Великобритании на послание Советского правительства об открытии второго фронта против гитлеровской Германии. Правительство Великобритании пока отклоняло предложение Советского правительства, ссылаясь на неподготовленность войск союзников [1].

И больше уже ничего не слышал Федор Ксенофонтович из того, что передавалось по радио, размышляя о не столь уж загадочной политике союзников. Они, по всей вероятности, исходили из главного и заветного для них: желали обескровить Германию руками Советского Союза, а Советский Союз ослабить настолько, чтобы он никогда не поднялся до уровня могущественной державы. Не иначе... Но что скажут правители Англии и США своим народам, бездействуя в столь драматичном для Советского Союза положении?..

И тут в уме Федора Ксенофонтовича стал разгораться другой вопрос — неожиданный и таящий в себе, как он чувствовал, какое-то важное значение: «А как бы повели себя Англия и США, если б Красная Армия сумела сдержать фашистских агрессоров на границе и не пустила бы их ни на шаг в глубь советской территории?..»

Перед этим вопросом генерал Чумаков ощутил бес-

---

[1] Речь идет об ответе Черчилля Сталину от 18 июля 1941 года, в котором Великобритания отказалась открывать второй фронт на севере Франции и на севере Норвегии. *(Прим. авт.)*

силие. Мысли его, проносившиеся в голове, не могли воспарить, остынуть и на чем-то остановиться. Где-то под сознанием таилась мысль, что при такой ситуации союзники все-таки приняли б меры для упразднения Германии как могучей державы, претендовавшей на мировое господство. Но когда и как это случилось бы? И как потом повели бы они себя по отношению к Советскому Союзу?

Да, мысль человеческая имеет свойство вызывать боль, приходящую из сердца, и имеет свойство живого серебра, которое способно неудержимо растекаться по любой наклонной. Именно движение мысли и боль в груди ощутил сейчас генерал Чумаков, пытаясь удержать в памяти главную сущность того, что забрезжило в его воображении, но пока не обрело зримой формы, которую можно облечь в точные слова и понятия... Еще, еще усилие разума, и он, поставив перед собой новый вопрос, вдруг отыскал ответ на него, который сделал обжегший душу первый вопрос малозначащим. Вот он, новый и немаловажный: «А как бы повели себя Англия и Америка, если б Красная Армия, сдержав натиск гитлеровской агрессии, сама перешла в контрнаступление и оказалась на территории Западной и Юго-Западной Европы?»

Мысленно спросив себя об этом, Федор Ксенофонтович почувствовал, как холодные мурашки шевельнулись у него на спине. Даже страшная опасность, угрожавшая сейчас Москве, как-то поблекла и притупилась в его сознании перед хаосом мыслей, взвихрившихся с необузданной яростью, словно поверхность океана при ураганном ветре. Все прежние тревоги будто остались в стороне, а сейчас он увидел перед собой голую и жестокую истину. Суть ее проста до невероятности: отрази Красная Армия агрессию фашистской Германии и окажись в Европе за пределами советских границ, не исключено, что быстро сложилась бы военная коалиция многих буржуазных государств во главе с Великобританией, Германией, Францией и, возможно, США, направленная против Советского Союза.. Может, этим предположением он, генерал Чумаков, пытается объяснить отход Красной Армии так далеко в глубь советской территории, хочет оправдать наши тяжелые потери и серьезные просчеты? Нет, с его стороны это была бы обнаженная непорядочность, грубый цинизм по отношению к тем многим тысячам наших воинов, которые сло-

жили головы в приграничных боях и которые гибнут сейчас, преграждая путь алчным захватчикам. Просто он, как военный мыслитель, дал волю разным предположениям, посмотрев на события с разных сторон, понял, что в нынешней обстановке, когда союзники не знают, чья возьмет, надежды на них пока малы. Они заняли выжидательную позицию: их сейчас интересует, сколько хватит крови у советского народа...

Федор Ксенофонтович нажал кнопку звонка, влажно черневшую в эбонитовой кругляшке, и, когда в палату вошла, сверкая белизной халата, дежурная медсестра, спросил у нее:

— Не откажете мне в любезности достать немного бумаги?.. Для написания документа... Или купите тетрадь...

«Кому же я буду писать? — спросил сам у себя генерал Чумаков, когда медсестра вышла из палаты. — Надо бы оказать помощь полковнику Малышеву... Но нуждается ли он в помощи?.. А об остальном?.. Скажут еще: «госпитальный стратег»... И все-таки я должен изложить все на бумаге четко, вразумительно и доказательно».

18

В последние три дня второй декады июля пролились на охваченные войной пространства Смоленской возвышенности обильно-рясные дожди, уняв жару, очистив воздух от пыли и гари и дав свободнее вздохнуть воинству обеих противоборствующих сторон. Правда, дожди принесли гитлеровцам неудобства: затруднили действия их авиации и, расквасив грунтовые дороги, сковали передвижения вокруг южной части Смоленска и на дальних подступах к нему автоколонн с войсками, боеприпасами и горючим.

Третья декада июля началась неторопливо разгоравшимся восходом солнца. Свежесть утра вскоре сменилась духотой — неподвижной и густой от поднимавшихся с земли испарений. Казалось, война еще больше присмиреет в удушливой синеватой мгле. Но нет, видать, немецким генералам дышалось под накатами глубоких блиндажей и в подвалах Смоленска легко, и они вновь и вновь, каждый день, с рассвета и до новой зари, бросали свои войска через Днепр, чтобы овладеть северной частью древнего города и выйти на магистраль Минск — Москва. А ведь где-то до середины июля немцы воевали

строго по графику — с 8 часов утра и до 8 часов вечера, если не считать ночных вылазок их разведчиков. Сейчас же заторопились завоеватели.

Да, немцы, всегда помнившие, что на путях стратегического искусства нужны не ноги, а крылья, очень спешили. Это особенно хорошо видел по своей очередной топографической карте генерал Лукин. На нее каждый день и не единожды, штрих за штрихом, наносились месторасположения, действия и передвижения частей противника и своих частей, и она, будто панорамная картина на холсте под кистью художника, все больше оживала, обретала конкретный смысл, рассказывала понимающему глазу суть происходившего на огромных просторах, вызывая мысли, движимые все возрастающими тревогами и не покидавшими надеждами.

Прежние обозначения на карте, соединившись с последними, молчаливо свидетельствовали о том, что немцы, бросив в наступление на Смоленск с запада 3-ю танковую группу и правофланговые дивизии своей 9-й армии, а с юго-запада несколько дивизий 2-й танковой группы, намеревались окружить советские войска, оборонявшиеся на рубеже Витебск, Шклов, захватить Смоленск, Вязьму и открыть дорогу на Москву. И никуда не денешься от очевидной истины: пусть ценой больших потерь, но врагу удалось добиться серьезного успеха... Однако Смоленск все-таки стал ему костью в горле.

...То не от лучей восходящего солнца и сегодня краснела зыбь в тиховодном Днепре, делившем Смоленск на бо́льшую — южную и ме́ньшую — северную части. Генералу Лукину почему-то думалось, что кровь должна плыть по поверхности воды пленкой. Оказалось — нет: она смешивалась с водой, растворялась в ней... Сколько же надо было пролиться крови, чтобы текучая вода стала багровой, пусть даже Днепр здесь не столь широк!.. Очередная попытка одного из полков дивизии полковника Чернышева захватить ночью на противоположном берегу Днепра плацдарм не принесла успехов и на этот раз. Несколько таких неудач потерпели полки дивизии генерала Городнянского. Более того, немцы, забрасывая снарядами, минами и бомбами удерживаемый нашими войсками берег, то и дело сами форсировали Днепр и врывались в северную часть города.

Уже трижды переходили из рук в руки здесь, в За-

днепровье, вокзал и рынок, кладбище и часть аэродрома.

Малейшее продвижение немцев в глубь Заднепровья вызывало новый прилив свирепого отчаяния у защитников Смоленска, и они бросались в контратаки с такой яростью, что потом днепровские воды еще жутче взблескивали краснотой. Впрочем, то было не только отчаяние, а и естественное упорство, вызываемое пониманием: за спиной оборонявшихся находилась главная дорога на Москву. Да, именно невиданное самоотречение бросало на врага полки дивизий генерала Городнянского, полковника Чернышева и сводный рабочий отряд смоленских добровольцев. Потом включилась в борьбу за Смоленск 158-я стрелковая дивизия полковника Новожилова, ранее входившая в состав 19-й армии. Не было пока на Днепре только главных сил 46-й стрелковой дивизии генерал-майора Филатова; она тремя сводными отрядами изо всей мочи отбивалась от вражеских войск, пытавшихся ударить по 16-й армии Лукина со стороны Демидова — с тыла.

Генерал Лукин вместе со своим адъютантом носился между командно-наблюдательными пунктами командиров дивизий и лесом у совхоза Жуково, где находился штаб его армии и узел связи. Связь со штабом фронта пусть не постоянно, но была сносной...

Недавно стрекочущий буквопечатным механизмом аппарат Бодо отстучал на выползавшей из него жесткой ленте телеграмму главкома Тимошенко и члена Военного совета Булганина, адресованную командарму Лукину и члену Военного совета армии Лобачеву. В ней выражалось удовлетворение тем, что войска 16-й армии сражаются самоотверженно и не выпускают врага из Смоленска. В телеграмме также вновь требовалось овладеть южной частью города и сообщалось: «...Военный совет Западного направления представляет вас к высоким правительственным наградам, в надежде, что это поможет вам взять Смоленск».

Генералу Лукину вручили телеграмму, когда он вернулся с передовой в крайне раздраженном состоянии: опять не удалась попытка частей армии закрепиться на южном берегу Днепра; сказывались малочисленность бойцов, нехватка артиллерии и снарядов, особенно противотанковых. Михаил Федорович сгоряча продиктовал начальнику штаба полковнику Шалину резковатый ответ для передачи в штаб фронта:

«Ни угрозы предания нас суду военного трибунала, ни представления к правительственным наградам Смоленск взять не помогут. Нам нужны снаряды и пополнения дивизий живой силой...» Не сразу отреагировал Военный совет фронта на эту сердитую телеграмму. Да и что он мог сделать, если главные пути снабжения и подвоза, ведшие к 16-й и 20-й армиям, были перерезаны врагом. Но Михаил Федорович и дивизионный комиссар Лобачев, кстати, не одобривший его запальчивости, были убеждены, что такая телеграмма безответной не останется: маршал Тимошенко не любил, когда ему дерзили и когда в военно-деловые, а тем более оперативные вопросы вплетались изъяны чьего-то характера, чья-то несдержанность. Ждали ответа с этакой иронической самонадеянностью, вызванной тем, что понимали — уже ничего хуже быть не может в их осадном положении, при котором они оставались один на один со столь сильным врагом.

...На рассвете второго дня немцам удалось овладеть кладбищем в северной части города, что позволяло им бросить через Днепр в полосе захваченной территории новые силы. Узнав об этом, генерал Лукин приказал комдиву Городнянскому: «Надо вышибить врага за Днепр во что бы то ни стало. Посылаю вдоль берега, со стороны Красного Бора, свой резерв: стрелково-пулеметную роту...» Рота была собрана, как говорят, с бору по сосенке, но обладала приличной огневой мощью, имея в своем составе, кроме взвода стрелков, три расчета станковых пулеметов.

Чувствуя, что обескровленным полкам 129-й стрелковой дивизии придется нелегко, Лукин и Лобачев, охваченные тревогой, поехали на командно-наблюдательный пункт генерала Городнянского — в каменный дом, торчащий надломленным зубом среди руин на пологой улице, наискосок спускавшейся к бывшему мосту через Днепр.

...В яростном трехчасовом бою уцелевшие немцы были вытеснены с кладбища, прижаты к Днепру, а затем почти поголовно перестреляны, когда пытались перебраться на противоположный берег. Но дорогой ценой досталась эта небольшая победа и дивизии генерала Городнянского. На утопавшем в зелени и спускавшемся уклоном к дороге кладбище густо лежали трупы не только солдат-чужеземцев, одетых в мышиного цвета короткорукавную униформу, но и красноармейцев.

После боя, покинув каменное прибежище Городнянского, генерал Лукин и дивизионный комиссар Лобачев сидели на сваленной взрывом кирпичной опоре от боковой кладбищенской ограды, скорбно смотрели на жуткую картину смерти, бросая иногда взгляды вниз, к дороге, за которой в курчавившемся ожерелье кустов скрывался Днепр.

Со стороны Лукин и Лобачев напоминали изнемогших беженцев, присевших отдохнуть. Их густо запыленная одежда, измученные лица с тускло серебрившейся на висках и подбородках сединой да притухшие глаза выдавали физическую и душевную изнуренность. А вздыбившаяся рядом с ними оглобельками деревянная тачка, казалось, принадлежала им и подчеркивала их безнадежную обессиленность. Из глубокого кузовка тачки вывалились на траву, покрытую мелкой и обгоревшей кирпичной крошкой, связки книг.

Лобачев протянул руку к тачке и выдернул из ближайшей связки том в темно-синем тканевом переплете. Понюхал его, уловив тревожащий дух старины — запах источенного шашелем книжного шкафа и отсыревшей бумаги, затем с неосознанным благоговением взглянул на корешок. Это оказалась книга из известного ему двадцатидвухтомного Собрания сочинений Герцена. Антикварная редкость!.. Тяжко вздохнул, отогнав мысль о том, что недосуг сейчас окунаться чувствами в былые человеческие страсти, коль нынешних не переплывешь ни на каком чудо-корабле. Но все-таки распахнул книгу и прочитал первое, на что упал взгляд:

«Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история». Это Герцен — русский писатель, революционный демократ — цитировал немецкого поэта-публициста Гейне...

Дивизионный комиссар Лобачев внутренне содрогнулся, вдруг постигнув глубину и неохватность мысли, таившейся в словах великого немецкого поэта. И от того, что у них за спиной, в зыбкой тишине примолкнувшей войны, покоилось просторное и покатое кладбище, на котором густо теснились в зеленой куще тысячи крестов и холмиков, плит и оградок, памятников и вросших в землю каменных столбов, мысль Гейне приобрела сейчас особенную скорбную конкретность, заставив сердце ощутить тоскливую боль. Ведь правда: под всеми этими холмиками и надгробиями лежал прах людей, неког-

да бывших в свое земное существование каждый сам для себя вселенной в безмерном пространстве, жизнью со всеми ее открытыми и не открытыми тайнами. Со смертью каждого из них успокоилась и как бы потухла отдельно взятая, мыслящая, по-своему чувствующая и ощущающая планета, потускнело до непроглядной черноты зерцало, в единственном виде отражавшее все мироздание...

Сколько же сотен «планет» потухло здесь еще и сегодня с рассветом, за несколько часов боя?..

Давившие сердце тяжкие мысли взяли в полон дивизионного комиссара Лобачева... И надо же было такому случиться, что именно сюда, на этот вечно древний и вечно молодой погост, в котором под зеленым покровом вершилось таинство превращения человеческой плоти в земной прах, пришла война и густо уложила его телами людей, вышелушив из них жизнь и действительно будто потушив в каждом целую вселенную и всемирную историю...

Да, захватническая война есть стихия порабощения и уничтожения, разбуженная и направленная злой волей дурных и алчных правителей. Когда же иссякнет злая воля на земле? Когда переведутся злонамеренные правительства, ибо, как известно, войны объявляют не народы... Когда же восторжествует мудрость и люди не мимолетно станут задумываться, почему все века пребывания на земле человека, призванного в жизни созидать, отмечены бесконечными разрушительными и истребительными войнами, как столбовая дорога километровыми знаками? Не счесть причин и поводов войн, составляющих подмостки истории человечества. Но нет хуже тех военных противоборств, кои разбужены чьим-то алчно-воспаленным воображением, в котором чужие верования видятся опасными, а чужие обиталища — заманчиво-желанными.

И вот Красная Армия вынуждена отбиваться от чужеземцев, пришедших под разбойными штандартами с фашистской свастикой; они уже покорили большинство стран Европы и, вознамерившись покорить весь остальной мир, двинулись истребительной войной на Советский Союз. И все плотнее вымащивалась земля телами его сыновей... Густо на необозримые поля брани падали тела и гитлеровских солдат, свято поверивших в бредни своего фюрера об исключительности германской расы и о праве «великой» Германии на мировое

господство. Захватчикам поделом их смертная участь, размышлял с ожесточением Лобачев. Пора войны — пора лютой ненависти к врагу. Но как не зарыдать в груди сердцу, когда ты хоть на минуту сбросишь с себя панцирь оглушенности да поразмышляешь о погибших побратимах?.. Сколько же пламенной боли, ярости и недоумения вскипало в каждом из воинов, когда, до конца выполнив свой долг, расставались они с жизнью, понимая, что не успели сотворить, может, самого главного, предначертанного судьбой и выношенного в мечтах!

Война требует жертв... Скверное это изречение, пусть и является непреклонной истиной. Учитывая сию несомненность, имея при этом в виду войну справедливую, освободительную, нельзя забывать, что даже ее жертвы протестуют против войны, против убийства и напоминают человечеству, обращаясь к его рассудку, о том, что главная и вечная сущность человека, где бы он ни жил, где бы ни билось его сердце, каждым шагом своим утверждать земную красоту, памятуя, что в земном бытии не бывает попятных шагов: в прожитый день не вернешься, нельзя одновременно быть здесь и там... Понимая бесконечность жизни, человек не может не забывать о своем временном пребывании в ней, а это должно держать его поступки в согласии с вечным...

Жизнь человека и вечность!.. Что же такое вечность? Если вечность вечная, то не было у нее начала, не будет и конца? Как же осмыслить на фоне вечности судьбу одного человека? Это будто вспышка искорки в бесконечной ночи?.. А что являет собой в вечности все человечество с его прошлым и будущим, с его великими гениями и великими злодеями, с яркими талантами и убогими творителями поделок, с неутомимыми работниками-созидателями, коих великое множество, и ленивыми бездельниками?.. Эта человеческая пестрота, исчисляемая миллиардами личностей, если бы узреть ее из глубин вселенной, напомнила б караван мерцающих огоньков, неустанно бредущий куда-то сквозь мрак вечности, образуя в ней своими маршрутами загадочно-вопросительные знаки неохватных мыслью масштабов?.. И при этом никто не может ответить на вопрос, есть ли что-либо одинаковое для человека за пределами до его рождения и после его смерти... А что такое вообще несуществование? Ведь каждый из нас не раз устремлялся

мыслью к временам и событиям, проистекавшим до нашего рождения. И мы не без огорчения видим, что мир прекрасно обходился без нашего присутствия и, случись, что мы вовсе не родились бы, никто бы этого и не заметил. Но коль родились, и именно мы, а не кто-нибудь другой, значит, мы обязаны оправдать свое рождение достойной жизнью.

От таких, может, и не новых размышлений не должны уклоняться ни материалисты, ни идеалисты. Но идеалисты в своих выводах наверняка утонут в духовной мякине, а материалисты придут к догадке или обоснованному пониманию того, что вечность и время — категории разные. Если вечность беспредельна, то время имеет свои границы, связанные хотя бы с отсчетом бытия человечества, запечатленного его памятью и памятниками его деятельности на земле — материальными и духовными. Время и человек — неразрывны, ибо оно, время, есть осязаемая всеми его чувствами сама жизнь. И если при этом мы всмотримся, сколь мизерно время человека в вечности, нас охватывает печаль от того, что он, человек, из глубин веков до наших дней то и дело перекрывает реку жизни огненными порогами войн.

Сейчас же жизнь перекрыл, нарушив ее мирное течение, порог обыкновенной захватнической войны. Сейчас фашистский дух Германии, сплавившись с железом всей Европы, впитав в себя могучую взрывчатку ненависти к большевизму, высоким, гремящим огненным валом хлынул в глубь территории Советского Союза. Но не удастся гитлеровскому воинству сломить Красную Армию, чья крепость сцементирована идеями добра и социальной справедливости.

Вот какие мысли обуревали дивизионного комиссара Лобачева, когда он смотрел на древнее кладбище в северной части Смоленска, где покоилась молодеющая из глубины веков Русь и которое было покрыто сейчас телами ее сегодняшних защитников и телами немецких солдат-поработителей...

Смоленск продолжал сопротивляться и не сдавал врагу своего Заднепровья. Казалось, что обгоревшее и искалеченное каменное тело города вросло в надднепровские холмы древнерусской земли и своим высоким духом удерживало при себе наши войска, а захватчиков не пускало в направлении Москвы.

Но в ином свете подавалось ставкой Гитлера положение этой древней твердыни. Фюрер даже вступил на этот счет в полемику с Уинстоном Черчиллем, премьер-министром Англии, который в Лондоне, в палате общин, опроверг донесение немецкого командования о том, что в Смоленске якобы не осталось ни одного русского солдата. Премьер-министр даже привел сообщение советского командования, которое утверждало, что Заднепровный Смоленск находится в руках у русских и что ведутся бои в кварталах его южной части.

Генерал-лейтенант Лукин и дивизионный комиссар Лобачев узнали о вранье Гитлера здесь же, в Заднепровье, сидя на поверженной взрывом снаряда кладбищенской ограде... Мимо них пробегали два бойца-связиста — усталых, в изодранных гимнастерках и разбитых сапогах. У одного улюлюкала на спине катушка с телефонным проводом, который стелился по земле, а второй придерживал на боку облезлую, с остатками зеленой краски, деревянную коробку телефонного полевого аппарата. В десятке метров от начальства бойцы, оголив конец провода, срастили его с найденным оборванным проводом и подключили телефонный аппарат. Один из связистов тут же начал с кем-то переговариваться, проверяя исправность линии, и генерал Лукин окликнул бойцов:

— Ребятки, попробуйте вызвать «Розу» и пригласить к аппарату «тридцатку».

«Роза» — это был сегодняшний позывной командного пункта 16-й армии, а Тридцатый — начальника штаба.

Связисты подтянули провод с подключенным аппаратом прямо к генералу Лукину, и он, взяв трубку, тут же услышал сдержанный голос полковника Шалина:

— Тридцатый слушает.

— Новостей нет, Михаил Алексеевич? — спросил в трубку Лукин и будто увидел перед собой затуманенные усталостью и постоянной тревогой глаза начальника штаба.

— Полный короб, — приглушенно ответил Шалин. — Я уже звонил на КП Городнянского... Необходимо ваше присутствие на «Розе» незамедлительно.

В Лукине вдруг вспыхнуло острое чувство беспокойства: он предполагал, что маршал Тимошенко затевает

какой-то неожиданный удар по немцам. Испытывая нетерпение, спросил:

— Можешь иносказательно? Постараюсь догадаться.

— Одну вещь могу в открытую. Пусть даже немцы подслушивают. — И Шалин снисходительно засмеялся.

— Уже интересно... Говори! — повелительно сказал Лукин.

Полковник Шалин стал рассказывать о переданной из политуправления фронта радиограмме с текстом полемики между Гитлером и Черчиллем по поводу того, в чьих руках находится сейчас Смоленск.

— Немцы кричат на весь мир, — доносился голос Шалина, видимо державшего перед собой бланк с радиограммой, — что в Смоленске не осталось ни одного русского солдата. А Черчилль с трибуны палаты общин сказал, что это брехня. Тогда Гитлер и заявил по радио на всю Европу... Вот послушайте: «Я, Адольф Гитлер, оспариваю утверждение сэра Уинстона Черчилля и просил бы английского премьера запросить командующего 16-й советской армией русского генерала Лукина, в чьих руках находится Смоленск...» — Шалин умолк, пытаясь угадать реакцию Лукина на прочитанное. Но Лукин какое-то время молчал, и Шалин продолжил уже от себя: — Так что, Михаил Федорович, выбились вы в знаменитости мирового масштаба...

— А что?! — невесело, но будто с вызовом вдруг воскликнул генерал Лукин и, видя, что дивизионный комиссар Лобачев смотрит на него с вопрошающим напряжением, передал ему суть разговора с Шалиным. Затем, коротко хохотнув, приказал в телефонную трубку: — Пошлите от моего имени в Политуправление фронта радиограмму... Пусть обязательно доведут до сведения Гитлера и Черчилля, что я нахожусь в северной части Смоленска вместе со своими войсками и через Днепр даю фашистам прикурить...

— Будет исполнено, — с какой-то пасмурностью сказал на другом конце провода полковник Шалин, а затем многозначительно добавил: — Михаил Федорович, другие дела поважнее. Ждем вас немедленно и с нетерпением.

— Сейчас едем... Только перекинусь словом с Городнянским: ему будет небезынтересно узнать, что и на него в эти дни вся Европа взирает.

Командно-наблюдательный пункт 129-й стрелковой дивизии генерала Городнянского на позывные телефо-

нистов откликнулся тотчас же. Ввиду небольшого расстояния, которое разделяло территорию кладбища и полуразрушенный каменный дом в глубине кособоко поднявшейся над Днепром северной части Смоленска, голос Городнянского зазвучал в телефонной трубке громко и четко.

— Авксентий Михайлович, не слышал новость? — спросил у него Лукин.

— Судя по тому, что вам, Михаил Федорович, весело, новость не печальная? — вопросом ответил Городнянский.

— Угадал! — Лукин засмеялся, может, впервые за эти дни. — Где находится сейчас твой командно-наблюдательный пункт?

— Да здесь же, где вы недавно были, в том же каменном мешке.

— Но в черте Смоленска?

— Разумеется!.. А правофланговый полк моей дивизии даже пытается взять на том берегу здание областной больницы.

— Ну вот видишь! — В голосе Лукина продолжали звучать веселые всплески. — А Гитлер доказывает Черчиллю, что в Смоленске не осталось ни одного русского солдата. Предлагает за свидетельством обратиться к нам с тобой.

— Серьезно? — не без озадаченности переспросил Городнянский. — Так я сейчас очередным артналетом дам Гитлеру знать, где нахожусь. Позволяете?

— Давай, только щади историю Смоленска: собор, церквушки, памятники. И не трать снарядов на мелкие цели. Гитлер — брехло: и так знает, что оседлал только южную часть города.

— Насчет того, что надо щадить историю, это ты молодец, дорогой Михаил Федорович, — сказал дивизионный комиссар Лобачев, посмотрев с одобрительной грустью на Лукина. — Жернова войны так перемалывают древность с сегодняшним днем, что для людей будущего вместо истории остается труха...

— Разгромим фашизм, заключим со всем миром договора о дружбе, и крышка всяким войнам! — Лукин отдал связисту телефонную трубку и молодецки хлопнул ладонью себя по коленке. Затем встал с кирпичной глыбы и кому-то погрозил пальцем: — Все извлекут уроки! Дураков не останется.

— Хорошо бы, — согласился Лобачев, тоже вста-

вая. — А вместо армии пусть бы каждое государство держало небольшие внутренние войска — для устрашения воров и хулиганов.

— И роту почетного караула! — с легким смешком добавил Лукин. — Чтоб иностранных гостей встречать.

— Тогда еще и военный оркестр нужен! — Лобачев извинительно развел руками. — А роте, оркестру да и внутренним войскам нужны будут духовные наставники. Так что я, возможно, опять буду при деле. А ты, Михаил Федорович, наверняка останешься безработным.

— Каждый день на рыбалку стану ездить! — ухватился за привлекательную мысль Лукин и даже надул от удовольствия щеки, как это делают маленькие дети.

И вдруг они расхохотались — закатисто, безудержно, с какой-то надрывной свирепостью. Это не был «хохот чистого веселья», ибо сверкнувшие на глазах Лобачева стекляшки слез выдали волнение их обоих, понимавших отчаянность своего положения, но не утративших в этом кровавом угаре того подлинного чувства долга, делающего человека человечным. Оно, это человечное, определялось их совестью и другими духовными началами, умноженными на разум каждого из них и на энергию, направленную на пользу Отечества...

Только опытный глаз мог определить, что в штабе армии произошло что-то важное. Когда Лукин и Лобачев приехали из Смоленска в лес под Жуково, они сразу же заметили особую подтянутость и напряженную готовность к чему-то часовых, стоявших у землянок отделов и отделений штаба, деловитость командиров, изредка стремительно проходивших по тропинкам, протоптанным в разных направлениях, особенно от узла связи.

В автобусе полковника Шалина застали почти полный сбор начальников служб. Все сидели вокруг узкого раскладного стола за топографическими картами и за журналами для различных записей. Только сам Шалин не сидел, а стоял в конце салона у карты, приколотой на заклиненных и иссеченных осколками задних дверях. На карте были четко нарисованы шесть удлиненных красных стрел, нацеленных на Смоленск, а точнее, на красный овал, обозначавший место окружения вражескими войсками его, Лукина, 16-й и Курочкина — 20-й армий и отсекавший по Днепру северную часть города.

Михаил Федорович понял, что красные стрелы обозначали намеченные удары наших войск для деблокации окруженных в районе Смоленска частей и для разгрома группировки противника. Но эти стрелы нисколько его не поразили, ибо он и ранее предполагал, что вот-вот маршалу Тимошенко прикажут предпринять нечто подобное. Сейчас же генерала Лукина холодком ударили по сердцу синие жирные «пиявки», охватившие наши 16-ю и 20-ю армии. Офицеры оперативного отдела штаба старательно начертили расположение немецкой группы армий «Центр», и видеть это было жутковато. Три армейских и три моторизованных корпуса врага, три танковые дивизии и танковая бригада только на фронте от Духовщины до Рославля... Огромная силища таранила нашу оборону здесь, лишь на главном направлении Западного фронта. А основные силы 3-й танковой группы врага, нанеся удар из района Витебска — в обход Смоленска с севера, — уже пробились к Ярцеву и южнее Смоленска соединились с частями 2-й танковой группы в районах Кричева и Рославля. Смоленская группировка войск оказалась как орех в щипцах, но не хватало у немцев сил раздавить его... Долго ли так будет продолжаться? Вот бы нашлась возможность надеть на «орех» железный обруч или внутри его поставить стальные распорки из свежих резервов... Но пробиться сюда, в кольцо окружения, резервам не так просто, да и целесообразно ли? Маршалу Тимошенко с командного пункта фронта виднее... Плюс наличие информации и разработок Генерального штаба...

Генерал Лукин, после того как начальник штаба полковник Шалин чуть запоздало скомандовал: «Встать!.. Смирно!» — вскочившим и заскрипевшим складными стульчиками штабистам, кивнул всем, чтобы садились, затем спросил, не отрывая изучающего взгляда от карты:

— Приказ?

— Телеграмма с информацией о директиве начальника Генерального штаба, — сдержанно ответил полковник Шалин, нахмурив свое не очень красивое, с огромной верхней губой, жесткими чертами, но чем-то по-особому привлекательное и в чем-то загадочное лицо. Своей сущностью Шалин будто бы подтверждал древнюю мудрость, гласившую: «Сколькими языками человек владеет, столько раз он и человек». Полковник сво-

бодно разговаривал на английском, японском языках и был образован, как иные выражались, до неприличия.

Ступив к торцовому краю стола, Шалин промакнул носовым платком высокие залысины и сдвинул на угол папку с бумагами, освобождая место командарму и члену Военного совета.

Лукин и Лобачев уселись на неширокую навесную лавку, соединявшую боковые стенки автобуса, и оказались во главе командирского собрания.

— Ну что за директива? — Лукин достал пачку «Казбека» и, взяв папиросу, стал размягчать ее пальцами. — Курите, кто желает, вентиляция хорошая. — И генерал устремил ожидающий взгляд на Шалина.

Начальник штаба с какой-то подчеркнутой бесстрастностью изложил директиву в общих чертах. Ее суть сводилась к тому, что согласно требованию Верховного Командования на Западном направлении надлежало провести операцию по окружению и разгрому гитлеровцев в районе Смоленска. Осуществить эту операцию маршал Тимошенко приказал силами специально созданных пяти войсковых оперативных групп, состоящих из двадцати дивизий, выделенных из состава 29, 30, 24 и 28-й резервных армий. Группы должны перейти в контрнаступление, нанеся одновременные удары с северо-востока (из района Белый), востока (Ярцево) и юга (Рославль) в направлении на Смоленск. Их задача во взаимодействии с окруженными врагом 20-й и 16-й армиями разгромить группировку противника севернее и южнее Смоленска. Для содействия войскам, которым предстояло наступать с фронта, выделялись три кавалерийские дивизии под командованием прославленного командира гражданской войны Оки Ивановича Городовикова. Перед этой конной группой ставилась задача совершить опустошительный рейд по тылам бобруйско-могилевско-смоленской группировки немцев.

Умолкнув, полковник Шалин, прежде чем начать детализировать директиву, открыл лежавшую на углу стола папку с документами и скосил вопрошающий взгляд на генерала Лукина, словно пытаясь убедиться в том, что тот действительно серьезно вник в сущность замысла предстоящей операции. А Михаил Федорович, облокотившись на стол и держа над пустой консервной банкой папиросу, из которой сизой струйкой поднимался дым, будто витал мыслями где-то далеко, понуро глядя в развернутую перед ним рабочую топографическую

карту, поверх которой лежали уже исполненные штабными командирами согласно директиве бумаги с планом рекогносцировки, с планом перегруппировки частей армии и другими проектами боевых документов, что свидетельствовало о высоком уровне штабного дела, поставленного здесь полковником Шалиным. Понуро-безучастными казались и все остальные, находившиеся в автобусе... Но нет, это была не безучастность, не подавленность, а поглощенность каждого своими мыслями, схожими заботами и тревогами, своим видением затеваемой операции и прогнозами ее осуществления. Ведь всем было ясно, что сейчас стоит вопрос о жизни или смерти каждого в отдельности и всех их, вместе взятых, с войсками...

Где-то в глубине леса дважды с коротким промежутком певуче зазвенела под ударами железного прута латунь подвешенной снарядной гильзы. Это было оповещение о начале обеденного времени. И в автобусе будто запахло щами и пшенной, заправленной свиной тушенкой кашей.

Тут же послышалось приглушенное расстоянием хрипловатое «ку-ка-ре-ку-у!», не очень похожее подражание петушиному. Вслед за ним ернически прозвучала старая солдатская тарабарка:

Бери ложку,
Бери бак!..
Нету ложки?
Иди так!..

Лукин узнал: голос этот принадлежал бойцу из охраны штаба артиллерии — видавшему виды сибиряку со странной фамилией Курнявко. И будто увидел бойца перед собой: лицо круглое, красноватое, потрескавшееся от морщин, брови густые, кустистые, похожие на двух ежиков; нос короткий, с широкими, чуть вывернутыми ноздрями, из которых выглядывали толстые черные волосинки. Рот у бойца был тоже особенным, словно просеченный сверху вниз, и поэтому нижняя губа будто подпирала верхнюю. В глазах неизменно светилось напряженное внимание ко всему происходящему вокруг, сквозило даже некоторое высокомерие и в то же время готовность к взаимопониманию, к обоюдно приятному диалогу, согласию или несогласию. Безразличия глаза Курнявко не знали...

Все это промелькнуло в сознании Михаила Федоро-

вича будто щелчок диафрагмы фотоаппарата, и он неосознанно кинул взгляд на начальника артиллерии армии генерал-майора Прохорова, сидевшего на другом конце стола. Тот, видимо, тоже узнав голос бойца, улыбчиво посмотрел на командарма.

— Твой Курнявко дает концерт? — спросил Лукин у Прохорова.

— Да, его вокализы, — подтвердил Иван Павлович.

— Сознался, как он выжимает водку из смеси керосина и спирта?

— Сознался... Пришлось пригрозить откомандированием из штаба.

Все в автобусе с недоумением прислушивались к обмену странными фразами командующего армией и начальника артиллерии. Полковник Шалин, подошедший было с указкой к карте, укоризненно посмотрел оттуда на генерала Лукина, затем обидчиво произнес:

— Если нет желания слушать меня — можете каждый самостоятельно ознакомиться с планом операции. — И он пристукнул указкой по углу стола, где лежали документы.

— Извини, Михаил Алексеевич. — Лукин отодвинулся к стенке автобуса, чтобы лучше видеть карту, и с чувством веселой виноватости пояснил: — Тут, понимаешь, действительно случай особый... Даже для твоей утонченной натуры интересен. Рассказать в двух словах? — И, не дожидаясь ничьего согласия, продолжил: — Те бочки спирта, которые чернышевцы захватили у немцев, частично отдали медикам, а частично смешали с керосином, чтоб никто не пил, и стали заправлять этой дрянью баки грузовиков. Между прочим, моторы работают на ней отменно... А тут генерал Прохоров вдруг доложил, что среди его водителей и артснабженцев замечены случаи пьянства...

— Ну не совсем пьянства, но крепко выпившие встречались, — уточнил генерал Прохоров и так заразительно расхохотался, что лицо его посветлело и помолодело. И все поняли, что за этим стоит что-то необычно занимательное.

— Будете утверждать, что нашлись такие, которые могли пить смесь спирта с керосином? — спросил полковник Шалин. Лицо его выражало не только полное недоверие, но и раздражение: он не любил тратить время на пустые разговоры.

— Михаил Алексеевич, ты извини нас, недообразо-

ванных. — Лукин уже сам смотрел на Шалина с дружеской усмешкой. — Мы иностранными языками не владеем, специальных институтов не кончали. Поясни нам, пожалуйста, как можно из смеси керосина и спирта получить водку.

— Это у химиков надо спрашивать, — озадаченно ответил Шалин. — Но полагаю, что нужен какой-то перегонный аппарат, какие-то центрифуги, отстойники...

— Гвоздь нужен! — весело воскликнул генерал Прохоров. — И четырехклассное образование!.. Впрочем, образования вовсе не надо! Его молоток заменяет!

Автобус наполнился веселым шумом, и Шалин, пожав плечами, сел на скамейку рядом с дивизионным комиссаром Лобачевым. При этом обидчиво сказал:

— Сейчас надо ломать голову над планом операции и плакать от нехватки сил и боеприпасов, а им весело! Нашли время зубы скалить!..

— Нет... О серьезном идет разговор, — строго прервал начальника штаба дивизионный комиссар Лобачев, пристукнув по столу сразу двумя кулаками. — Как известно, пьяные подразделения не могут являться боевыми единицами!

— Откуда пьяные? Почему? — не сдавался Шалин. — Когда батальон из дивизии Городнянского отбил у немцев спиртзавод, там полно было питья! Но кто видел в батальоне пьяных? Грамма никто не выпил!

— Верно, не выпил, — согласился Лукин. — Там все понимали, что идет бой... А в обороне, да еще в ночное время, могут объявиться охотники полакомиться спиртным...

— Объявились! — поддержал командарма генерал Прохоров. — Пришлось пресекать... Вот тот, который сейчас кукарекал... Красноармеец Курнявко... Хороший боец! А что придумал? Наливал полведра смеси спирта и керосина, доливал туда воды, вода смешивалась со спиртом и опускалась на дно, а керосин всплывал... Дальше сами понимаете: гвоздь плюс молоток... Из дырки в дне ведра вытекал крепчайший и чистый раствор спирта... Вот вам и четыре класса образования у бойца Курнявко!..

Теперь уже хохотал вместе со всеми и полковник Шалин...

Когда смех наконец утих, начальник штаба вновь подошел к карте и, посерьезнев, стал объяснять задачи, которые определялись директивой Генерального штаба.

Войска группы генерал-лейтенанта Качалова, состоявшие из двух стрелковых и одной танковой дивизий, должны были в назначенное время развернуть наступление из района Рославля и вдоль идущего на Смоленск шоссе, ко второму дню разгромить противника на рубеже Починок, Хиславичи, а в дальнейшем с юга развивать наступление на Смоленск, отражая удары врага с запада. Группа генерала Рокоссовского (две стрелковые и одна танковая дивизии), прикрывая главное — Московское направление, тоже должна была нацелить свой удар на Смоленск, но со стороны Ярцева. Остальным войскам — группе генерала Хоменко (три стрелковые и две кавалерийские дивизии) и группе генерала Калинина (три стрелковые и одна танковая дивизии) приказано одновременно начать наступление из районов Белого и южнее его по сходящимся направлениям на Духовщину, Смоленск.

Вслушиваясь в четко рубленный, какой бывает только у истинно военных людей, голос полковника Шалина и неотрывно следя за перемещавшимся острием деревянной указки в его руке, генерал Лукин будто видел перед собой лица генерала армии Жукова и маршала Тимошенко. Жуков, казалось, сердился на кого-то, и поэтому лицо его было пасмурным, а Тимошенко словно был озабочен сердитостью начальника Генерального штаба и пытался найти какое-то важное решение...

А ведь особенных загадок в сложившейся ситуации не было. Из переговоров с маршалом Тимошенко и начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Маландиным Лукин знал, что Сталин не уставал требовать от Генштаба мер, которые затормозили бы продвижение немцев в направлении Москвы; это имело крайне важное не только военно-стратегическое, но и внешнеполитическое значение. В качестве таких мер Сталин предлагал одновременно ввести в действие на Западном фронте несколько крупных группировок наших войск. Вот эти группировки и сколочены... Но пока лишь в директиве Генштаба, которая отводила 16-й армии для подготовки контрнаступления только двое суток. А за это время можно было успеть немногое — ну, принять решение и поставить задачи войскам, находящимся к тому же в разных районах. Даже не успеть организовать как следует взаимодействие и боевое обеспечение войск 20-й и 16-й армий здесь, в окружении. Зачем же такая торопливость?.. Тем более что началась дождливая по-

года... Или там, в Москве, что-то знают о войсках противника такое, чего он, генерал Лукин, со своим штабом не знает?

Видимо, из глубины страны спешат наши резервы и надо во что бы то ни стало побыстрее задержать продвижение немцев, лишить их свободы маневра, заставить распылить силы на широком фронте, а может, и перейти к обороне. В этом, разумеется, был здравый смысл. Тем более что в тыл врага рвутся наши кавалерийские дивизии...

Следовательно, надо принимать решение... Генерал Лукин неторопливо поднялся со скамейки и взял у полковника Шалина указку.

В открытую боковую дверь автобуса упруго дохнул ветерок, пахнувший гнилым дуплом осины, и вдруг над лесом резко и оглушающе, с какой-то бешеной силой ударил гром и полыхнула молния, отсвет которой на мгновение вымахнул из автобуса полумрак. Михаилу Федоровичу даже показалось, что это где-то рядом взорвался тяжелый снаряд. Но наступившую тишину стал заполнять нарастающий шелест дождя. Его крупные капли все гуще барабанили по крыше автобуса и шуршали в листве деревьев.

Началась новая гроза. Ох как она была некстати сейчас, когда затевался столь мощный контрудар по врагу.

19

Кисть левой руки майора Птицына Владимира Юхтымовича, раздробленная осколком мины под Борисовом, заживала. Правда, пальцы почти не сгибались, а ладонь была исполосована багровыми рубцами, затягивающимися молодой кожицей под легкой бинтовой повязкой. Птицын — бывший сын богатого русского дворянина-помещика, Владимир Святославович Глинский, — значился в тайных «святцах» абвера под кличкой Цезарь; теперь он долечивался в одном из московских госпиталей. В последние дни Глинский особенно горячо, даже горячечно размышлял над тем, куда и как устремить свою судьбу дальше. Благосклонная к нему до сих пор, сейчас она стала предупреждать о грозящей ему опасности: то холодок тревоги вдруг беспричинно рождался в груди, то во сне кто-то грозно и немигающе глядел ему в самую душу; все больше ширился разлад между разумом и сердцем Владимира.

Рассудок с нерушимой силой очевидности доказывал, что сейчас, когда над Москвой нависла реальная угроза вторжения в нее немцев, когда германские бомбардировщики многими десятками с разных направлений и на разных высотах стремились прорваться в небо советской столицы, а немецкие диверсанты — натренированные и обученные высшему искусству разрушения и уничтожения — тоже денно и нощно делали попытки нанести удары по военно-промышленным объектам Москвы, советской контрразведке не до него, «майора Птицына», одиноко затерявшегося среди тысяч выздоравливающих раненых. Ведь он ничем не отличался от них, документы его, находившиеся в госпитальном штабе, тоже не могли вызвать сомнений... Но вот сердце... сердце не давало покоя. Оно будто знало, что действительно за «майором Птицыным» неусыпно наблюдало недремлющее око — с тех самых пор, как он, сжалившись над одним раненым, под его диктовку написал ему домой письмо и по старой привычке дважды употребил букву «ять», давно изъятую из русского языка. Именно это и дало повод советской контрразведке заинтересоваться не только Владимиром Глинским, но и Губариным, к которому зачастил «майор Птицын», размотать родословную разбитного дворника. Озадачивал чекистов и генерал Чумаков. И не только знакомством с Птицыным, но и знанием немецкого языка.

Да, Владимир Глинский, со своей утонченной натурой и болезненной потребностью всматриваться в собственные предчувствия, вслушиваться в них, встряхивать их, как медяки на ладони, убежденно верил, что интуиция, не дающая ему покоя, — это проявление высшей способности человеческого духа — голос его провидческой души, которая предупреждает об опасности и зовет к действию.

Итак, надо было на что-то решаться. По опыту других выздоравливающих раненых Владимир Глинский знал, что его как знатока военно-инженерного дела могут послать в какую-нибудь тыловую учебно-саперную часть. Но это не устраивало абверовца: он хотел вместе с немецкими войсками войти в Москву завоевателем или хотя бы встретить их здесь, чтобы не только почувствовать себя победителем, но и иметь право на что-то большее — на что именно, он еще не знал, но с ожесточением претендовал на дележ власти, наград, привилегий или каких-то ценностей... Проситься же в действую-

щую армию ему не хотелось: там ждала почти верная гибель. Был у него и запасный вариант: напомнить должностным лицам, ведающим войсковыми кадрами, что у него, «майора Птицына», есть еще одна, очень нужная для фронтового тыла профессия — полиграфиста. Правда, он знал, что полиграфистами ведало управление кадров Главного политуправления Красной Армии. Следовательно, ему предстояло сменить военно-учетную специальность — стать политработником. Особых препятствий к этому не предвиделось и здесь: у него ведь был партийный билет — не поддельный, а настоящий, пусть с искусно переклеенной в абверовской лаборатории фотографией. Опытные советчики во время дружеских перекуров в госпитальном дворе то и дело с убежденностью напутствовали Глинского: «Иди в ПУРККА, а там, основываясь на госпитальных справках, заведут на тебя личное дело и пошлют начальником типографии армейской, а то и фронтовой газеты». Все обдумав и взвесив, Владимир Святославович последовал этим советам...

Немало часов провел он в бюро пропусков Наркомата обороны. Это была просторная комната с телефонами, отгороженными друг от друга фанерными стенками; ряд окошек, за которыми сидели сержанты и старшины, выписывавшие пропуска по полученным заявкам или по телефонным распоряжениям, очереди военных к телефонам и к окошкам, теснота на скамейках, вдоль стен... Опытный глаз Глинского безошибочно различал, что за люди штурмовали это душное помещение. Здесь — и вызванные с фронта для новых назначений, и выписавшиеся из госпиталей или прибывшие из запасных частей; иные, одетые в гражданскую одежду, видимо, отобраны райвоенкоматами для отправки в войска на командно-политические должности.

Выстояв в очереди к окошку, за которым дежурный лейтенант с сонными глазами и помятым от недосыпания лицом давал справки, Глинский узнал от него, что ему следует обращаться в отдел печати к полковому комиссару Лосику, и записал номер его телефона. Он, этот таинственный Лосик, должен был и решить судьбу полиграфиста «майора Птицына». Затем опять долгое стояние в очереди — уже к телефону... Прислушиваясь к разговорам, к односторонним телефонным диалогам, Глинский, будучи натренированным разведчиком, многое запоминал — «авось пригодится», удивлялся бес-

печности, царившей в бюро пропусков. Здесь можно было пригоршнями черпать многие важные сведения для немецкой разведки. Или это только так казалось абверовцу? Возможно, красные командиры искусно играли в беспечность, а где-то по углам или за перегородками сидели чекисты и тайно наблюдали, не развесил ли кто-нибудь уши и не вел ли записей в блокноте?

Такая мысль как бы встряхнула Глинского, обожгла мозг, и он осторожно, с напускным безразличием огляделся по сторонам, не догадываясь, что узколицый и улыбчивый старший лейтенант, стоявший в очереди сзади него, именно и был его личным «опекуном» из советской контрразведки. Но Глинский обратил внимание не на старшего лейтенанта, а на стоявшего у витрины с наклеенной на ней газетой «Красная звезда» майора с черными петлицами на гимнастерке и черным околышем на фуражке. Майор время от времени подергивал левым плечом, как бы рывком приподнимая его к уху. Именно по этому подергиванию Глинский мгновенно вспомнил его...

Майор разговаривал с каким-то военным — высоким, грузным, стоявшим к Глинскому спиной. Ни имени майора, ни фамилии Глинский не знал. Но будто увидел сейчас плац в Сулеювеке близ Варшавы, в расположении бывшей базы разведывательно-диверсионной школы, где перед началом вторжения немецко-фашистских войск в Россию разместился оперативный штаб «Валли» ведомства адмирала Канариса. Там создавались абверкоманды и подчиненные им абвергруппы... Владимир Глинский со своей только что сформированной абвергруппой отрабатывал на плацу нехитрую операцию мгновенного откидывания бортов у русского грузовика ЗИС-5 и превращения его кузова в пулеметную площадку, защищенную от пуль выпуклыми броневыми щитами... Тогда этот «майор» с двумя немецкими офицерами подъехал к группе Глинского на «мерседесе», десяток минут понаблюдал за оживившимися занятиями, потом удовлетворенно сказал Владимиру: «Отлично работаете, Цезарь» — и, передернув левым плечом, сел в машину...

Так кто же он? Советский разведчик? Или, как и Глинский, заброшен вихрем обстоятельств в расположение Красной Армии и сейчас играет роль своего в среде советских командиров? Если же советский агент, то что ему делать здесь?..

В голове Глинского раздалось гудение от учащенно запульсировавшей крови, лицо вспыхнуло, а по всему телу разлилась вялость — так с ним бывало всегда, когда назревал момент явной опасности, а он не видел выхода.

Наконец наступила его очередь взять телефонную трубку. Стараясь не поворачиваться лицом в ту сторону, где стоял узнанный им человек в форме майора, Глинский, набрав номер, спросил откликнувшегося неузнаваемым даже для самого себя баритоном:

— Товарищ полковой комиссар Лосик?

— Нет его, — ответили неприветливо. — У аппарата батальонный комиссар Дедюхин. Что вам?

Глинский, будто сжав в кулак свою волю, четко и размеренно объяснил Дедюхину суть своего положения и изложил просьбу.

— Полиграфисты нам требуются, — уже сговорчивее ответил батальонный комиссар. — Отправляйтесь в райвоенкомат, на территории которого расположен ваш госпиталь, там имеются соответствующие указания... Если вы окажетесь нашей номенклатурой — вас пришлют к нам. — И положил телефонную трубку.

Глинский вышел из бюро пропусков, словно из парилки. Настороженно оглядевшись по сторонам и спрятав бумажку с номером телефона полкового комиссара Лосика, торопливо зашагал в сторону метро — скорее подальше, подальше от этого опасного места. Ему мерещилось, что за ним неотрывно следят. И это было на самом деле...

Странное дело: тот въедливый человечек, который всегда обитал в глубинах чувств Владимира Глинского и время от времени задавал ему непростые вопросы, требуя немедленных ответов на них, в эти дни почему-то утих, притаился или совсем исчез, дав Владимиру волю поступать во всем по своему усмотрению, мыслить так, как ему мыслилось. А вот сейчас почудилось, что этот обычно иронически настроенный шептун вдруг проснулся, безмолвно заворочался в груди, будто заодно с Глинским смертельно испугался советских чекистов, которые мнились Владимиру уже во всех прохожих. Золотая ариаднина нить, по убеждению Глинского, ведшая его, тайного врага Советской России, по лабиринтам трудно слагавшихся обстоятельств, теперь, кажется, оборвалась. А возможно, оборвалась раньше — еще сре-

ди огненных валов войны, в гибнущем войсковом соединении генерала Чумакова...

Мысль о Чумакове будто охладила распаленную фантазию Владимира, удиравшего сейчас как можно дальше от бюро пропусков Наркомата обороны. Не помня, как он оказался в куда-то мчавшемся вагоне метро, Глинский на первой же остановке вышел и, с притворной озабоченностью оглядевшись по сторонам, пересел в подземный поезд, шедший в сторону Киевского вокзала. Сам не зная зачем, он решил побывать у дома на 2-й Извозной улице, где после долгой разлуки случайно встретил в обличье дворника своего родного брата Николая и где в квартире покойного профессора военной истории Нила Романова познакомился с семьей Федора Ксенофонтовича Чумакова... Зачем он сейчас ехал туда? Ведь знал, что Ольга Васильевна и Ирина Чумаковы отправлены куда-то под Можайск строить военные укрепления. Об этом ему сказал тот же случайно встреченный брат — Николай Глинский... Потом он поручил Николаю любыми путями немедленно оказаться на захваченной немцами территории и передать для абвера его, Владимира Глинского, проект покушения на жизнь Сталина и на других советских руководителей...

Что-то неудержимо тянуло Владимира на 2-ю Извозную, и, он, выйдя из метро и пересев в трамвай, уже был почти убежден, что интуиция толкает его туда не зря и что вообще сейчас он должен прислушиваться к ней, как к голосу небесных сил, вера в которые укрепилась в нем еще больше с тех пор, как попал он в расположение красных и до сих пор не был разоблачен, хотя часто оказывался очень близок к этому... Хорошо, что небесные спасители на его, Глинского, стороне. Но большевикам этого не понять. Они борются против бога и утверждают, что его вообще нет. А если нет, так зачем же тогда с ним бороться? Как можно отрицать то, чего нет?.. Да, большевикам со своими догмами не проникнуть в область высшего духа и не постигнуть суть абсолюта. Посему и не дано им познать, где же именно произрастают плоды добра, а где зла, где райские кущи с гнездовьями вещих птиц, кои, паря в поднебесье, указывают верный путь не только праведникам, но и заблудшим...

Путаясь в мыслях, навеянных страхом перед разоблачением, Глинский ехал в полупустом трамвае в сторону Филей, не замечая, как из угла вагона исподтишь-

ка его касался взглядом юноша с потертым портфелем под мышкой, в полосатой рубашке с расстегнутым воротом. Это был очередной «опекун» абверовца, которого он принял под свой контроль еще на Арбате. Сейчас юноша старался твердо запомнить внешний портрет Глинского, с тем чтобы при необходимости безошибочно передать шпиона очередному чекисту.

А Глинский, хорошо откормленный на госпитальных харчах, напоминал крепкой фигурой и всем своим ликом покинувшего из-за возраста ринг боксера, но и сейчас не чуждающегося спорта. Лицо его отливало бронзовым загаром, было грубоватым, в нижней части отяжелевшим; крупный нос прочно царствовал над тонкими губами, а выцветшие, почти незаметные брови постоянно хмурились, придавая глубоко сидящим глазам выражение настороженности и некоторого высокомерия...

Да, интуиция не подвела Глинского. Из надписи, сделанной мелом полковником Микофиным на дверях квартиры покойных Романовых, Владимир Глинский узнал, что раненый генерал Чумаков находится на излечении в первом корпусе санатория РККА, расположенного в Архангельском, на территории... бывшей дворцовой усадьбы князя Юсупова!

Сначала Владимир Глинский даже не поверил, что речь идет именно о том самом Архангельском — древней подмосковной резиденции князей Юсуповых, где не раз бывали русские императоры, члены императорской семьи, куда приезжал сам великий Пушкин и многие другие ослепительно знаменитые личности России, Франции, Англии, Италии... Не раз приезжал туда с родителями и он, тогда еще Володя, или Вольдемар, Глинский, будущий юрист — студент Петербургского университета.

Сейчас Владимир не мог точно и припомнить, в каком фамильном родстве находилась их семья с Юсуповыми. Кажется, двоюродная сестра его матери была выдана замуж за одного из отпрысков этого знаменитого княжеского рода. И Архангельское радостно теснилось в его памяти и сознании как нечто непомерно прекрасное, благородное, олицетворяющее собой и своими обитателями самую просвещенную и власть имущую часть России. Временами ему даже не верилось, что этот прославленный в чем-то таинственный земной уголок не являлся плодом его воображения, а существовал наяву. И не только кружевной, разграфленный аллеями

парк, не только прильнувшие к нему Москва-река и пруды, окантованные зеленым ожерельем кустов, или рощи и перелески, открывавшие окутанные дымчатой кисеей заречные дали, но и сами люди, жившие в дворцовых строениях, высившихся среди парка, мнились ему как божьи избранники, коим было чуждо все буднично-земное, и их заботы слагались лишь из вкушения восторга — под музыку невидимого на высоких хорах овального дворцового зала оркестра... И он представил себе этот зал, увенчанный расписным куполом, с золотисто-желтыми коринфскими колоннами из искусственного мрамора...

Воспоминания о прошлом, о старой России, нахлынули на Владимира Глинского с такой силой, что он словно потерял самого себя. Его чувства и обращенные в минувшие десятилетия мысли словно отделились от него, не мешая ему делать то, на что он решился: Владимир Глинский ехал в Архангельское...

Он сидел в кабине грузовика рядом с немолодым шофером в засаленном синем комбинезоне. Шофер временами косился на перебинтованную руку Глинского. Его узкоглазое скуластое лицо выражало почтительность.

— Снаряды везешь? — спросил у него Глинский, кивнув в сторону кузова.

— Зенитные снаряды!.. Самолеты сбивать, — громко, с восточным выговором ответил шофер.

— Сам что — казах?

— Не казах. Узбек... А казахи тоже есть... Туркмены, киргизы. Чукча есть. Не автобат у нас, а большая юрта народов.

Шофер оказался болтливым. Но Глинскому разговаривать не хотелось. Он осматривался по сторонам, удивляясь, что не узнает дороги... Нет, узнал деревню Гольево! Но почему-то не увидел деревянного мостка в низине и речушки не увидел... Здесь обычно увязывались за их каретой мальчишки и девчонки в холщовых одеяниях и истошно вопили: «Барин, барин! Кинь конхвету!..» Матушка расстегивала свой лакированный ридикюль, доставала оттуда заранее припасенный кулек с карамелью и бубликами и царственно расшвыривала их по обе стороны кареты...

Гольево осталось позади, и Глинский начал размышлять над тем, зачем он в самом деле едет в Архангельское... Для чего ему нужен сейчас генерал Чумаков?

Чтоб наконец убить, уничтожить его, как предписывалось строгим кодексом абвера каждому бывшему «аспиранту» школы восточного направления, столкнувшемуся со старшим, а тем паче высшим командиром Красной Армии? Да, совершить этот террористический акт Владимир Глинский был обязан уже давно. Но почему же не совершил?.. Ответ ему ясен: только из-за собственной безопасности. Генерал Чумаков нужен был Глинскому живым, как главный свидетель принадлежности «майора Птицына» к командирскому корпусу Красной Армии: ведь они познакомились еще до войны, пусть только и за несколько часов до ее начала. И уже не единожды встречи с генералом Чумаковым приносили Глинскому удачи, даже дарили ему жизнь!.. Сейчас тоже зрела в нем надежда на нечто непредвиденное, нечто полезное от предстоящего свидания с Чумаковым.

Однако если б Глинский спросил себя строже, почему он так внезапно решился на эту поездку, то, возможно, и сознался бы: Архангельское, как проснувшаяся боль, вдруг позвало его кличем полузабытой юности и словно бы стоном отчаяния растоптанной простолюдинной чернью России, по которой у него никогда не переставала болеть душа... Не хотелось верить, будто большевики в самом деле столь ограниченны в своем духовном восприятии мира, что сказочный, почти нерукотворный дворец, его ослепительные парадные залы, салоны, кабинеты, украшенные произведениями искусства, сделавшие имена их творцов бессмертными, превратили в обыкновенные общежития — ординарный дом отдыха для начсостава РККА?

Его память и его настороженно дремавшая боль, обостренно всколыхнувшись, вдруг оглушающе прокатились в мыслях по всей его прошлой жизни, начиная с малолетства. А сейчас Глинский всеми чувствами устремился в то давнее и родное Архангельское, в его дворцовый парк: деревья в парке когда-то закрывали почти все небо над собой, но послушно расступались перед ровными аллеями, полянами, перед дворцовыми зданиями... А скульптуры, вазы, фонтаны, бюсты — в сочетании с террасами, лестницами, подпорными, обвитыми зеленым плющом стенами!.. А памятник Пушкину в конце аллеи, украшенной бюстами античных богов и древних философов! Но многое уже покрылось пеленой забвения...

Грузовик стишил ход и, съехав на обочину, остано-

вился. Глинский огляделся по сторонам, увидел справа лес, а слева — полузабытую, проступавшую в памяти из прошлого железную ограду, за которой тоже теснились деревья — высокие и стройные сосны вперемежку с липами и тонкоствольными березами. Понял: Архангельское...

Через минуту, предъявив дежурному лейтенанту, стоявшему у распахнутых ворот, свою госпитальную увольнительную записку и коротко объяснившись с ним, Глинский с тоскливым холодком в груди уже шагал в направлении дворца, узнавая и не узнавая его: стены и колонны здания были раскрашены для маскировки темно-зелеными полосами и пятнами, а шпиль над бельведером снят...

Вот и въездная арка с массивными колоннами по бокам, замыкавшая парадный двор; под ней — кованый орнамент железных ворот. По сторонам двора — тоже по два ряда мощных колоннад; они соединяли фасад дворца с флигелями, опираясь на высокие фундаменты и неся на себе переходные балконы...

Постепенно все воскресало в памяти! Даже пряный запах цветов знакомо и тревожаще дохнул в лицо с круглой клумбы, пространно пестревшей в центре двора...

Пройдя сквозь арку в приоткрытые ворота, Глинский огляделся, будто еще не веря, что все это не сон. Увидел: из торцовых дверей флигеля, что был слева от него, вышли мужчина и женщина в белых халатах. Значит, верно — госпиталь здесь... Справа, у входа во второй флигель, сидели среди колонн в плетеных креслах люди в военной форме; на них ярко белели бинты — у кого перевязана рука, у кого — лицо, нога или под расстегнутой гимнастеркой грудь. Подойдя к ним, увидел, что раненые забивают за круглым столиком «козла» — играют в домино. Чуть помедлив, спросил:

— Будьте любезны, это первый корпус госпиталя?

На него все посмотрели с недоумением, и он со страхом подумал, что допустил какую-то непростительную ошибку.

— Главные корпуса госпиталя там, за парком, — указал рукой подполковник с округло-одутловатым, нездорового цвета лицом, он зажал между коленками два костыля. — Там первый и второй...

Глинский благодарственно кивнул и молча зашагал к противоположной колоннаде. И тут увидел распахну-

тые большие двери во дворец, из которых прерывистым ручьем вытекал поток людей в больничных халатах; кое на ком белели бинты... По их сосредоточенно-одухотворенным лицам, по задумчивым глазам, будто обращенным вместе с мыслями еще туда, вовнутрь дворца, Глинский понял: это экскурсия выздоравливающих раненых... Что же они могли там увидеть?.. Ведь то старое Архангельское с его великолепными памятниками русской и мировой культуры, как ему было известно, давно перестало существовать! Живя еще во Франции, Германии, он не раз читал в газетах о варварстве большевиков, не уберегших Эрмитаж, Третьяковку, Загорск, Архангельское... В Париже Глинский своими глазами видел несколько знакомых ему картин, вывезенных Троцким отсюда, из Архангельского (здесь в двадцатых годах помещалась его резиденция). Картины, кем-то купленные у Троцкого, перепродавались по довольно высоким ценам в богатом антикварном магазине, который имел филиалы в некоторых странах Европы. Да и само Советское государство, испытывая тяжкие трудности в годы своего становления, когда ему крайне нужна была иностранная валюта, позволяло себе выставлять на международных аукционах некоторые созданные в прежние века произведения живописи и скульптуры.

Позабыв, зачем он сюда приехал, Глинский будто против своей воли шагнул в направлении четырехколонного портика, к знакомым стеклянным дверям в его глубине, ведшим в вестибюль дворца...

И здесь почти все как было — строго, торжественно и чуть таинственно. В глубоких нишах на каминах-постаментах застыли в мраморной неподвижности Амур и Психея и Кастор и Поллукс — герои древнегреческих мифов; вход в парадные залы сторожили беззлобные мраморные псы, повернув головы в разные стороны... А вот и тот памятный стол с двумя кушетками по бокам... Но не видно на столе знакомой «Книги для гостей» — весьма толстой, в прочном кожаном переплете темно-серого цвета. В ней с начала прошлого века хозяева дворца предлагали самым почетным гостям оставлять на память грядущим поколениям свои автографы. Старый граф Глинский — отец Владимира — тоже имел честь дважды расписаться в «Книге для гостей», чем немало гордился и о чем нередко рассказывал в кругу близких, не забывая уточнять, что в книге запечатлены собственноручные автографы самых прослав-

ленных династий Российской империи — Голицыных, Ермоловых, Васильчиковых, Сумароковых.

Владимир Глинский в последний приезд в Архангельское, будучи тогда студентом четвертого курса университета, благоговейно листал «Книгу для гостей», надеясь, что и ему предложат расписаться в ней. Но хозяевам почему-то не пришла в голову такая простая мысль... Зато вволю насмотрелся он на русские, французские, немецкие, английские росписи, впитывая в свою цепкую память наиболее звучные имена: «Мария и Аглаида Голенищевы-Кутузовы...», «Графиня Елисавета Вл. Шувалова...», «Петр Верещагин...», «Павел Жуковский...», «Марина и Китти Урусовы...». Особенно запомнилась роспись императора Николая от 23 мая 1913 года; Владимир даже скопировал ее, похожую на лежащее поперек страницы рыбацкое удилище с намотанной на него и провисшей от верхнего кончика до комля леской...

Воскрешая в памяти свои былые приезды в Архангельское, Владимир Глинский действительно словно вернулся в годы юношества. В нем что-то упруго всколыхнулось и заныло той сладкой болью, которая похожа на пробудившуюся давнюю, недолюбленную любовь. И не только пробудилось где-то в глубинах сердца это странно волнующее чувство, но и взяло над ним власть, заставляя картинно вспыхивать в памяти все, что по ее велению вплеталось в венок прошлой жизни, в которую он возвратился на время, как в сказку или сновидение...

Вот Владимир уже в Овальном зале... Все здесь как и прежде, если память ему не изменяла... Нет, не изменяла память. Он с некоторой оторопью глядел на коринфские колонны и на высокие светильники между ними; подняв лицо, увидел купол, покрытый симметрично расположенными золотистыми квадратиками: они ему никогда не нравились. Зато в центре купола, в контрастно очерченном круге, легко и грациозно парили на фоне блеклых облаков Амур и Психея, как бы соединяя застывшим порывом своих чувств небо и землю. А из центра купола спускалась на прочном стержне-держателе трехъярусная люстра, вызывая восторженные взгляды людей невообразимо причудливым орнаментом и гнутыми подсвечниками. Покрытая позолотой люстра особенно при зажженных свечах была как бы сердцевиной Овального зала, являя собой олицетворение силы человеческого воображения, создавшего ее.

И что поражало до слез, до экстаза — Владимир не только узнавал все окружавшее здесь. Ему вспоминались, возрождались в нем и те чувства, которые испытывал здесь в те отшумевшие годы. Они, эти чувства, возвращаясь из прошлого, с дурманящей навязчивостью напоминали о себе, особенно когда смотрел из Овального зала в оба конца анфилады. Вот и сейчас перед его взором двери и окна дворца потеряли очертания и даже будто раздвинулись, сплавив воедино живое дыхание парковых деревьев с неподвижностью запечатленной жизни на картинах и настенных росписях дворца. Да и сами картины, с их небесной лазурью, с пестревшими на них былью и легендами, подчас казались его взгляду уголками парка, где вершилась причудливо-таинственная жизнь, как и мнилось, что парковые деревья, видневшиеся сквозь окна и двери, немыслимы без этих залов с великолепием, наполнявшим их.

Это ощущение слитности здания и зеленого половодья, окружающего его, завораживало, заставляло воспринимать пейзажи и сюжеты картин, настенных росписей как совершенство, взявшее начало там, за стеклами окон и дверей, где шумели живые деревья, где были простор аллей, полян и глубина небес над ними. Владимиру и сейчас иногда снится, что он летает среди люстр этих залов, а затем — над аллеями и полянами...

Он вышел из дворца, обогнув его с левой стороны, пройдя мимо каменных львов с добрыми и глупыми мордами, и оказался на верхней террасе парка. Справа и слева над террасой густо высились лиственницы — уже не молодые. Когда-то он поспорил с братом Николаем и с молодежью семейства Юсуповых — сумеет ли угадать с первого взгляда количество лиственниц в каждом ряду. Выиграл он, Владимир, сосчитавший деревья заранее. Их было ровно по тридцать штук, и сейчас, скользнув взглядом по лиственницам, он отметил только, что они почти не постарели, а густота их не поредела.

Впрочем, мысль о лиственницах отвлекла его ненадолго. Он вернулся к своим чувствам, родившимся там, во дворце, не в силах разобраться в них, в своем отношении к тому, что сейчас увидел, пережил и вспомнил. Был будто бы обрадован: нашел ведь потерянное, о котором даже не мечтал, и вместе с тем огорчен, что считавшееся потерянным безвозвратно так неожиданно,

легко, без всякой борьбы нашлось... И нарастающе стала зреть в нем надежда: случившееся сегодня — неспроста. Вполне вероятно, что в эти исторические дни судьба, избрав именно его, намеренно позвала сюда, чтобы напомнить: грядет торжество порушенной революцией справедливости. Каждое же торжество должно иметь своих заинтересованных в нем зачинщиков и пожинателей его плодов. Он же, Владимир Святославович Глинский, юрист по образованию, не только хорошо знает законы, но и умеет искусно изобретать их такими, какими они ему нужны. А тем более вряд ли скоро найдется и найдется ли вообще кто-нибудь из наследников князей Юсуповых после вторжения сюда немцев. А он, состоящий с Юсуповыми в родственных отношениях, уже здесь... Многое это сулило ему! Надо только не прозевать, не упустить, упредить и суметь закрепить за собой права...

И уже посмотрел вокруг как хозяин, как властелин сего райского уголка, сохраненного судьбой лично для него. Значит, не зря с такой силой пробудилась в нем сегодня интуиция; не оборвалась, следовательно, ариаднина нить в глубинах его души и разума.

В нем появилась жгучая потребность, прежде чем идти искать этот загадочный первый корпус, где лежит раненый генерал Чумаков, немедленно осмотреть всю территорию Архангельского, с его парком, памятниками, церковью Михаила Архангела, Святыми воротами, Колоннадой, театром Гонзага...

Но что это?! На постаментах, являвшихся промежуточными держателями балюстрады верхней террасы, не было ни одной скульптуры. Все они, как и те, которые сторожили боковые аллеи, как и сделанная по модели великого Микеланджело мраморная группа «Геркулес и Антей» в центре террасы, были повержены на серый песчаник площадки и дорожек, являя собой жалкое зрелище и вызывая чувство, похожее на то, что возникает на похоронах. Возможно, потому, что тут же, на дорожках, были выкопаны ямы, а в ямы спущены деревянные ящики, которые он разглядел, когда подошел ближе. Рядом на траве лежали прочные, из толстых досок, крышки для ящиков.

Глинскому все стало ясно, и он с облегчением вздохнил. Ему вспомнились рассказы о том, что подобным образом прятали здесь в землю, в подвалы дворца скульптуры в 1812 году, когда к Москве приближался Наполе-

он. Сейчас же делать это тем более надо — чтоб уберечь мраморные драгоценности от осколков бомб и снарядов...

Эх, может, не следовало вспоминать об осколках! А то будто накликал бомбежку: неизвестно откуда вдруг родился вой сирены — истошный, прерывистый, больно бьющий по барабанным перепонкам. Чудилось, что даже деревья парка мелко трепещут листвой от упругой хрипливости этого воя, дробят его в кронах и процеживают сквозь себя. Только великаны лиственницы справа и слева малой террасы, устремив в небо объемно-пушистую зелень, были безучастны к тому, что где-то близко появились бомбардировщики: ни одно дуновение ветерка не родилось в густоте их крон при сигнале воздушной тревоги.

В стороне Гольева и Павшина — деревень, находившихся в направлении Москвы, — резко и отрывисто громыхнули зенитные батареи.

— Пушкари старшего лейтенанта Васильева вступили в дело! — послышался юный с хрипотцой голос откуда-то с нижней террасы.

— Сейчас всем дивизионом рубанут! — поддержал его кто-то другой.

И верно: из-за леса и из-за прудов, где находились деревни Глухово, Чернево и Воронки — по другую сторону Архангельского, тоже ударили пушки, но уже протяжно, раскатисто... В небесной вышине послышались глухие и частые хлопки снарядных разрывов. Глинский, запрокинув голову, рассмотрел в голубой дымке безоблачного неба, среди этих разрывов — проворно вспыхивавших юрких черно-серых комочков, — тройку безмятежно плывших «юнкерсов». И тут же со стороны Москвы беззвучно, круто набирая высоту, устремились наперехват «юнкерсам» три истребителя.

Владимир Глинский одобрительным взглядом проследил за пронзавшими небо истребителями, пожалуй, впервые не пожелав немцам успеха: ведь они угрожали Архангельскому, к которому он, граф Глинский, уже имел прямое отношение.

«Юнкерсы», видимо, заметили атаку советских истребителей, потеряли свою безмятежность и резко свернули с боевого курса...

— Ага, не нравится! — опять донесся голос откуда-то снизу.

Глинскому захотелось посмотреть на тех, кто там

переговаривался, хотя и догадывался: это копавшие на дорожках ямы красноармейцы — кому же еще знать фамилию командира зенитного дивизиона?.. Однако взгляд его, скользнув поверх балюстрады, с которой уже были сняты мраморные вазы, задержался на двух камуфлированных зданиях, высившихся за южной границей партера — огромного, как футбольное поле, газона... Неужели так подводит память? Ведь там, кажется, были цветник с фонтаном и две крупные фигуры — Геркулеса и Флоры, — за которыми, как и сейчас, виднелись в дымке заречные леса и перелески — пейзаж, почти не подвластный кисти никакого художника. А сейчас в том месте будто причалили к кромке берега и застыли на невидимой неподвижной речной глади два красавца титаника. Нет, титаники — не то определение... Только дворцы, возведенные в истинно классическом стиле прошлого века: с колоннадами на высоких гранитных постаментах, с окантовкой дверей из черного мрамора, с балюстрадами балконов. Оба здания, между которыми простерлась смотровая площадка, всем своим стилем, всем великолепием фасадов и торцовых сторон будто утверждали, что стояли они здесь вечно, вписываясь в красоту строений всего паркового ансамбля и искусно дополняя ее.

«Так это ж новые корпуса дома отдыха, где и размещается госпиталь!» — мысленно воскликнул Владимир Глинский, хотя никак не мог поверить в их современную рукотворность.

И он заторопился к ним, сойдя на левую сторону парка, чтоб пусть мимоходом, но успеть взглянуть на памятник Пушкину, на скульптуру «Скорбящего гения» и чтоб убедиться, живет ли еще рядом с гением трехствольная липа с одним корнем; он, Владимир, когда-то взбирался на нее и мастерил слабенькую удавку, намереваясь сыграть сцену повешения в отместку младшей из княгинь Юсуповых, не замечавшей его вздохов по ней...

20

Генерал Чумаков слышал близкую пальбу зенитных орудий, топот чьих-то ног в коридоре и на асфальтовой дорожке под открытым окном палаты. Он тоже мог бы подняться с постели и неторопливо выйти из госпитального здания, чтоб укрыться в ближайшей щели, кото-

рых было вокруг надолблено и закидано ветками хвои немало. Но не хотел даже пошевельнуться, будто находился в параличе, в летаргической отрешенности от всего окружающего. Он действительно был сейчас оглушен нахлынувшими на него мыслями, сомнениями, догадками, прочитав черновик письма покойного профессора Романова, адресованного Сталину. Черновик этот он обнаружил в бумажном кармашке, подклеенном к обратной стороне общей тетради в сафьяновом переплете, которую на днях привез ему из квартиры Романовых полковник Микофин.

Федор Ксенофонтович знал, что старик Нил Романов перед самой войной, прежде чем лечь в госпиталь, послал Сталину какое-то важное письмо и что в ответ последовал из Кремля телефонный звонок, приглашавший генерала Романова к Сталину для беседы. Однако Нил Игнатович уже не вышел из госпиталя... Чумаков полагал, что военный историк Романов в своем письме, как и в беседах с ним, Чумаковым, набрасывал свои оперативно-стратегические концепции будущей войны, высказывал предостережения с учетом немецких военных доктрин и давал советы, как достичь стратегически выигрышного положения на случай внезапной агрессии против СССР.

Но все оказалось до невероятности сложнее и неожиданнее. Федор Ксенофонтович, вспоминая свои последние встречи и беседы с покойным Нилом Игнатовичем, испытывал неловкость и даже обиду оттого, что тот излагал перед ним лишь небольшую часть из всего видевшегося в той военной драме, первые акты которой уже разыгрывались на аренах многих континентов.

Правда, Федор Ксенофонтович ощущал и удовлетворение, что в собственных недавних размышлениях и сам чуть-чуть приблизился к тревогам, томившим перед смертью Нила Романова. Он, генерал Чумаков, пусть без четкой ясности мысли, но ведь тоже думал о том, как бы все сложилось потом в мире, если б Красной Армии сразу же удалось отразить нападение на нашу землю фашистских полчищ и самой вторгнуться в глубь Германии и других стран Европы, находившихся в одной с ней военной коалиции?.. А профессор Романов в движении своих размышлений пошел куда как дальше, переступив, казалось, философские понятия — необходимость и случайность — как формы знания, отражающие существование объективного мира. А может, и не

переступив, если Сталин, получив его письмо, пожелал встретиться с ним?.. Или, возможно, Иосифу Виссарионовичу просто хотелось посмотреть на бесстрашного старого чудака, который предлагал ему советы, не содержащие во многом здравого смысла... А может, и содержащие?.. Или опирающиеся только на случайности, порождаемые нарушением объективно действующих законов? Ведь само имя профессора, доктора исторических наук Романова уже кое-что значило.

Нил Игнатович свое письмо Сталину начал с утверждения абсолютной очевидности: непременно грядет, мол, военное столкновение миров двух социальных систем, в котором должен окончательно решиться вопрос «кто кого». Старый профессор доказывал, что время столкновения назрело, исходя в своем суждении из неожиданного аргумента. Он утверждал, что если после лука и копья люди за определенный отрезок времени пришли к нарезному оружию, пороху и моторам, то, по законам движения человеческой мысли и законам ускорения энергии познания, развитие военной техники будет возрастать; и сейчас человечество якобы достигло порога таких военно-научных открытий, что за ним уже саму войну как форму разрешения межгосударственных конфликтов или социальных самоутверждений будет вести бессмысленно, ибо она является полным взаимоистреблением народов и их обиталищ. Сия истина, мол, прочно уяснена виднейшими учеными всего мира, в том числе и многими советскими учеными, хотя окончательно еще не решены некоторые непростые технически проблемы, связанные с созданием и применением нового вида оружия. И дальновидные политики ведущих капиталистических государств торопят своих правителей быстрее покончить с СССР не только как с революционизирующей весь мир державой, но и как с опасным военным противником, военно-экономические потенциальные возможности которого грандиозно непредвидимы даже самим правительством этого загадочного социалистического государства.

Вникнув в смысл этих размышлений Нила Игнатовича, генерал Чумаков ухмыльнулся их некоторой, как ему казалось, скороспелости, далековатости от сегодняшнего дня, уже гремящего войной, и некоторой оторванности от классовой сущности противоречий внутри буржуазного мира. Но далее профессор стал раскладывать в письме историко-политический пасьянс, опи-

раясь на свои знания истории войн со всеми их закономерностями, случайностями, гримасами, неожиданностями, с влиянием на ход событий тех или иных исторических или неисторических личностей. Нил Игнатович писал, что военный пожар полыхает, перекинувшись из центра Европы в страны Северной и Западной Европы, на Балканы, в Атлантику, Северную Африку и на Средиземное море. В Азии Япония душит Китай, стремится утвердиться в Индокитае. В целом около тридцати государств уже втянуты в орбиту войн...

Близится, мол, черед и Советского Союза. А поскольку Советский Союз единственное народное государство, то от него нужны, по мнению профессора Романова, и особые меры предосторожности. Старый военный историк советовал сделать все необходимое и предельно возможное для дальнейшего укрепления оборонной мощи Советского Союза, но при этом всячески демонстрировать Гитлеру наше миролюбие. Тем более что в СССР еще не было завершено перевооружение армии, не сформированы механизированные корпуса, промышленность только начала перестраиваться на военный лад, в стадии укрепления находился командный состав Красной Армии...

Несомненно, немецкая разведка об этом знает, и перед Гитлером стоит дилемма: нападать на Англию или на Советский Союз? Если на Англию, оставив СССР в покое, то через год-полтора Советский Союз укрепится до такой степени, что трогать его будет уже небезопасно. Гитлер это понимал. Вторгаться же одновременно в Англию и в СССР — от этого предостерегали уроки прошлого: война на два фронта приводила Германию к катастрофам. И сейчас Гитлер вместе со своим генштабом, по мнению Нила Игнатовича, томился в нерешительности. Ведь фашистская Германия уже добилась крупных военных успехов, последовательно оккупировав девять европейских государств и установив там нацистский «новый порядок»; в итоге этого Англия осталась без своих европейских союзников и была значительно ослаблена после катастрофы под Дюнкерком. Куда направить Германии свою дальнейшую агрессивную поступь?

Далее профессор Романов писал: «Высокочтимый Иосиф Виссарионович! Вам некогда тратить свое государственное время на чтение такой мерзопакостной книги, как «Майн кампф» Гитлера. Я же по долгу своей

деятельности, своего призвания в науке вынужден был просмотреть ее — в оригинале. Не отвлекаясь ни на частности, ни на всеобщности, скажу главное: каннибализм — фундамент этой книги. Но сейчас — о том, что касается сегодняшнего дня. Гитлер в своей книге пишет:

«Не надо допускать до того, чтобы современные политические границы затмевали нам границы вечного права и справедливости... Конечно, никто не уступит нам земель добровольно. Тогда вступает в силу право на самосохранение нашей нации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чего нельзя получить добром, то приходится взять силой кулака... Приняв решение раздобыть необходимые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России...»

Чумаков, перелистнув страницу, подумал о том, что вряд ли Сталин не читал эти направленные против нас писания Гитлера.

«Для такой политики, — цитировал далее профессор Нил Игнатович Романов, — мы могли найти в Европе только одного союзника — Англию. Только в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы могли бы начать новый великий германский поход... Никакие жертвы не должны были показаться нам слишком большими, чтобы добиться благосклонности Англии...»

И еще далее Гитлер писал:

«Политику завоевания земель в Европе Германия могла вести только в союзе с Англией против России, но и наоборот: политику завоевания колоний и усиления мировой торговли Германия могла вести только с Россией против Англии...»

«Вы не хуже меня знаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что Гитлер навязывал тов. Молотову антианглийские переговоры во время посещения нашей делегацией Берлина. Вячеслав Михайлович с мудрой решительностью отверг их... Теперь Гитлер послал в Англию Гесса с миссией, тайну которой разгадает и младенец».

И профессор Романов убеждал Сталина не верить никаким миролюбивым заверениям Гитлера и никаким «доброжелательным» предупреждениям Черчилля, если таковые последуют. Черчилль жаждет войны Германии против СССР как спасения Великобритании не только от немецких бомбардировок, но и от погибели вообще и уповает на «благоразумие» Гитлера, который после освободительного похода Красной Армии в Западную

Украину и Западную Белоруссию и после военного столкновения Советского Союза с Финляндией получил новый «повод» охаивать внешнюю политику СССР и восстанавливать мнение народов капиталистических стран против нас, надеясь, что завоюет симпатии к своей политике со стороны буржуазного мира. Следовательно, неотвратимо грядет нападение Германии на Советский Союз. И тут Гитлер допустит роковую ошибку: войну с СССР он проиграет... Должен проиграть... А вот если Германия нападет на Англию, потерявшую в Европе своих союзников, то скорое сокрушительное поражение последней неизбежно. Однако, по мнению профессора Романова, гибель Англии, возможно, грозит в будущем опасными последствиями и для Советского Союза.

Федор Ксенофонтович, казалось, даже задохнулся от столь неожиданного поворота мыслей профессора Романова и заторопился вопрошающим взглядом по угловатым строчкам письма, ощущая нетерпение скорее разобраться в главной его сути, убедиться, что в письме действительно не фантазии больного ученого, не абсурдные мысли его воспаленного мозга, а наличие какого-то здравого смысла, постичь который он, генерал Чумаков, пока не был в силах.

Письмо читалось с трудом, ибо было правлено-переправлено; иные зачеркнутые фразы, казалось, противоречили вновь написанным; слова, заменяющие друг друга под пером Нила Игнатовича, в конечном итоге просветлялись, усиливая мысль и придавая ей отточенную завершенность.

В голове Федора Ксенофонтовича постепенно будто рассеивался мрак, он стал четче представлять себе все те военно-политические сложности, которые виделись и покойному профессору Романову во взаимоотношениях между скопищем европейских государств, оказавшихся под сапогом фашистской Германии или ощутивших жар от огня ее военных посягательств.

В итоге генерал Чумаков уже готов был согласиться со своим бывшим учителем и военно-научным наставником, видя в его суждениях, обращенных к Сталину, казалось, вполне здравый смысл.

А в письме Нила Игнатовича говорилось далее:

«...Подписав в 1939 году советско-германский договор о ненападении, Советское правительство лишило заправил империалистического Запада надежд на скорое

военное столкновение СССР и Германии. Это был мудрый шаг правительства, предотвративший образование единого фронта империалистических держав против СССР. Но согласно договору подписавшие его не должны участвовать в группировках, направленных против одной из договаривающихся сторон, хотя всему миру известно, что так называемый Берлинский пакт — тройственный военно-политический союз Германии, Италии и Японии — направлен непосредственно против СССР. Чутье подсказывает мне, что нынешние заправилы Финляндии тоже не смирились с поражением своей страны в столкновении с СССР... Найдутся у Гитлера и другие союзники в Европе — по причинам своей военной слабости, угодливости их правительств и страха перед своим пролетариатом.

Из всего вышесказанного следует: СССР не должен при наличии Берлинского пакта во всех отношениях выполнять его условия и, если не поздно, вновь и вновь принимать срочные и активнейшие меры для создания антигитлеровского военного блока; его основой должны явиться СССР и Англия... Если делать это уже поздно, то надо приготовиться к военному противоборству с фашистской Германией немедленно... И вести себя таким образом, чтобы фашистская Германия не решалась нападать на Великобританию...»

Далее профессор Романов, анализируя военно-политические и географические условия, довольно убедительно доказывал, что если в этом году Гитлер бросит на Англию свои военно-морские и военно-воздушные десантные войска, то он, несомненно, без особых жертв захватит ее. Затем последует захват Германией Ближнего Востока и выход фашистских войск к нашему Закавказью — к Баку с его нефтеносными районами. И не может быть также никаких сомнений, что реакционные правительства Турции, Ирана, Египта немедленно пойдут на сговор с Гитлером... Не замедлит выступить против СССР и Япония... Таким образом, не исключена ситуация, что уже в 1942 году Советский Союз, пусть окрепший в военном отношении, окажется в полном одиночестве против всего буржуазного мира. А он, буржуазный мир, покорно склонит голову перед военной мощью фашистской Германии и будет поступать по ее указке... Пока только трудно предугадать, как поведут себя Соединенные Штаты Америки...

И опять засомневался Федор Ксенофонтович: так ли

все это?.. Да и слишком поздно послал это письмо Сталину профессор Романов — за несколько дней до начала войны... Зато сейчас есть возможность примерить суждения и оценки, содержащиеся в письме, ко всему тому невероятно сложному и кроваво-трагичному, что происходило в мире, особенно на советско-германском фронте...

В дверь палаты постучали, и тотчас она открылась. В дверях встал, прищелкнув каблуками и широко улыбаясь, Семен Микофин. Федор Ксенофонтович ахнул: он сразу заметил на Микофине генеральскую форму — большие с золотыми звездами угловатые петлицы на гимнастерке и красные лампасы на синих галифе.

— Разрешите представиться по случаю присвоения генеральского звания! — Глаза у Микофина светились довольством и озорством.

— Бог ты мой! Ослепнуть можно от такого великолепия! — воскликнул генерал Чумаков.

Семен Микофин своим аккуратным и обновленным видом напоминал двухцветный неподточенный карандаш. Даже заметно облысевший, выглядел он в генеральской форме как-то по-особому стройно, ладно, солидно и представительно, хотя улыбчивое, с глубокими морщинами у рта лицо его излучало прежнюю напускную строгость, за которой сквозили доброжелательность и доброта.

— Поздравляю, Семен! — Чумаков спустил ноги с кровати, не глядя нащупал ими тапочки и протянул Микофину руки для дружеских объятий.

— Федор, я к тебе по срочному и секретному делу, — прервал Микофин излияния радости Чумаковым. — Сейчас к тебе явится так называемый майор Птицын...

— Птицын?.. Знакомая фамилия.

— Ты передавал своей семье записку через него с фронта.

— А-а, помню! Был он у меня инструктором по подрывному делу, когда из окружения пробивались, — пояснил Федор Ксенофонтович.

— Был он у тебя немецким диверсантом! — огорошил Чумакова Микофин. Видя потрясенность Федора Ксенофонтовича, продолжил: — Шпиона ты приютил в своем штабе. Дал ему респектабельно обжиться... — В голосе Микофина жестко просквозил упрек, а на лице со сдвинутыми бровями отразилось суровое неудоволь-

ствие. — Меня попросили предупредить тебя, прикрыть от случайности и... и, вообще, помочь закрепить бывшего графа на крючке наших контрразведчиков. За этим я и примчался, хотя своей работы по кадык.

— Они знают? — одеревеневшим голосом спросил генерал Чумаков, поняв, о сколь серьезном идет речь.

— Знают... Ты скажи мне, где ты выучился немецкому языку?

— В автобиографии я же писал: был в детстве батраком у немцев-колонистов на юге Запорожской области.

— Бестолково написал, — тревожно хмурился Микофин. — Все у контрразведчиков сбежалось сейчас вместе: признал тебя немецкий генерал Шернер, в твоем штабе свил гнездо абверовец, ты откуда-то знаешь немецкий...

— У тебя тоже есть сомнения? — Федор Ксенофонтович встал и одной рукой судорожно начал надевать на себя халат. — Ты в чем-то сомневаешься, Семен Филонович?..

— Я полагал, ты с Шернером в Испании познакомился...

— Да нет же! На киевских маневрах, когда он, тогда полковник чешской армии, ногу сломал. А меня временно приставили к Шернеру переводчиком.

— Вот как?! — заинтересованно удивился Микофин. — Я не знал этих подробностей. И вдруг встреча с ним на фронте?

— В плен он попал к нам...

— Ладно, доскажешь потом! — Микофин призывал генерала Чумакова к спокойствию. — Не надо одеваться! — И он, взяв у Федора Ксенофонтовича халат, кинул его на спинку кресла. — Сейчас постучится этот майор... Нам следует вести какой-то нейтральный разговор... Но чтоб не напугать его. — Микофин кинул взгляд на наручные часы: — Потом дежурный врач выдворит нас из палаты вместе с ним, а ты попроси меня, чтоб я подвез этого Птицына до Москвы... Он ведь добивается приема у полкового комиссара Лосика... Ну ты не знаешь... Кадровик из Главпуркка.... Дальше — моя работа...

— Но как быть с подозрениями, павшими на меня? — Федор Ксенофонтович чувствовал в груди тошнотное теснение.

— С тобой — в норме. Пришлось показывать особистам личное дело, рассказать все то, что я знаю о твоей милости... Но тут, понимаешь, еще всплыли доносы на тебя этого Рукатова... Тоже пришлось наждаком пройтись по ним.

— Рукатов... — Чумаков горестно вздохнул. — Я убежден, что, если б подобные рукатовы не были уверены в нашей победе над фашистской Германией, они бы немедля бросились в объятия Гитлера... Рукатовым важно хоть на ступеньку подняться выше в своем воображении, а чья эта ступенька, что она значит — им наплевать.

— Верно мыслишь, Федор, — согласился Микофин. — Поднявшись даже на ступеньку выше в должности или в звании, иные вдруг начинают воображать, что предстали перед человечеством в новом облике. Забывают, что разум, сердце, потребности у них те же... А пыжатся. Ну, верно, расширился круг обязанностей, ну, может, еще прав... И если при этом надо усиливать напряжение вещества за лобной костью, то не тщись расширить зад до границ кресла, которое тебе еще велико!..

В коридоре послышалось шарканье ног, и Микофин вдруг заволновался:

— Давай менять тему разговора! Ничем не выдай этому Птицыну своей осведомленности.

— Будь спокоен, — шепотом сказал Чумаков.

Но шум за дверью утих, а разговор двух друзей потерял прежнюю направленность.

— Что это у тебя? — спросил Микофин, указывая на лежавший на кровати поверх одеяла черновик письма покойного профессора Романова.

— Ты не читал?! — оживился Чумаков. — Интересно мыслит Нил Игнатович. Давай просвещу тебя!

Когда генерал Чумаков заканчивал читать письмо, дверь палаты без стука открылась, и уже по одному этому можно было догадаться, что вошел кто-то из медицинского персонала. Действительно, в проеме двери стояла в белом халате грудастая женщина с рыжими волосами, скупо выбивавшимися из-под белой косынки.

— Товарищ генерал, — обратилась она спокойно-милым голосом к Чумакову, — к вам еще один посетитель. Но... извините, через пять-шесть минут мертвый час, а потом процедуры. Так что на сегодня... извините.

Из-за ее спины выглядывал чуть растерянный «май-

ор Птицын». Его взгляд как бы смотрел в пустоту, а крутой излом бровей будто выражал недоумение. Медсестра ушла, а «майор Птицын» все стоял в дверях, и Федор Ксенофонтович, заметив мешки под глазами на его продолговатом лице и подрагивание мягких ноздрей, угадал страх в сердце диверсанта, растерянность перед двумя генералами и поспешил ему на помощь:

— Майор, это вы?..

— Так точно! Майор Птицын! — Он с какой-то детской радостью вошел в палату.

— Вы тоже в этом госпитале?

— Никак нет! — И «Птицын» сжато рассказал свою одиссею, происшедшую после того, как расстались они на вокзале в Могилеве.

— Ну, рад вас видеть, — с видом искренности сказал Федор Ксенофонтович. — Посидите, мы закончим читать один документ... — И Чумаков продолжил читать письмо профессора Романова, уже про себя потешаясь над тем, с каким вниманием вслушивался в каждую его фразу «майор Птицын», полагая, что присутствует при открытии тайны тайн.

Генерал Микофин как бы угадал внутреннее состояние Чумакова и, когда тот закончил читать письмо, с видом большого глубокомыслия заключил:

— В своем письме товарищу Сталину профессор Романов запутался в трех философских соснах. А сосны эти растут на утесе, с которого мы с тобой, Федор, в академии ныряли в волны диалектического материализма и не раз ломали шеи. Я имею в виду наши мудрствования о случайности как проявлении закономерности. Помнишь, ставили, например, вопрос: случайно ли, что родился Наполеон и именно на острове Корсика, откуда бежал во Францию?..

— Да нет же! — возразил Чумаков. — Тут о более конкретном.

— Это так тебе кажется. Старик Романов часто забывал, что необходимость «образуется» из массы случайностей. По Энгельсу, в природе и в обществе случайное необходимо, а необходимое так же случайно. Но случайность всегда подчинена внутренним скрытым законам...

«Майор Птицын» ничего не успел выудить для себя из этого философского диалога, как в дверях появилась уже знакомая рыжеволосая медсестра и строго изрекла:

— Товарищи военные, прошу прогуляться на воздух... Я имею в виду гостей.

— Семен Филонович, — обратился Чумаков на прощание к Микофину, — ты, надеюсь, на машине?

— Разумеется. «Эмка» ждет.

— Подвези майора Птицына до Москвы.

— Пожалуйста. Приглашаю, товарищ майор...

По дороге в Москву граф Глинский получил от генерала Микофина записку к полковому комиссару Лосику с просьбой направить «майора Птицына» в действующую армию на должность начальника издательства армейской газеты. Все происходило точно по плану, разработанному армейскими контрразведчиками, цепко державшими под наблюдением абверовского диверсанта.

21

Под рассекающий, направленный на Смоленск удар танкового клина немцев посчастливилось не попасть поредевшим частям мотострелковой дивизии полковника Гулыги. Поспособствовал этому раненый генерал Чумаков. Узнав в Смоленске от начальника гарнизона полковника Малышева, что городу угрожает реальная опасность захвата немецкими моторизованными частями, он тут же послал к полковнику Гулыге гонца с письменным приказом пробиваться из вражеского тыла не на север — к Смоленску, а на юго-восток. Но если бы этот приказ — хоть днем раньше!.. А гонцом был, на свою беду или на счастье, младший политрук Миша Иванюта.

Миша обзавелся в смоленской военной комендатуре автоматом, биноклем, пятнистой немецкой плащ-накидкой и мощным трофейным мотоциклом БМВ с коляской. Взяв у полковника Малышева «мандат» — справку, в которой значилось, что ее обладатель выполняет важное задание, положив в коляску пачку листовок со сводками Совинформбюро и канистру с горючим, он на ночь глядя умчался по Краснянскому шоссе на юг. Это была немыслимо тяжкая поездка — навстречу нашим обозам, автоколоннам, толпам беженцев и раненых красноармейцев. А перед деревней Хохлово, в которой уже шли уличные бои, пришлось по бездорожью уклониться к Днепру, чтоб не столкнуться с немцами.

Выручало Мишу знание местности на десятки километров вокруг Смоленска, особенно знание днепровских

берегов. Он вел мотоцикл, не включая фары, через хлебные поля, слыша, как дробно барабанили по металлу коляски переспелые зерна ржи и пшеницы, пробивался сквозь густую и блеклую голубизну льнов, податливо никших под колесами мотоцикла, мчался по слабо проторенным полевым дорогам и по случайным тропинкам. Неуютно чувствовал себя под ночным небом. Оно озарялось вокруг вспышками ракет, пронзалось пулеметными строчками трассирующих пуль, полыхало багрянцем далеких и близких пожаров; казалось, война заполнила все пространство. А Иванюта ехал и ехал, не нарываясь пока ни на врага, ни на своих, которых при его амуниции и вооружении тоже надо было опасаться. Дважды Мишу обстреляли, когда преодолевал он колдобины на гребне заросшего мелколесьем темного оврага. Но уловил только взвизги пролетевших над головой пуль, а выстрелов не услышал.

Если сказать честно, то Мише было не по себе. Он боялся близившегося дня, когда будет виден с больших дорог, страшился неожиданно оказаться в расположении немцев. И не только потому, что политработников и коммунистов фашисты расстреливали на месте. Плен — это конец всему... И в то же время острое ощущение опасности и важность задания, которое выполнял Миша, как-то по-особому возвышали его в представлении о самом себе, рождали гордое довольство тем, что он вот так, в одиночестве, пробирается по территории, дороги и населенные пункты которой запружены врагом, рискуя жизнью, подавляет в себе унизительный страх, непрерывно испытывает готовность вступить в бой и, если другого выхода не будет, не пощадить себя. Удивительно, что, когда в прошлом году их курсантский батальон где-то в этих местах проводил тактические учения и он, Миша, во главе взвода подползал в ночную темень к траншее условного противника, ему тоже казалось, что совершает нечто героическое, от чего испытывал боевой азарт.

В сущности, и тогда, и сейчас в Мише Иванюте действительно пульсировала неутолимая жажда приключений, подвига, желание совершить нечто такое, чтоб все удивились этому, а он, Миша, чтоб тайно от всех, с видом безразличия испытывал то чувство, которое возвеличивает молодого человека в собственных глазах, делает его взрослее, серьезнее и очень нужным для всего уклада армейской жизни.

Миша ехал почти до рассвета, пока не почувствовал, что мотоцикл плохо слушается его, а глаза слипаются от сна. И он, оказавшись на краю глубокого, заросшего крушинником оврага, остановился, беспомощно огляделся вокруг и увидел невдалеке черневшие шапки стогов сена. Подъехал к одному из них, несколькими охапками забросал мотоцикл и улегся на повлажневшую за ночь луговую овсяницу, смешанную с житняком. И будто родной Украиной повеяло на него от этих с детства знакомых духмяных трав.

...Проснулся Миша от гула бомбежки. Вскочил на ноги, почувствовав во всем теле непрошедшую усталость и ломоту в пояснице. Первое, что увидел, — молочный туман над недалеким оврагом и над лужайками между стогами сена. Казалось, что кто-то расстелил рваную, сотканную из белесой паутины полупрозрачную кисею. Глядя на это волшебство в природе, он на мгновение позабыл о притихшей, будто приснившейся, бомбежке, не в силах ни двигаться, ни мыслить. Но тут же к его слуху прикоснулся приглушенный далью шум моторов, и он увидел в той стороне, куда должен был продолжать путь, темную опояску леса, а над ним, в блеклом, наливающемся солнцем небе, стайку круживших и пикировавших на какую-то цель самолетов; издали они казались черными летающими крестиками.

Достав из планшетки карту, Миша развернул ее, но она была для него немой: он не знал, в каком месте находится, и сориентироваться не мог. Оглянулся назад и увидел за краем сбегавшего в овраг кустарника далекую излучину реки... Днепр?.. Поразмыслив, еще раз всмотрелся в карту и прикинул в уме, сколько он мог проехать за короткую июльскую ночь по полям и оврагам, пригляделся к цветной шкале на нижнем срезе карты и решил, что утро застало его примерно в тех местах, где уже можно искать части дивизии полковника Гулыги. Впереди, если верить карте, был зажат высотами один из притоков Днепра с бесчисленными изгибами, поворотами и заросшими лозняком берегами. Не исключено, что там, за лесом, переправлялась через приток какая-то наша воинская часть, оттесненная с ведущих на Смоленск дорог, и немецкие самолеты бомбили ее.

Через минуту младший политрук Иванюта вновь вел своего трофейного «коня», держа направление туда, где кружили в небе вражеские самолеты. Ему пока со-

путствовала удача: он наткнулся на идущую в сторону от Днепра полевую дорогу и поехал быстрее, хотя холодок страха, когда дорога куда-то поворачивала, тиранил его сердце, заставлял останавливаться, прислушиваться и прикладывать к глазам бинокль.

Вскоре лес расступился, и Миша выехал на широкую прогалину с болотцем посередине, на котором густо зеленела осока и курчавились редкие кусты ольшаника. Дорога ровно пересекала прогалину, перемахивая через болотце по плотному жердевому настилу из стволов молодых березок. Миша внимательно осмотрел в бинокль настил, противоположную опушку леса и увидел сгоревший грузовик на обочине дороги при въезде в лес. Что-то чернело и за ольховым кустом в болотце.

Было тревожно. Где-то впереди татакали пулеметы, стреляли пушки. А здесь — пустынность и настораживающая, чем-то угрожающая тишина. Но делать было нечего, и Миша решил на полном ходу перемахнуть через прогалину... Когда оказался на середине жердевого настила, то за ольховым кустом увидел перевернутую телегу с впряженной в нее убитой лошадью. Тут же у телеги лежали два мертвых милиционера. Их окровавленные синие гимнастерки были густо облеплены мухами. Чуть дальше, в осоке, краснела косынка на голове убитой молодой женщины.

Остановив мотоцикл, Миша осмотрелся. Воронок от бомб нигде не было видно. Значит, «мессершмитты» прихватили телегу на открытом месте... Затем внимание его привлекли продырявленные пулями небольшие парусиновые мешки, вывалившиеся из телеги на покрывавший их брезент. На некоторых мешках виднелись крупные свинцовые пломбы с гербовыми оттисками, а из одного, наискосок рассеченного пулей, выпали на примятую осоку какие-то пачки в обертках с красными полосками...

«Деньги! — обожгла Мишу мысль. — Огромное количество денег!» Сроду он не видел подобного.

Сойдя с мотоцикла, Миша приблизился к телеге.

«Государственный банк Белорусской ССР», — прочитал черную, будто выжженную, надпись на приклеенной к верхнему мешку белой картонке. С оторопью и даже со сбоем дыхания посмотрел на распоротый мешок: пухлые пачки сотенных купюр, крест-накрест обклеенные краснополосной бумагой... Мишу некстати

обожгли мысли о своем убогом прошлом, и спазм сдавил горло от вдруг родившейся жалости к самому себе. Вспомнилась беспросветная сиротская нужда, которую всегда испытывал, вспомнил, как в летние каникулы зарабатывал себе на школярскую одежду, на столь желанный в пору юношества белый костюм из льняной рогожки... Мелькнуло в памяти, как продавал на толкучке купленное ему в складчину братом и сестрой пальто: Миша получил повестку о призыве его в армию и избавлялся от пальто, как уже от ненужной вещи, горячо мечтая купить на вырученные деньги наручные часы... Первые часы в его жизни! Но потом и их пришлось продать, ибо призыв на армейскую службу отложили до поздней осени и ходить без пальто уже было невозможно... Или жалкие сорок рублей курсантского довольствия, которые скупо тратил в училищном буфете на ситро и белые булочки. Мелькнула мысль, что не успел он получить и свою первую зарплату; в кармане у него завалялось несколько мятых трехрублевок... А здесь несметное богатство!.. И мертвые люди, спасшие его от врага.

Что же ему делать? Миша оглянулся в сторону мотоцикла, ища ответ на со всей очевидностью вставший перед ним вопрос и уже наперед зная этот ответ. Выбросить из коляски объемную пачку листовок со сводками Совинформбюро? Ведь устарели последние известия?.. Нет! «Литературу отправлять на фронт срочно, наравне с огнеприпасами!» — вспомнилось ему читаное правило времен гражданской войны...

Да, не было такой ситуации, из которой бы он, младший политрук Михайло Иванюта, не находил выхода! Не зря в училище иногда дразнили его «хитрым хохлом»... Взгляд упал на ременные вожжи. Тут же проворно и умело отделил их от остальной конской упряжи, а потом начал плотно втискивать мешки с деньгами в коляску мотоцикла, укладывать и крепить их на заднем сиденье, на плоском топливном баке и поверх коляски, используя как опору приспособление для зажима ручного пулемета. Вожжами плотно привязал мешки к мотоциклу, и трехколесная машина превратилась в ни на что не похожее чудище с проемом для водителя над передним сиденьем.

Миша уже собрался было заводить мотор, как ему вдруг подумалось: если он наткнется на чужую воинскую часть, то его ведь могут принять и за грабителя

банка. Вполне могут!.. И даже весело стало Мише от этой здравой мысли, которая как бы повернулась к нему и другой стороной: а если бы деньги в самом деле оказались личной его собственностью?.. Что бы он стал с ними делать? Но размышлять было некогда...

От убитых уже несло тошнотным трупным запахом. В полевых сумках милиционеров никаких документов, относящихся к деньгам, не оказалось. А ведь должны быть! Без них Мишу действительно могли заподозрить в недобром деле. В коричневом ридикюле погибшей женщины он нашел засургученный пакет с надписью: «Денежное поручение на сумму...» У Миши даже зарябило в глазах от нулей...

Хороший мотоцикл сработали немцы. Пусть низко просела под большой тяжестью подвеска, пусть перегруженная коляска временами опасно кренила машину, но БМВ послушно шел вперед, плавно переваливался через корневища, выпиравшие из земли на лесных дорогах, взвывал мотором на заболоченных участках. Упершись грудью в кипу на топливном баке, Миша с трудом дотягивался руками до руля. Он был прикрыт почти со всех сторон непробиваемой пулями защитой из плотных пачек бумажных денег. Это его несколько и ободряло, но опасность все-таки подстерегала младшего политрука на каждом шагу, и к тому же он помнил, что выполняет важное задание генерала Чумакова — удивительного человека, за которого он, Миша Иванюта, готов положить голову. Где он сейчас, генерал Чумаков? Где Колодяжный, Жилов, Рейнгольд?..

То ли читал где-то, то ли от кого-то слышал Миша, что нет печальнее чувства, чем чувство одиночества сердца. Будто и нарочитая красивость звучит в этих словах, ибо ведь сердце действительно одиноко в груди, и в то же время слышится в них правда, так как не всегда это одиночество сердце ощущает, особенно если рядом с тобой дорогие тебе люди, родные души, понятные и благородные натуры.

Хотя мотоцикл нес его дальше через лес, Мише все чудился тошнотный запах от погибших милиционеров. Может, поэтому он так торопился там, когда обыскивал их, чтоб найти какие-то сопроводительные документы на деньги, груженные в телегу. Да, а почему деньги везли в телеге?.. Чтобы легче пробиться на восток через леса и болота?.. Возможно... Так вот, что-то сдерживало тогда Мишу: забрать с собой, как полагалось, удостове-

рения личностей и партбилеты погибших, а у убитой женщины — паспорт. Забрать — значит сделать их неизвестными... К тому же он не мог, не имел времени похоронить трупы, да и не было чем выкопать могилу, не из чего поставить на ней знак, чтоб действительно не оказались эти, пусть и чужие ему люди бесследно исчезнувшими из жизни. Кому-то другому придется хоронить их — он в это верил: скоро отодвинется война на запад, он тоже в это верил, и можно будет воздать должное тем, кто отдал жизни как герои или как невинные жертвы войны.

Скорбные его мысли перекинулись на самого себя. Кажется, впервые столь реально подумал он о том, что ведь тоже может, как уже много раз мог, лишиться жизни внезапно, неожиданно — от вражеской автоматной очереди, от выстрела из-за любого куста... Этот выстрел мог последовать и по злой воле дезертира (встречались и такие), которому потребуются хотя бы этот трофейный мотоцикл, оружие, чужие документы.

Вот тут-то, на влажной дороге, в тряске мотоцикла и в оглушающем рокоте его мотора, в мрачности и пустынной таинственности леса, Миша понял, что чувство одиночества сердца — это не пустые печально-красивые слова, а ощутимая тяжесть души, тоскливое теснение в груди, когда жизнь кажется натянутой до предела и любой звук, любая неожиданность способны откликнуться смертным холодом во всем теле. Его нервы, о существовании которых Миша редко, по своему беспечному нраву, вспоминал, были наструнены до окаменения мышц, в его мыслях виделись убитые милиционеры и та милая женщина, из ридикюля которой он изъял банковские документы.

Злой прихотью воображения Миша Иванюта переносился на их место, мысленно видел себя растерзанным вражескими пулями или осколками, представлял, как чужие люди хоронят его в безвестной братской или одиночной могиле, холмик которой со временем сровняется с окружающей местностью, и никто никогда не узнает, куда исчез младший политрук Миша Иванюта, где именно оборвалась его хлопотливая жизнь, никто не задумается над тем, что перед ним, Мишей, простирались в мечтах заманчивые дороги, что его фантазия обуревалась неохватными и радужными перспективами... И вдруг... ничего... Будь проклят фашизм, будьте прокляты те, кто двинул орды захватчиков на советскую

землю!.. Нет, смерть не для Михаила Иванюты! Он еще поборется за жизнь — за свою собственную и за жизнь тех людей, с которыми судьба побратала и еще побратает его... Только не оказаться бы жертвой злого случая...

А злой случай, как дурной сон, уже караулил Мишу Иванюту, ждал его впереди, где полковник Гулыга группировал в единый кулак сильно поредевшие части и подразделения своей обескровленной дивизии. Полковник надеялся сбить немцев с магистрали Хиславичи — Смоленск и, как вначале было приказано Чумаковым, продолжить отступление к Смоленску, которое должна была прикрыть обреченная на погибель артиллерийская группа под командованием майора Быханова при поддержке сводной пулеметной роты.

На один из полевых караулов, которые окольцевали разбросанные в овражистом лесном массиве остатки частей полковника Гулыги, Миша наткнулся после того, как удачно пересек захваченное немцами Краснянское шоссе, перемахнул еще через какие-то дороги и переправился по хлипкому мостику на речке Вихра.

Как и полагалось, полевой караул, когда Миша объяснил часовому сторожевого поста, что не знает и не мог знать пароля (пропуска), отконвоировал его к начальнику полевой заставы. Начальником оказался знакомый Мише командир мотострелковой роты одного из полков дивизии — старший лейтенант со звучной фамилией Вышегор. Он действительно отличался высоким ростом, лицо у него было тощее и скуластое, небольшие серые глаза смотрели остро и недоверчиво. Вышегор был тяжело усталым и заспанным. Признав в Мише политотдельского младшего политрука и услышав от него, что везет он полковнику Гулыге важный приказ от самого генерала Чумакова, а также доставляет в штаб какой-то очень ценный груз, приказал вернуть ему автомат, наган и показал по карте, где искать полковника Гулыгу.

Миша продолжил на мотоцикле путь, уже точно ориентируясь при помощи топографической карты на местности. Через десяток минут езды Иванюта свернул с полевой дороги в лес, увидев там среди деревьев крытые штабные машины. Подрулив к бронеавтомобилю с антенной, догадываясь, что на нем ездит полковник Гулы-

га, Миша остановил мотоцикл и отдал честь первому, кого увидел из знакомых — рыжеусому капитану Пухлякову, начальнику особого отдела дивизии, который сидел на пне и что-то писал в блокноте. Пухляков обрадованно поднялся ему навстречу, подкрутил вверх усы и дружески стиснул руку. Затем не без профессионального интереса спросил:

— Ну где ты, пан Иванюта, пропадал, если не секрет?

— Секретов никаких, — беспечно ответил Миша. — А рассказывать есть о чем: даже не поверите.

— Так рассказывай, не томи!

— Надо вначале приказ генерала Чумакова вручить. Лично полковнику Гулыге.

— Дайте старику поспать! — вмешался в разговор проходивший мимо майор Рукатов, услышав фамилию командира дивизии — своего тестя.

— Приказ экстра-срочный! — не без рисовки уточнил Иванюта.

— Ну тогда иди и сам растормоши его, если такой храбрый! — насмешливо подзадорил Мишу Рукатов. — Полковник после бомбежки действительно спит мертвецким сном.

Затем Рукатов обратил внимание на скособочившийся под грузом мотоцикл Иванюты, обошел вокруг него, а капитан Пухляков спросил у Миши:

— Сухой паек привез для штаба?

— Если сухая колбаса, то это дело. — Рукатов засмеялся. — Одной вяленой сосиски, если грызть ее в пешем строю, хватает на три километра.

Миша снисходительно хохотнул на пустые догадки начальства и, предвкушая то впечатление, какое сейчас произведет на всех своим сообщением, самодовольно сказал:

— Это, товарищи командиры, не что иное, как советские деньги... Каждый мешок набит пачками сотенных бумажек! — и коротко объяснил, как все было с деньгами.

— Ну, младший политрук! — крайне изумился капитан Пухляков, ощупывая привязанные к мотоциклу парусиновые мешки. — Придется о тебе докладывать аж в Москву. Как пить дать получишь боевой орден.

— А это что? — спросил притихший и даже побледневший от непонятного волнения Рукатов, указывая на

мешок, из которого сквозь рваную продолговатую дыру выпирали, став торчком, плотные пачки денег.

— Пуля, наверное, распорола, — беспечно ответил Иванюта, закуривая папиросу из пачки «Казбек», дружелюбно протянутой ему Пухляковым.

На выцветших до серости петлицах Рукатова прямоугольников не было, а виднелись только по три менее выцветших следа от них — свидетельство о недавнем его разжаловании из подполковников в майоры. Он еще раз обошел вокруг мотоцикла, пощупал выпиравшие в дыру пачки и, будто про себя, сказал:

— Так, говоришь, пулей распороло?

— Не осколком же, — простодушно ответил Миша. — Вокруг телеги не было ни одной воронки.

— Зачем же ты этот, дырявый, сверху положил? — И Рукатов похлопал ладонью по груботканой хребтине мешка.

— Последним оказался под рукой.

— Ага, последним? — Рукатов пытался придать своему голосу ласково-ерническую интонацию. В словах его будто звучало доброжелательство к Мише. Он подошел к Иванюте вплотную, дружески положил руку на его плечо и с пытливой остротой посмотрел ему в глаза: — Сознайся, младший политрук, припрятал себе несколько пачек? — Он указал глазами на полевую сумку Иванюты. Затем спросил еще: — Или где-нибудь в глухом местечке закопал мешочек? А-а?.. На авось...

Мише показалось, что жизнь вокруг внезапно оборвалась, погрузив его в мерзкую тишину. Мерзкую и даже померкшую от того, что его будто ударили по лицу, плюнули ему в глаза, в душу, в самое сердце. Вопросы и подозрения Рукатова были тем более обидны для Иванюты, ибо, когда по пути сюда он вспоминал свое нищенское прошлое, в нем действительно где-то зрела гаденькая мысль: не взять ли себе пачку денег на случайные расходы в вознаграждение за то, что он спасает целые мешки? Но не позволил созреть этой мысли до конца, с содроганием устыдившись ее и окатив себя в душе ругательными и презрительными словами... А тут вдруг ему в глаза, прямо и откровенно, высказывают гнусное подозрение...

— Сука-а! — противным, сиплым голосом заорал Иванюта и, схватив Рукатова за грудки, встряхнул его. Но Рукатов был телом поувесистее Миши, и он, Миша, почувствовав недостаток сил в своих руках, охваченный

яростью, вдруг остервенело залепил Рукатову оглушительную оплеуху, от которой тот отлетел на несколько шагов. — Сука!.. Сволочь поганая! — В хриплом голосе Миши сквозила душевная боль и звучал страх, что он осмелился поднять руку на старшего по воинскому званию начальника, а это значило — совершил преступление. — Думаешь, все такие, как сам?! Думаешь, не видим твоей гадкой трусости, твоего симулянтства под крылышком тестя?! — Миша, оказывается, откуда-то знал «родословную» Рукатова.

Рукатов с искаженным злобой лицом кинулся на младшего политрука, выхватывая из кобуры пистолет. Миша тоже ухватился за наган, к великому своему счастью позабыв, что на груди у него наготове к бою висел немецкий трофейный автомат.

Все произошло так неожиданно и так невероятно по своей сущности, что капитан Пухляков, находясь тут же рядом и будучи спортсменом, не успел схватить за руки Иванюту, зато сумел ногой выбить у Рукатова пистолет, опередив на долю секунды выстрел из него, который, вероятно, должен был оборвать Мишину жизнь.

Пистолет Рукатова, вышибленный из его руки Пухляковым, отлетел в сторону, ударился о темный ствол старой ели и, вновь вставший, как и должно быть, после выстрела на боевой взвод, выстрелил от удара опять... И тут же в кузове недалекой машины кто-то истошно закричал: очередная пуля все-таки нашла себе безвинную жертву.

Откуда-то из глубины леса прибежали полковник Гулыга и подполковник Дуйсенбиев. Оба заспанные, с усталыми до черноты и небритыми лицами. Сбегался к месту происшествия штабной люд.

Ни Рукатов, ни Иванюта не были в состоянии объяснить что-либо: их обоих еще колотило от бешенства. Сбивчиво рассказал начальству суть происшедшего капитан Пухляков.

— Дурачье, дурачье... — горестно качал головой полковник Гулыга. — Военному трибуналу даете работу...

— Товарищ полковник, я доставил вам приказ генерала Чумакова, — наконец доложил чуть пришедший в себя младший политрук Иванюта. Он достал из полевой сумки маленький пакет и передал его Гулыге.

Потом Мишу опять окатила волна ярости. Он суетливо снял с себя снаряжение с полевой сумкой и вы-

тряхнул из нее все содержимое на траву: блокнот, карту, карандаши, опасную бритву, мыло... Затем вывернул карманы брюк.

— Смотри, мерзавец, и запомни! — вновь с буйной злобой накинулся он на Рукатова. — Политработники Красной Армии не воруют у государства. И вообще не воруют! А деньги — вот они! — Миша достал из нагрудного кармана гимнастерки две трехрублевые бумажки. Из второго — партбилет и удостоверение личности.

— Не хорохорься, младший политрук, — уже миролюбиво обратился к нему полковник Гулыга, всматриваясь в бумагу — приказ генерала Чумакова. — Какое ранение? — тут же обратился он к троим бойцам, снимавшим с кузова грузовика раненного шальной пулей связиста.

— В плечо, товарищ полковник! Серьезное! — бойко ответил один из красноармейцев. — Сейчас мы его снесем на перевязочный.

Полковник Гулыга, прочитав приказ и не подозревая, что он уже не изменит отчаянного положения дивизии, передал его начальнику штаба Дуйсенбиеву.

— Задача наша меняется коренным образом, — сказал он. — Собирайте наличный руководящий состав, а мы тут посоветуемся, что делать с этими глупыми драчунами.

— Товарищ полковник, я протестую, — мрачно и не очень уверенно сказал Рукатов. — Какая же тут драка? Это чрезвычайное происшествие!.. Более того, преступление: младший по званию ударил старшего по званию!

— А старший по званию не только заподозрил политработника в воровстве, но и пальнул в него из пистолета! Это не чрезвычайное происшествие? — Миша Иванюта уже несколько успокоился и надевал на себя полевое снаряжение.

— Оба хороши, — ответил Гулыга, мучительно размышляя над тем, что ему сейчас предпринять.

Решение принималось без участия младшего политрука Иванюты — зачинщика драки. Гулыга, Рукатов и Пухляков отошли в сторону от машин, и после короткого раздумья полковник вымученно сказал:

— Война, гибнут тысячи, землю свою оставляем, а вы гонор показываете... Глупцы... А вы, капитан, вино-

ваты, что дали разгореться ссоре, — обратился Гулыга к Пухлякову.

— Виноват, товарищ полковник. Я и опомниться не успел, как они сцепились... Но теперь на мне вина, что выбил из руки Алексея Алексеевича пистолет, а он бабахнул в спящего красноармейца.

— Хорошо, что не бабахнул в этого желторотого — в Иванюту, — хмуро заметил Гулыга. — Пришлось бы тебе, Алексей, головой расплачиваться.

— Ошибаетесь! — зло ответил Рукатов. — Я принимал меры самозащиты.

— Не надо было бросать дурацких обвинений! — чуть возвысив голос, сказал капитан Пухляков. — За такое каждый честный человек по морде врезал бы! Я, во всяком случае, тоже...

— Сейчас легко быть умным, — уныло буркнул Рукатов.

— Так вот! — начал подытоживать разговор Гулыга. — Виноваты вы все трое... Случившееся предлагаю оставить пока без последствий — до будущих времен. А там война подскажет нам выход. Деньги надо немедленно под усиленным конвоем отправить в штаб фронта или сдать финансистам штаба любой армии, какая окажется поблизости. Возглавить группу сопровождения приказываю майору Рукатову... Делать вам, Алексей Алексеевич, в нашем штабе после этого позорного мордобоя нечего. Тем более что у вас не прошла контузия. — Затем Гулыга обратился к капитану Пухлякову: — Группу охраны поручаю подобрать вам, товарищ капитан... Деньги везти на повозке.

— Хорошо, — согласился Пухляков. Затем, извинительно глядя на Гулыгу, сказал: — Только я, товарищ полковник, обязан обо всем случившемся доложить радиошифровкой своему руководству: у нас так принято.

— Тогда начнется разбирательство? — встревожился полковник Гулыга, кинув укоризненно-сочувственный взгляд на Рукатова.

— Полагаю, что мы с вами уже провели разбирательство, — миролюбиво произнес Пухляков. — И приняли правильное решение. Я так и доложу...

Когда полковник Гулыга и майор Рукатов остались в отдалении от машин, среди леса, вдвоем, полковник сказал Рукатову:

— На деньги, кроме имеющихся сопроводительных банковских документов, составим акт... Если исчезнет хоть одна банкнота — не пожалею и тебя — отца моих внуков...

— Батя, вы обо мне слишком плохо думаете.

— Нет, я просто знаю, что легкодоступные ценности часто рождают зло, проливают кровь. Сегодня это чуть уже не случилось... И боюсь, что эта история еще будет иметь продолжение. Особист ведь собирается доносить начальству.

— Я ничего не боюсь: защищался от нападения малахольного. — Рукатов прикоснулся к кобуре с пистолетом. — А сейчас надо думать о главном: как вырваться из вражеских клещей.

— Вот тебе, Алексей, я и даю возможность выбраться. Во имя твоих детей и моих внуков. И не обижай там Зину... А то доходили до меня слухи, что ты по молодым бабенкам шастал.

— Глупости! Зина ведь не старуха... Вы сейчас заботьтесь о том, как не подставиться под удар немцев.

— Боюсь, нам ничего уже не поможет... А ты с телегой и конвоем пробьешься через леса и болота.

— Так, может, давайте все вместе... Проложим по карте маршрут, чтоб не сталкиваться с противником, — предложил Рукатов.

— А технику сжечь? И это когда еще есть горючее?... А с артиллерией что делать? — В глазах полковника Гулыги были укор и страх. — Нет. Не желаю позора. Будем таранить немецкие заслоны до последних сил... Только при явно безысходном положении отдам всем на свой риск приказ пробиваться на восток мелкими группами или переходить на положение партизанских отрядов. На Смоленщине, в тылу врага, уже зашевелилось наше подполье.

— Сейчас трудно судить, что лучше, а что хуже. Главное — сносить голову и не попасть под трибунал, — уныло сказал Рукатов.

— Вот такую задачу я и ставлю перед тобой. А у меня — как получится. Я сейчас в ответе за всех.

22

Вечер пожинает плоды утренних глупостей. Именно об этом уже не впервые размышлял, горько досадуя на себя, майор Рукатов. Сейчас он лежал на расстеленной

плащ-палатке рядом с груженной деньгами, покрытой зашнурованным брезентом телегой, держа при себе наготове ручной пулемет. Поблизости, в высокой траве, паслась пара упитанных пегих лошадей, позванивая неснятой сбруей и пофыркивая от лезших в ноздри комаров.

Да, сглупил он, связавшись с этим занозистым младшим политруком Иванютой. Но откуда ему было знать, что в таком сереньком с виду пареньке столько бешенства?.. А могло ведь случиться непоправимое, если б не капитан Пухляков. Застрели он сгоряча Иванюту, сплели бы это обстоятельство воедино с понижением его, Рукатова, в воинском звании за якобы «состряпанное клеветническое дело» на генерала Чумакова, и приговор военного трибунала Рукатову был бы беспощадным...

Где-то на востоке приглушенно взревывали пушки, а по недалекой дороге за болотом все шли и шли на северо-восток колонны немецких машин и тягачей с пушками, скрипели колесами нескончаемые обозы, грохотали и лязгали гусеницами танки. Туда, в сторону дороги, и выставил два секрета майор Рукатов — троих бойцов с автоматами и одной снайперской винтовкой. Парный и одиночный секреты замаскировались на удалении метров ста пятидесяти от груженной деньгами телеги и уже третьи сутки кормили там комаров.

Ни полковник Гулыга, ни подполковник Дуйсенбиев, прокладывавшие маршрут Рукатову, не могли предполагать, что начертанная ими ломаная красная линия на топографической карте, по которой Рукатов должен был провести пароконную телегу, пролегала через самый горячий район близившихся с юга к Смоленску боевых действий, куда сейчас выдвигался вражеский 24-й моторизованный корпус.

Скверно было на сердце у Рукатова: будто опился отравы. Томили недобрые предчувствия. С досадой все возвращался мыслями к драке с Иванютой и к тому, что о деньгах узнало великое множество людей и слух об их появлении в расположении штаба дивизии прокатился по окруженным частям и подразделениям, как сплетня по деревне. Капитан Пухляков, надо полагать, подобрал для конвоирования повозки с деньгами надежных парней... Там, в штабе, все они казались и Рукатову надежными. А здесь, в нескольких сотнях метров от дороги, по которой движется враг?! Случайно ли сегодня раз-другой поймал Рукатов на себе странный

взгляд сержанта Косодарина — одного из троих приданных ему сопровождающих охранников, или «конвойных», как выразился капитан Пухляков, давая всем им напутствие.

Также обратил внимание на острые взгляды Косодарина в сторону телеги и молодой красноармеец Антон Шелехвостов. Редкой силищи здоровяк с пудовыми кулаками и широченной спиной, он, Шелехвостов, однажды подпер плечами сломанный мосток через овражек, пока проезжал по нему конный обоз. По натуре Антон был молчуном, однако отличался любознательностью, поддавался на розыгрыши, уважал говорливых людей, повидавших жизнь, набравшихся мудрости. Таким казался ему и сержант Косодарин, старше Антона по возрасту лет на пять. «Пять лет, — думал Антон, — а разница в знаниях, в умении размышлять о жизни подобна разнице в размерах и силе стремнины реки Кубань и нашей безымянной речушки, впадающей в нее...» В этом зеленом «закутке» раскинулась его, Антона, родная станица Бедаровская.

Вот и сейчас был Антон придавлен мудростью сержанта Косодарина, который, видя, как его напарник отбивается веткой от комаров, назидательно объяснил:

— Бог или природа не зря создали комаров, да и другую нечисть, подобную им. Ведь к весне тело человека дряхлеет, слабеет. Когда же его грызет всякая мелкая тварь, вроде комаров, он начинает чесаться, вскрывает этим поры, массирует и оживляет кровеносные сосуды и от этого крепнет, здоровеет; одним словом, возрождается.

Да и нескучным человеком был Косодарин. Кинув взгляд в сторону телеги, на майора Рукатова, он с веселой тяжестью вздохнул и посетовал:

— Эх, краплиночку бы этих денег мне до войны...

— Что, нужда была великая? — спросил Антон, чуть насторожившись.

— Мечтал мотоцикл приобрести. Даже денег было накопил.

— Почему же не купил?

— Жена запротестовала... Покупай корову — и только! Две недели спорили.

— И на чем порешили?

— Согласилась жена со мной! Говорит: черт с тобой, покупай мотоцикл, но... чтоб он доился!..

Антон сдержанно захохотал этой неновой побре-

хоньке и опять заметил острый взгляд сержанта, кинутый им в сторону Рукатова...

— Не нравится мне этот наш начальничек... — тут же сказал сержант Косодарин, будто почувствовав, что напарник его насторожился.

— Почему? — Антон нахмурил брови и внутренне съежился. — Командир как командир.

— Уже одна его фамилия душу холодит: Рукатов!— не сдавался сержант. — Будто за горло хватает...

— А твоя фамилия что означает? — Антон уставил на сержанта свои большие, по-детски наивные серые глаза: — Ко-со-да-рин!.. Не хочу я ни косы в подарок, ни косого подарка!.. Ко-со-да-рин!.. — И притишенно засмеялся. — Цаца великая!

— Шелехвостов — тоже не царского происхождения! — Косодарин как бы отмахнулся от Антона, приглашая его к новой мысли: — Ты, Антоша, не обратил внимания, как этот Рукатов да полковник Гулыга прохаживались в лесу по дорожке и о чем-то шептались?.. Полковник Гулыга еще так осторожненько оглядывался по сторонам...

— Ну и что? Уточняли задачу.

— Вот именно — уточняли! И по этим уточнениям, как мне кажется, когда мы вывезем телегу из окружения, Рукатов избавится от нас, а денежки — тю-тю... Закопает в землю или где-то спрячет до лучших времен.

— Ты что, сержант, умом тронулся?.. Это же государственное дело!.. И как он может от нас избавиться?..

— Одна очередь из ручного пулемета — и с приветом, Антон Шелехвостов!.. Шелести хвостом...

— Ну это ты держи при себе, сержант! Не слышал я от тебя ничего подобного... Сержант!..

Под вечер сержант Косодарин, видя, что Антон сумрачно углубился в какие-то свои мысли, вновь завел разговор о деньгах:

— Что б ты, Антончик, делал, попади тебе в руки после войны хоть половина, хоть десятая часть такого бумажного добра?

— Сержант, а ты показался вначале мне умным мужиком. Теперь вижу — недоумок.

— Сам ты недоумок... Не пробиться нам к своим! Пойми это... Рано или поздно попадут деньги в руки немцев!

— И что ты советуешь?

— Надо шевелить мозгами.

— Иди шевели вместе с майором Рукатовым.

— Что ты? Он же псих! Тут же и пристрелит.

— За самосуд у нас не жалуют.

— Здесь особая статья... Оправдают майора... — Сержант, будто испугавшись своих мыслей, умолк.

Антон, взглянув на Косодарина, непроизвольно отодвинулся в сторону. Перекошенное гримасой скрытого страха лицо сержанта тут же разгладилось улыбкой — явно притворной, жесткой, едкой и даже какой-то лютой. Приглушенным, потерявшим всякую звонкость голосом он сказал:

— Худо кончится наше дело, красноармеец Шелехвостов... Деньги и такие люди, как Рукатов, а я их нюхом чую, вредны друг для друга.

— А ты предложи Рукатову разумный совет. — Антон все еще надеялся вывести размышления сержанта на какую-то другую стезю.

— Умный человек пулю бы ему предложил... Не то что мы с тобой.

Чувствуя, что полыхнувший в груди холодок страха отнимает у него голос, Антон, пытаясь придать своему лицу безразличие, скосил глаза на сержанта. А тот глядел на него в упор с улыбочкой, обнажив оскалившиеся белые и ровные зубы. Вплоть до золотых «мостов» на кутних резцах.

— Ну а с этим что? — Антон, изо всех сил напрягаясь, чтоб не выдать своего страха, кивнул вправо, где в низкорослых можжевеловых кустах таился их второй секрет — сержант Петров; он служил ранее в танковых войсках и, может, поэтому не снимал с себя темно-синего, промасленного комбинезона.

Впрочем, Антон не знал подробностей биографии Петрова. Только завидовал, что сержанта вооружили не одним легким трофейным автоматом, как их с Косодариным, но и винтовкой со снайперским прицелом. Сквозь этот прицел Петров обозревал недалекую дорогу, а иногда приподнимался над сизой волной можжевельника и смотрел на их парный секрет.

— Насчет «снайпера» вопрос дельный. — Сержант Косодарин посмотрел в сторону засады Петрова, и у него хищно вздрогнули широкие ноздри. — С этим... Этот сам решит... Либо возьмем его в пай... Но в таком деле все-таки лучше вдвоем...

— Куда тебе столько! Не допрешь!

— Что-нибудь придумаем... А побьют наши фашистов, так мы с тобой заживем... Только чтоб не знать, кто где... Для взаимного спокойствия.

— Ну и сволочь ты, сержант! — не удержался Антон. — А кто же фашистов побеждать будет?

— И мы подмогнем. Внесем, так сказать, свою лепту в будущую победу... Я и об этом поковырялся в мозгах: может, останемся здесь, попартизаним... А как ты, Антоша, маракуешь?

— Надо подумать, — пряча притворство, сказал Антон.

— Подумай, да не вздумай!.. А то...

— Что «а то»?

— Я сержант! С безупречной анкетой... Мне и доверие...

— Ладно, сам не дурак! — Антон, взяв лежавшую в стороне каску, надел ее на голову поверх пилотки и лег на спину: так было удобнее размышлять. — Покарауль, сержант, один, а я во сне комаров покормлю.

— Валяй...

Когда вечером первые капли дождя густо и крупно ударили по недалекой дороге, по лесу, по сухим полянам и близлежащим полям, в воздухе на какое-то время вдруг терпко и пресно запахло пылью и обновленными ароматами трав, цветов, недалекого можжевельника. Этот дождь для майора Рукатова и для его маленькой группы конвоя был настолько желанным, насколько не нужным для всей войны на Западном направлении, с учетом намечавшихся штабами противоборствующих сторон очередных оперативных задач.

А он начался... И будто тучи не громоздились в вышине. Правда, небо с утра было чуть мглистым; солнце светило из поднебесья, как сквозь белесую кисею. Она-то, эта кисея, и таила в себе неожиданность — постепенно густела, делалась все менее прозрачной, особенно над горизонтом; потом будто набухла неведомо откуда взявшейся влагой и пролилась дождем — густым, яростным, но пока недолгим. Он явился как бы предвестником ливня, который упруго и свирепо наползал в свинцовых тучах на высоты Смоленщины.

Рукатов отозвал из секретов своих конвойных и приказал им завесить плащ-палатками подветренную сторону телеги, чтоб можно укрыться под ней, как под кры-

шей. И это было вовремя: здесь, в глубине леса, после минутной сторожкой тишины во всей природе с особой отчетливостью послышалось, как загудело пространство между землей и небом и через какие-то секунды хлестко ударили вокруг тяжелые струи воды.

Все сидели под телегой молча, ощущая под собой сухое, хранящее дневное тепло сено.

— Товарищ майор, — почему-то шепотом проговорил сержант Петров, — а дорога, кажись, утихла... Сейчас бы и проскочить?..

— Боюсь, что по ту сторону большака прячутся в лесу немцы... Там лес сухой и гуще, чем здесь. — Рукатов приставил руку к уху, направив его в сторону дороги. — Переждем ливень и начнем разведывать маршрут...

Мощный натиск ливня постепенно начал угасать, словно там, в небесных глубинах, кто-то ставил ему прочные запруды. Где-то на западе ярко запылал горизонт, осветив верхушки леса и близлежащие поляны. Вокруг стало светлее, но было очень мокро, в воздухе, где пробивались сквозь гущину леса косые лучи солнца, заструились кверху столбики пара.

Еще через какое-то время, когда все выбрались из-под телеги, майор Рукатов, окинув хмуро-напряженным взглядом свое «войско», приказал:

— Сержант Косодарин! Пойдете со мной разведывать дорогу! А вам, — Рукатов обратился к Антону и сержанту Петрову, — запрягать лошадей и быть наготове.

Уходя, Косодарин кинул на Антона свирепый и что-то требующий взгляд.

— Он убьет его! Убьет!.. — панически зашептал Антон Петрову, когда Рукатов и Косодарин скрылись между деревьями за можжевеловыми кустами. И короткой скороговоркой рассказал сержанту о задуманном Косодариным преступлении, видя при этом, как круглое, в золотистом пушку лицо сержанта покрывалось бледностью.

— Вблизи от нас он не посмеет поднять руку, — озабоченно произнес Петров. — Но на всякий случай надо прикрыть майора. Оставайся! — И Петров, дрогнувшей рукой схватив снайперскую винтовку, побежал.

Антон снимал путы с ног лошадей, а его глазам все виделась дрогнувшая рука сержанта Петрова... Мысли и чувства были там, у дороги. Он будто видел майора

Рукатова, лежавшего в кустах с биноклем у глаз, а невдалеке целился в него из немецкого автомата сержант Косодарин... Успел бы заметить это в оптический прицел сержант Петров.

И вдруг в стороне дороги совсем негромко хлопнул выстрел. А в ушах же, в груди Антона он отозвался оглушающим взрывом, будто на него обрушилась вся вселенная...

Испуганный неожиданным выстрелом сзади, майор Рукатов оглянулся и невдалеке от себя увидел перекошенное смертным страданием, болью и волчьей злобой лицо сержанта Косодарина. В немом крике дико распахнулся его рот, обнажив ровный белый ряд зубов, опустились уголки губ, вздулся неподвижный бугор на переносице... И холодный, пронзительный, недобрый ум в глазах...

— Перехитрили, гады... — с бульканьем в горле вырывались из перекосившегося рта Косодарина слова. — Будьте вы прокляты!.. Подавитесь своими деньгами...

— Что? В чем дело?! — панически хрипел Рукатов, видя, как к нему подползал с закинутой на правое плечо снайперской винтовкой сержант Петров.

— Я опередил его, товарищ майор! — с удивлением и страхом сказал Петров, приближаясь к Рукатову. — Может, на секунду! — И шепотом пояснил: — Он уже навел автомат на вас... А я — убил... — Петров вдруг всхлипнул, уткнувшись лицом в локоть левой руки. — Убил своего...

Под Рукатовым будто колыхнулась земля от того, что мысли его стали проясняться; словно что-то всплыло на чистой воде, и он, скользнув взглядом мимо этого «что-то», четко увидел дно страшной истины... Вдруг понял, что чудом избежал сейчас смерти, и почему-то в памяти промелькнул младший политрук Иванюта с разъяренным до исступления лицом...

23

Один из мыслителей прошлого начертал слова, утверждающие, что несчастье есть право на бессмертие. Странно звучит это изречение, но возросло оно все-таки на поле человеческой опытности, хотя известно, что никто по доброй воле не стремится в бессмертие через горнила несчастий.

Несчастья приходят незванно... Не подозревал о близившейся для него самой тяжкой беде и один прекрасный человек, военачальник, чье имя зазвучит потом в истории в том особом ряду, который менее других подвержен забвению. Человек этот — генерал-лейтенант Качалов Владимир Яковлевич.

...В начале июля 1941 года директивой Ставки Верховного Командования он, генерал-лейтенант Качалов, командующий Архангельским военным округом, назначался командующим вновь создававшейся 28-й армией, а основным ядром командного состава ее штаба должны были стать командиры и начальники из штаба того же Архангельского военного округа.

Впрочем, об этом Владимир Яковлевич узнал в Москве, куда ему по телефону приказали явиться незамедлительно. Уезжая, распорядился дома, чтобы и жена Елена Николаевна с сыном Володей и тещей Еленой Ивановной тоже собирались в путь-дорогу — для начала в Москву, к Анне Ивановне, родной сестре тещи. А там все будет зависеть от того, какое и куда получит он, генерал-лейтенант Качалов, назначение. О том, что вызывали его для новой службы в новом месте, нисколько не сомневался. И понимал, что ждет его фронт.

В тот же день, когда приехал в Москву, начальник Генерального штаба Жуков представил Владимира Яковлевича Сталину, хотя Качалов был знаком со Сталиным еще со времен обороны Царицына. Представление было совмещено с очередным докладом Жукова о положении на советско-германском фронте.

Генерала Качалова поразила простая и страшная ясность происходящего на полях сражений, которую он ощутил в кабинете Сталина из четкого доклада генерала армии Жукова, из вопросов Сталина и ответов на них. Владимир Яковлевич уже знал, что его прочат на пост командующего формирующейся 28-й армией, которая совместно с другими свежими армиями займет оборонительные рубежи в тылах действующих войск Западного фронта. Поэтому он с обостренным вниманием прислушивался к тому, что происходило в армиях, которыми осуществлял руководство маршал Тимошенко как главком Западного направления. Почти зримо увидел неустойчивость линии Западного фронта и хрупкое оперативное построение его войск... Вон на огромной карте с северо-запада, в полосе шириной 280 километров, при-

крывала шестью дивизиями Смоленское направление 22-я армия генерал-лейтенанта Ершакова, сдерживая шестнадцать вражеских дивизий. Уступом за ее левым флангом оборонялись, не имея плотной локтевой связи, дивизии, входившие в состав все еще прибывавшей по частям на фронт 19-й армии генерал-лейтенанта Конева. Между Витебском и Оршей отчаянно дралась изнемогавшая 20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина, а южнее, по Днепру вплоть до Рогачева, оборонялась совсем ослабленная, с оголенным флангом 13-я армия генерал-лейтенанта Ремезова; ее 61-й стрелковый корпус, оказавшись в окружении, изо всех сил оборонял Могилев. Левый фланг 13-й армии прикрывала 21-я армия генерал-полковника Кузнецова, которая непрерывно контратаковала противника. А в районе Смоленска как резерв фронта сосредоточивалась 16-я армия генерал-лейтенанта Лукина. Все ясно как на ладони, но эта ясность виделась только на карте; изменяясь на пространстве Западного направления не то что с каждым днем, а с каждым часом, и Генеральному штабу не так легко было реагировать на эти изменения своими распоряжениями о перегруппировках войск и о введении на поля битв новых резервов.

В один из июльских дней над Москвой шквалисто клокотала гроза, и в кабинете Сталина было сумрачно. Когда Жуков закончил доклад об оперативной обстановке на фронтах, Сталин молча прошелся по кабинету, держа руки за спиной, затем остановился перед генералом Качаловым, который тут же поднялся со стула, и сказал, будто упрекая его лично:

— Хорошего мало.

— Совсем нет хорошего, — в тон ему повторил Владимир Яковлевич.

— Почему — совсем нет? — неожиданно удивился Сталин, сделав ударение на слове «совсем», и затем указал рукой на Поскребышева, который неслышно вошел в кабинет и включил электричество. Стены кабинета будто раздвинулись от света, и вокруг стало, кажется, просторнее. В голосе Сталина улавливалась грустная ирония. — Вот он, товарищ Поскребышев, — сын сапожника, а сейчас — главный помощник товарища Сталина во всех его нелегких делах.

Поскребышев, сверкая бритой головой в свете горящих электроламп, вопросительно посмотрел от дверей на Сталина.

— Верно я говорю, товарищ Поскребышев? — требовательно спросил у него Сталин.

— Верно, товарищ Сталин, — с улыбкой ответил Поскребышев и тут же вышел, поняв, что вопросов к нему больше не будет.

А Сталин продолжил разговор на тему, которая занимала его уже не раз:

— Я тоже сын сапожника — и, как видите, возглавляю партию, государство и вооруженные силы. И вы, товарищ Качалов, если мне не изменяет память, тоже сын сапожника!...

— Так точно, товарищ Сталин, и я сын сапожника, — подтвердил Владимир Яковлевич, подумав о том, что, наверное, Сталину привозили для знакомства из Управления кадров его личное дело.

— Так что же получается? — с притворным удивлением спросил Сталин. — Может, мы и есть те самые сапожники, которые взялись не за свое дело? Может, поэтому и бьют нас немцы, учат уму-разуму, как надо воевать? Может, мы действительно сапожничаем на государственно-партийных и военных постах?

— Нет, товарищ Сталин, — с какой-то особой, только ему присущей серьезностью ответил Качалов. — Вы еще под Царицыном показали, что воевать умеете, а я под вашим началом тоже не опозорился. Да и на других фронтах... Пять ранений у меня...

— Да, помню вас, товарищ Качалов, по десятой армии...

— В девятой и во второй мы тоже встречались. Я там уже в высоких чинах ходил.

— И сейчас придется браться вам за большое дело, за командование армией. Вы должны остановить и разгромить танковые войска Гудериана, хотя вы, как и я, сын сапожника. — Сталин ухмыльнулся в усы и добавил: — Правда, ваш отец, будучи сапожником, держал в Царицыне на базаре сапожную лавку с двенадцатью наемными сапожниками... Был мелким буржуа... Но потом его лавка не выдержала конкуренции...

— Верно, товарищ Сталин. Еще перед революцией вернулся отец сапожничать в родное село Городище.

— А вы говорите, что совсем ничего нет хорошего! — Сталин, казалось, всерьез развеселился. — Сыновья сапожников, а в их лице все наше простолюдье... Народ!.. Главным образом, рабочие и крестьяне, да и

наша интеллигенция, схлестнулись в неизбежной борьбе с военной машиной фашизма, отлаженной лучшими умами враждебного нам всего империалистического мира. И мы их победим!.. Должны победить!.. А вы говорите, что совсем нет ничего хорошего...

Генерал армии Жуков, видя Сталина развеселившимся, что было в последнее время редкостью, сдержанно похохатывал. Когда он стал складывать топографические карты, Сталин, положив руки на стол, придержал его.

— Так вам ясна задача как командующему двадцать восьмой армией, товарищ Качалов? — спросил Сталин, уже глядя на Владимира Яковлевича со строгой требовательностью. — Ведь мы вам доверяем огромную силу — семь дивизий!.. Надо остановить Гудериана! Надо для начала стабилизировать положение на Западном фронте.

— Задача ясна, товарищ Сталин. Важно, чтоб дивизии вовремя прибыли в места боевого сосредоточения.

— В каком положении и где находятся дивизии, из которых мы создаем армию товарища Качалова? — Этот обращенный к Жукову вопрос Сталина прозвучал строго.

— Я не готов к точному ответу, товарищ Сталин, — удрученно ответил Жуков.

— А вы обязаны быть готовы. — Голос Сталина зазвучал от недовольства глуше, словно его легким не хватало воздуха.

— Через час доложу, товарищ Сталин, — сказал Жуков, нервно складывая карты. — Полагаю, что большинство дивизий двадцать восьмой армии или заканчивают формирование, или уже на марше.

— У вас вопросы есть? — обратился Сталин к Качалову.

— Есть, товарищ Сталин. Но они для управлений Генштаба. Это будет касаться формирования армии.

— Хорошо!.. Только не забывайте, товарищ Качалов, что иногда легче судить об уме человека по его вопросам, чем по его ответам. — И Сталин с подбадривающей улыбкой подал на прощанье руку.

Части и соединения 28-й армии формировались в различных районах страны и, получив номерные наименования, стекались в места сосредоточения, находив-

шиеся между Брянском и Ельней — в близком тылу истекавших кровью войск левого крыла Западного фронта, неустанно ведших боевые действия.

Штаб армии разместился в городишке Кирове, просторно раскинувшемся на правом берегу речки Болвы — левого притока Десны, что брал начало на южных склонах Смоленской возвышенности. Здания фаянсового завода, в которых приютилась часть отделов штаба, и другие служебные здания городишка особо не привлекали внимания вражеской авиации. На рубежах, где развертывались полки семи составлявших 28-ю армию дивизий, кипели оборонительные земляные работы. Ими занимались войска при массовом участии местного населения. Постепенно рождалась линия обороны, пусть без дотов и дзотов, без проволочных заграждений: не хватало строительных материалов, колючки, мин... Приходилось ограничиваться пока рытьем стрелковых и орудийных окопов, траншей, ходов сообщения, эскарпов, противотанковых рвов. Мало было и средств связи, что уже теперь затрудняло управление войсками.

А тут еще без устали повадились дожди. Ветер часто менял направление, но будто держал многослойные грозовые тучи на привязи, заставлял их опрокидываться ливнями над Смоленскими высотами. И вся жизнь на фронте замедлилась, затормозилась, грунтовые дороги стали непроезжими, машины и повозки барахтались на них, как мухи в патоке, ручейки превратились в речушки, а речушки — в реки. По дну траншей загуляла вода, подмывая крутости стен, отсыревшие телефонные провода, сращенные при сухой погоде, заставляли мебраны трубок шепелявить и гундосить. Да и голос всей войны изменился: будто раздвинулись расстояния между передовой и тыловыми районами; глуше и не так яростно ухали бомбежки; артиллерийская перестрелка будто велась в одну сторону; голоса пулеметов тоже утихли.

Генерал-лейтенант Качалов понимал, что ненастная погода еще больше затормозит во времени сосредоточение дивизий его армии, затруднит строительство их оборонительных рубежей — слишком широких по фронту, а поэтому лишенных должной плотности и глубины. В этих условиях ему, командарму, в предвидении прорывов немцев надо было без промедления создавать крепкий подвижной резерв. Или сразу же, не дожи-

даясь приказа свыше, планировать создание боевой армейской группы для участия в наступательной операции, которая, как он слышал в штабе фронта, готовится для деблокации зажатых в тиски армий Лукина и Курочкина. Во всяком случае, надо было хоть какие-то силы собирать в кулак. А штабы дивизий в повседневных «строевых записках» и суточных ведомостях будто нарочно напоминали о недостающем по штатному расписанию количестве войск, оружия, военной техники.

И генерал Качалов решил вызвать командиров дивизий всех вместе в штаб армии для знакомства, обсуждения общих задач и для наметок взаимодействия, если обстановка вынудит вступать в бой еще до того, когда все полки дивизий займут оборонительные районы и приготовятся к бою. Тем паче что 145-я стрелковая дивизия генерал-майора А. А. Вольхина, успев занять по речке Десне оборону, уже вела одним полком стычки с немцами в районе Починка, отбив там у противника аэродром. А генерал Вольхин, назначенный начальником гарнизона Рославля, одним батальоном нес в городе службу регулирования и не без большой пользы для своей дивизии руководил «сборным пунктом», куда стекались с запада остатки наших выводимых на переформирование или вырвавшихся из окружения войск. Во всяком случае, 145-я стрелковая дивизия была укомплектована полнее других, и генерал Качалов вознамерился начать количественно ужимать ее полки для создания армейского подвижного резерва.

Сбор командиров дивизий был назначен на 12 часов дня в кабинете директора Кировского фаянсового завода. Адъютант генерала Качалова майор Погребаев получил задание организовать ритуальное предобеденное чаепитие, использовать для этого фаянсовую посуду, пылившуюся в качестве образцов заводского производства на застекленных полках в том же кабинете директора, и двухведерный самовар дореволюционного тульского изготовления, многие десятилетия поивший управленческий люд в заводском буфете.

В этот день у Владимира Яковлевича Качалова было хорошее настроение. Утром ему удалось позвонить в Москву своему давнишнему другу генералу Хрулеву Андрею Васильевичу. От него он узнал, что его, Качалова, семья вместе с семьями генералов Хрулева, Болдина — бывшего заместителя командующего Западным

особым военным округом — и другими семьями эвакуирована специальным поездом в Свердловск; затем будет переселена оттуда в поселок Балтым, куда и следует писать письма и адресовать денежный аттестат. Снять же заботы с фронтовика о семье — значит наполовину облегчить его душу и будто защитить от ударов с тыла.

Владимир Яковлевич подошел к зеркалу, наклонно стоявшему в углу кабинета, отражая в себе коллекцию изготовленной на заводе посуды, принял перед ним свою излюбленную позу: скрестил руки на груди и выставил вперед левую ногу... Странно... Что за нелепая «наполеоновская стойка»? Понимал неестественность позы, однако не мог избавиться от нее: еще в молодости, после одного из ранений, его левая рука стала короче, и столь нарочитой позой он пытался прятать свой физический дефект. Привычка молодости закрепилась и даже стала гармонировать с его коренастой фигурой — крепкими, широкими плечами и неохватной, мускулистой шеей. Волевой взгляд его жестковатых серых глаз, чуть скуластое лицо с выражением решительности будто бы уже сами по себе требовали этой наполеоновской позы, которой неизменно сопутствовала в условиях службы строгость, подчас даже суровость в общении с подчиненными. В то же время дома он неизменно был податливым и обходительным семьянином, ласковым и внимательным мужем, добрейшим отцом. Он знал, что разноликостью давал повод для судаченья командирским женам, да и командирам, сам посмеивался над собой, удивляясь такому свойству натуры, но жила она в нем сама по себе, и менять ее он не пытался.

Хотя однажды взъярился, случайно услышав о себе чьи-то стишата: «Он грозен во главе полков и добр при виде женских каблуков». Рассердился, естественно, уловив в этом «блудословии» злую иронию. Но тут же, поразмыслив, растопил в себе гнев, дабы не позволить утвердиться неумному «двустишию». И стал чаще задавать сам себе вопрос: «На службе справедлив?..» После обозрения внутренним взглядом своих воинских «владений», на фоне которых мелькали образы десятков высокопоставленных подчиненных ему людей, после размышления над тем, как держит себя в общениях с ними, уверенно отвечал сам себе: «Требователен... Но несправедливостей за собой не замечал». Верно, обид на него не было, хотя были претензии: имел он по партий-

ной линии взыскание за «отрыв от парторганизации» и «за проявление высокомерия». Да, тут, видимо, допустил промашки... К тому же он еще не поладил с одним политработником высокого ранга... Тот в конечном счете оказался прав. А однажды получил письмо от Буденного — по делу: маршал поругивал его за недостатки в боевой подготовке и отсутствие должного порядка в штабной службе кавалерийского корпуса, которым он, генерал Качалов, командовал... Исправил недостатки железной рукой. На службе стал еще более строг и требователен. Иные командиры, заступив на дежурство по штабу, испытывали не то чтобы робость, но будто держали самый трудный экзамен.

24

Да, если несчастья обрушиваются на человека, то, бывает, с той внезапностью, которая оглушает даже посторонних людей. Но может ли быть несчастье на войне бóльшим, чем гибель?.. Оказывается, может. Его приносит не вражеский самолет, не случайный снаряд, не шальная пуля. И суть такого несчастья не в нравственных муках военачальника, потерпевшего поражение в противоборстве с врагом... Случаются беды иного характера, подоплеки которых вызревают в чьем-то предвзятом или воспаленном воображении, опирающемся не на истину, а на заблуждения или на злую волю.

Именно такая беда подкарауливала генерал-лейтенанта Качалова.

Уже было назначено время вызова в штаб армии командиров дивизий. Уже дважды адъютант командарма майор Погребаев делал пробные кипячения воды в тульском самоваре. И сейчас самовар, сверкая медным начищенным пузом, высился в приемной на казенном столе, оттеснив в сторону такую же допотопную, как он сам, пишущую машинку...

Вдруг в приемной комнате появился с «разносной» папкой в руке начальник узла связи — бравый капитан в зеленых парусиновых сапогах и в новеньком полевом снаряжении. Он с деловитой торопливостью прошагал через приемную и, не попросив, как обычно, у адъютанта доложить о нем командарму, скрылся за дверью в кабинете. Майор Погребаев был озадачен: начальник узла связи — прямо к командарму, минуя начальника штаба?..

Через минуту жизнь в штабе армии как бы повернула в другую сторону и набрала стремительный ритм. В кабинет генерала Качалова были срочно вызваны все начальники отделов и служб во главе с начальником штаба. Причиной этому явилась та же директива о контрударе в сторону Смоленска пяти армейских оперативных групп, которую несколько раньше получил штаб 16-й армии генерал-лейтенанта Лукина. А вместе с директивой — приказ командующему 28-й армией генерал-лейтенанту Качалову...

Чем-то тревожным дохнуло на Владимира Яковлевича от стопы расшифрованных документов. Перекинулся мыслью во вчерашний день, который виделся сквозь последнюю информационную сводку о положении войск Западного фронта. В ней уже не было той ясности, какую он ощущал в кабинете Сталина, когда об оперативной обстановке докладывал Жуков. 22-я армия, прикрывавшая правый фланг фронта в районе Великих Лук, оборонялась изо всех сил, частью дивизий попадая из одного окружения в другое и пробиваясь затем на северо-восток, 16-я армия, увеличившись за счет вошедшей в нее 127-й стрелковой дивизии генерал-майора Корнеева Т. Г., не оставляла попыток освободить от врага Смоленск и в то же время, как и 20-я армия, вела перегруппировку сил, исходя из последней директивы Генштаба.

Но видит ли командование фронта, сколь усложнилось положение после вчерашнего захвата немцами Ельни? Ведь это — удобнейший, выдвинутый на восток плацдарм для броска с него немцев на Москву.

Сидя за столом просторного кабинета, Владимир Яковлевич все вчитывался в документы, слышал, как спешно развешивались на стенах карты с дислокацией войск 28-й армии, карты местности, на которой предстоят боевые действия. По наступившей тишине понял, что собрались все, кому полагалось здесь быть, и четким густым голосом прочитал директиву, в которой излагался замысел действий армейских войсковых групп, создаваемых из двадцати дивизий Фронта резервных армий. Они, эти дивизии, должны были нанести одновременно удары по сходящимся направлениям на Смоленск с северо-востока, востока и юга и во взаимодействии с 16-й и 20-й армиями разгромить смоленскую группировку противника и отбросить ее за Оршу. В то же время для удара по тыловым частям немецких ар-

мий «Центр», оторвавшимся на значительное расстояние от своих передовых механивированных частей, Генштаб бросал три кавалерийские дивизии, сосредоточенные в полосе 21-й армии близ Жлобина. Для участия в операции выделялись также три авиационные группы, каждая в составе до смешанной авиационной дивизии... Ну что ж, замысел серьезный... Но как он будет выглядеть на фоне возможных ответных боевых действий немцев?

Когда же в директиве речь заходила о войсковой группе генерал-лейтенанта Качалова, голос Владимира Яковлевича несколько возвышался, будто в него непроизвольно вторгались торжественные нотки. Но это была маленькая хитрость генерала. Он обратил внимание, как прокатился по кабинету похожий на вздох шумок, когда в зачитываемом им документе прозвучала фраза: «Ставка передает в распоряжение маршала Тимошенко двадцать дивизий из Фронта резервных армий, образуя из них пять армейских групп...» Владимир Яковлевич сразу же понял, что у всех возник, кольнув острыми коготками сердца, один и тот же вопрос: а как же их 28-я армия в целом? Остается в резервном фронте? Под чьим командованием? И как теперь с ее штабом?.. Ведь все они, став штабом группы, вроде бы понижаются в должностях, «выпадая» из штатного расписания армейского звена?

Этот, пусть не весьма важный, вопрос невольно всплыл и перед ним, Качаловым, неуправляемо и зыбко вторгаясь в сознание. Ведь верно: одно дело — он командующий армией... «Надо остановить Гудериана, товарищ Качалов!» — вспомнились тревожные слова Сталина. А теперь «товарищ Качалов» всего лишь командующий войсковой группой, что, по существу, равнозначно командиру корпуса...

Вот и повышал он голос, читая шифровки, чтобы отмежеваться от столь незначительных мыслей и показать подчиненным, что выполнение поставленной перед ними боевой задачи — не меньше чем вопрос их жизни или их смерти.

Но понимают ли они это? Владимир Яковлевич поднял голову, пробежался строгим, с прищуром взглядом по лицам присутствующих. Непроницаемы... Только лукавую хитринку на миг уловил в глазах члена Военного совета армии бригадного комиссара Колесникова, сидевшего сбоку стола. Угадал, видать, бригадный комис-

сар побочную мыслишку генерала Качалова! Но тут же Колесников нахмурился, придал лицу озабоченность и что-то шепнул сидевшему рядом с ним бригадному комиссару Терешкину — начальнику политотдела армии.

Справа от Качалова, за приставным столом, расположился над картой начальник штаба армии генерал-майор Егоров; он поглядывал то на свою карту, то на приколотую к стене, видимо сверяя, правильно ли нанесены на ней исходные позиции 149-й, 145-й стрелковых и 104-й танковой дивизий. Владимир Яковлевич тоже всмотрелся в карту на стене. И хотя севернее Рославля четко вырисовывались гнутые валы — линии исходных позиций полков, хотя к Смоленску, перешагнув через Починок, протянулась от них грозная красная стрела, обозначавшая общую задачу их армейской группы, генерал Качалов не мог не видеть, что с северо-востока нависает захваченная вчера врагом Ельня. И опять ему вспомнились слова Сталина: «Надо остановить Гудериана, товарищ Качалов...»

25

Но остановить, а тем паче разгромить Гудериана пока было не суждено даже силами всех пяти армейских групп и двух окруженных в районе Смоленска наших армий. Об этом еще не знали ни Качалов, ни Тимошенко, ни Сталин; их тешила только надежда, что все сбудется так, как задумал и спланировал Генеральный штаб во главе с генералом армии Жуковым.

Полководцы обычно ощущают театр военных действий подобно тому, как опытный врач при помощи стетоскопа слышит и понимает биение сердца в груди человека. И нет ничего удивительного в том, что в эту последнюю декаду июля 1941 года руководители советского Генерального штаба и немецкого главного штаба верховного главнокомандующего одновременно сосредоточили свои взоры на пространствах между Смоленском и Вязьмой и между руслами рек Сож, Днепр, Вопь. Было яснее ясного, что именно там запирались ворота к Москве. И командования противоборствующих сторон, каждое по своим оценкам, догадкам, выводам, принимали соответствующие меры: немецкое включало в свой план быстрое поглощение расстояния в 300—350 километров, которое отделяло фашистов от советской столицы, и захват Москвы; советское же военное руководство

изо всех сил стремилось порушить замыслы гитлеровцев, отбросить их силы на запад и упрочить оборону на всем советско-германском фронте.

Идея контрудара пятью нашими армейскими ударными группами по войскам противника в районе Смоленска для деблокирования окруженных там 16-й и 20-й армий и для ликвидации опасности прорыва врага к Вязьме и к Москве была частью оперативно-стратегического плана на ближайший период и принадлежала лично Сталину. Он, впрочем, требовал от Тимошенко даже бóльшего: создавать на Западном фронте кулаки в семь-восемь дивизий с кавалерией на флангах. Тимошенко же создал кулаки по три дивизии в каждом...

Инициаторами крупных или малых операций советских войск в большей мере являлись Генеральный штаб с его главным мозговым центром — оперативным управлением, штабы фронтов или даже иногда штабы армий. Но окончательные решения с дополнениями и уточнениями принимались в кабинете Сталина в присутствии находившихся к тому времени в Москве членов Ставки Верховного Командования и членов Государственного Комитета Обороны.

А как у высшего немецко-фашистского командования? Как у Гитлера?..

Ведущие войны полководцы во все времена собирали и изучали сведения друг о друге, дабы легче было постичь образ и степень свободы мышления своего противника, объем его знаний и главные возбудители чувств, влияющих на мыслительный процесс.

Так, например, поступал Наполеон: начиная войну, он прежде всего интересовался неприятельским полководцем и организацией неприятельского командования...

Может, именно поэтому Сталин однажды задал вопрос генерал-майору Дронову, который занимался в Генштабе агентурной разведкой: «А как функционирует ставка Гитлера? Из чего складывается ее работа?.. Как они там вырабатывают свои людоедские планы?..»

Через несколько дней генерал Дронов положил на стол генерала армии Жукова папочку, в которой лежали бумаги, содержавшие ответы на вопросы, занимавшие Сталина. Жуков, прежде чем взять с собой папку в Кремль, не без интереса сам ознакомился с ее содержанием.

Сверху в папке лежала справка с указом Гитлера от

4 февраля 1938 г. о руководстве вермахтом. В указе говорилось: «С настоящего момента руководство всеми вооруженными силами осуществляю я лично. Существовавшее до сего времени главное оперативное управление военного министерства реорганизуется в главный штаб верховного главнокомандующего и со всеми компетенциями переходит непосредственно в мое подчинение.

Возглавляет штаб верховного главнокомандующего его начальник, занимавший до настоящего времени пост начальника главного оперативного управления военного министерства, по своему рангу он приравнивается к рейхсминистрам.

Штаб верховного главнокомандующего будет одновременно выполнять и задачи военного министерства, начальник штаба верховного главнокомандующего от моего имени выполняет функции военного министра...»

Вторая справка рассказывала о процедурах военно-оперативных докладов фюреру.

«Такой доклад, — говорилось в ней, — впервые состоялся в день нападения Германии на Польшу — 1 сентября 1939 г. в старом саду зимней рейхсканцелярии. Сейчас штаб-квартира фюрера функционирует либо в штабном поезде, либо в специально оборудованных помещениях с приспособлениями для быстрой смены и крепления карт и схем, со столами для ознакомления с разведывательными данными и новыми образцами русского стрелкового оружия. На этих совещаниях, после того как начальник главного штаба верховного главнокомандующего докладывает оперативную обстановку, принимаются все важные решения и отдаются приказы.

При докладах у Гитлера присутствует ограниченный и постоянный круг людей: начальник штаба верховного главнокомандующего генерал-фельдмаршал Кейтель, начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль, четыре адъютанта фюрера и, как правило, личный офицер связи генерал Боденшатц. Иногда на совещания приглашаются представители главного штаба сухопутных войск (главком, начальник штаба, начальник оперативного управления), а также представители военно-воздушных сил. Чаще других с докладами выступает начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль. В своих информациях он опирается на донесения трех главных командований вида-

ми вооруженных сил, собранные и обобщенные оперативным управлением штаба оперативного руководства.

Если штаб-квартира фюрера располагается в полевых условиях, то помещения для совещаний оборудуются применительно к условиям или строятся специальные бараки.

Кроме регулярных докладов об обстановке на фронтах, созываются специальные совещания в узком кругу — это при получении особо важных донесений от главнокомандующих видами вооруженных сил.

В штаб-квартире фюрера «Волчье логово» оперативные совещания в присутствии фюрера проводятся ежедневно в полдень. Материалом для них служат утренние донесения командования видов вооруженных сил. У главного командования сухопутных войск основой для таких донесений являются последние донесения командующих группами армий за день. Только командующие германскими войсками в Финляндии, Норвегии и Северной Африке направляют свои донесения непосредственно в штаб верховного главнокомандования и параллельно в главное командование сухопутных войск».

«Небезынтересен распорядок рабочего дня Гитлера, — замечалось в справке. — Около 11 часов дня в узком кругу Йодль докладывает ему полученные в течение ночи донесения, используя карты театров военных действий. Иногда он делает доклад позже, поскольку после дневных трудов Гитлер, по обыкновению, проводит ночь в разговорах за чаем до четырех утра со своими приближенными, иногда даже со своими двумя стенографистками. Для решения военных дел это составляет неудобство: фюрер часто спит до половины дня и никто не смеет беспокоить его».

Генерал армии Жуков познакомил Сталина с описанием «образа жизни» ставки Гитлера в канун начала действий армейской группы Качалова. Похвалив работу советской агентурной разведки, Сталин сказал:

— Теперь, товарищ Жуков, мы, употребив небольшое воображение, можем представить себе, что делает сейчас Гитлер, и, улучив момент, кинем ему за шиворот кулек с блохами... Соберут блох на овечьих пастбищах, а мы дадим им указание до смерти загрызть фюрера.

При всей своей сдержанности Жуков хохотал, как мальчишка, и утверждал, что уже и на своей спине почувствовал блошиную возню. А затем сказал:

— Я не верю во всякие наития, прозрения, но, чест-

ное слово, товарищ Сталин, в нашей предвоенной оперативно-стратегической игре на картах, которой руководили Тимошенко и Мерецков, я добился успеха со своей «синей» стороной еще и потому, что угадывал, о чем заботились Тимошенко и Мерецков. Так что действительно полезно нам знать психологию и противника.

— Ну а теперь угадывайте, что замышляет Гитлер, — сказал Сталин, помрачнев, глаза его сузились, исчезла под нахмуренными бровями знакомая золотинка. — Сейчас «игра» насмерть: кто кого... Для начала на рубеже верховьев Днепра мы должны хряпнуть Гитлера мордой о землю. Сделайте все для этого.

Немецкое командование пока не ведало о готовящемся контрударе советских дивизий в направлении Смоленска. Но предпринимаемые в эти дни действия немецко-фашистских войск были куда более масштабнее, с далеко идущими планами и уже в начале своего развития сами по себе путали карты советского командования и рушили его замыслы. Рушили, но не сводили их на нет, ибо замысел маршала Тимошенко все-таки основывался на разумных расчетах и на реальных возможностях нанести противнику ощутимый урон в живой силе и технике. И не покидала главкома надежда вывести наконец из окружения 16-ю и 20-ю армии.

Германское же верховное главнокомандование, убедившись в стойкости Красной Армии в оборонительных боях, в умении советских штабов планировать и проводить боевые операции даже в невыгодных для себя условиях, в умении красных командиров маневрировать на широком фронте живой силой и боевой техникой, стало искать принципиально новые оперативно-стратегические решения, чтоб добиться перелома в войне в свою пользу. Для этой цели 21 июля Гитлер со всеми мерами предосторожности прибыл в штабном поезде на оккупированную советскую территорию в расположение группы армий «Север». Командующим этой группой был фельдмаршал Лееб. Его войска, по мнению Гитлера, достигли наилучших успехов, и сам Лееб как стратег, военный мыслитель считался у Гитлера наиболее выдающимся. Именно к нему первому направился фюрер, чтобы снять рождавшиеся у него сомнения и укрепиться в тех истинах, которые будто само провидение подсказывало ему. «Необходимо возможно скорее овла-

деть Ленинградом и очистить от противника Финский залив, чтобы парализовать русский флот, — потребовал фюрер. — От этого зависит нормальный подвоз руды из Швеции». Здесь же Гитлер впервые высказал замысел о снятии обеих танковых групп с московского направления. 3-ю танковую группу он предлагал перебросить на северо-восток для содействия наступлению на Ленинград и чтобы как можно скорее перерезать железнодорожную линию Москва — Ленинград. 2-я же танковая группа должна сыграть решающую роль на юго-востоке, куда она и будет повернута.

А судьба Москвы была предопределена в документе германского верховного командования, именуемом дополнением к директиве ОКВ № 33 от 23 июля.

«После улучшения обстановки в районе Смоленска и на южном фланге, — указывалось в этой бумаге, — группа армий «Центр» силами достаточно мощных пехотных соединений обеих входящих в ее состав армий должна разгромить противника, продолжающего находиться в районе между Смоленском и Москвой, продвинуться своим флангом по возможности дальше на восток и захватить Москву».

Итак, германское верховное командование, убедившись, что блицкриг пока несбыточен, спешно перестраивало план войны в целом, перебрасывало танковые группы на другие направления, а в районы, из которых должны были уйти танковые группы, спешно подтягивало свежие силы. Вот и случилось, что к одному и тому же исходному рубежу севернее Рославля с запада спешил 24-й моторизованный корпус врага, а с востока туда же выдвигалась, чуть опережая противника, армейская группа генерал-лейтенанта Качалова.

И произошло еще малозаметное: сумятица передвижений больших колонн вражеских войск затерла в болотистом лесу крохотную группу майора Рукатова, будто загнав ее в капкан. И Рукатову ничего другого не оставалось, как терпеливо выжидать случая, чтоб с пароконной телегой, груженной мешками с деньгами Белорусского Государственного банка, вырваться из вражеского тыла. Такое время, по его наблюдениям, близилось.

26

Штаб — мозговой центр любой воинской части. Все его отделы, отделения, все находящиеся при нем люди

представляют собой в совокупности сложнейший механизм, где каждая деталь точно знает и исполняет свое назначение. Этот механизм комплектует подразделения, вырабатывает для них боевые задачи, собирает информацию и дает ей движение от ячейки к ячейке, он запоминает, считает, решает задачи со многими неизвестными и в конечном счете дает возможность командиру осуществлять замысел, приводить войска в движение и указывать цели их огневым средствам. При этом штаб, если его звенья работают хорошо, постоянно все видит и слышит не только в полосе действий своих войск и противника, но и своих соседей справа и слева. Штаб также планирует работу тыловых органов, питающих фронт всем необходимым; а это — сонмище самых разнообразных дел.

Над штабом возвышается командный пункт старшего командира, приближенный насколько возможно к переднему краю и передвигающийся вслед за войсками, если они наступают. КП не сравнишь ни с обычной вышкой, ни со старой городской каланчой, с которой было видно, где что горит. Однако в своем назначении у них есть нечто общее: со своего КП командир должен видеть местность как можно глубже и шире и управлять оттуда боевыми действиями войск, сам оставаясь невидимым со стороны противника.

Командный пункт генерала Качалова за эти два дня передвигался вперед дважды, а сейчас находился в лесу близ деревни Стодолище. Владимир Яковлевич до сегодняшнего утра был в общем-то доволен ходом наступления своей армейской группы. В первый же день боев, 23 июля, она таранным ударом отбросила передовые части немцев за реки Беличек и Стометь, заняв несколько деревень. Беспокоила только 104-я танковая дивизия полковника Буркова. Она увязла в боях за Ельню и поэтому до сих пор не вышла на указанные ей исходные рубежи.

Генерал Качалов сидел на тесовой скамеечке в мраке блиндажа, вырытого на опушке леса. Лес широкими крыльями размахнулся вправо и влево, выступая то вперед, то полуовалами и полукругами выгибаясь назад, заполняя непролазным подлеском овраги и бугры. В блиндаже, рядом с генералом, стояла заляпанная глинистой землей тренога стереотрубы, глядевшая оптическими насадками в узкий проем амбразуры.

В блиндаже было жарко и тускло. Вчерашний ли-

вень сделал лес неуютным, хмурым. И было похоже, что небо вновь готовится щедро полить землю, хотя иногда из глубин облаков падали на поляны ярко-горячие пятна солнечных лучей.

На столике в углу блиндажа пискнул зуммером телефонный аппарат. Боец-связист тут же откликнулся хрипло-басистым голосом:

— Есть, передать Первому! — и протянул генералу трубку с удлиненным шнуром.

Начальник штаба генерал-майор Егоров густым интеллигентным голосом докладывал из Стодолища, что «коробочки» Буркова наконец-то вышли из боя и спешат «на свидание». Это значило, что 104-я танковая дивизия в районе Ельни оторвалась от противника и устремилась в район деревень Борисовочка, Ковали, чтобы прикрыть правый фланг наступающих стрелковых полков армейской группы Качалова и усилить темп продвижения к Починку.

Возвращая трубку телефонисту, Владимир Яковлевич будто воочию увидел танковую дивизию на марше: она, выдвинув вперед усиленную головную походную заставу, стремительно движется по разбитой и раскисшей дороге, ведущей в сторону Рославльского шоссе, а справа и слева от нее в пределах видимости калечат гусеницами поля боковые походные заставы — по танковому взводу в каждой. Сзади — нескончаемая, дымящая соляркой колонна танков... Силища, которая, несомненно, должна проломиться к Смоленску.

К просторному блиндажу Качалова примыкали два менее обширных блиндажа, также многослойно накрытых накатами из толстого, скрепленного железными скобами кругляка. В них трудилась оперативная группа — разведчики, операторы, представители родов войск. Там собирались все сведения, велась работа на картах.

Дыхание фронта ощущалось все явственнее и почти со всех сторон. Впереди и слева неумолчно клокотала орудийно-минометная пальба. Откуда-то с тыла доносился гул бомбежки — будто десятки кувалд били о землю, и она то однотонно стонала, то басисто вскрикивала... Потом гул бомбежки стал доноситься с северо-востока, и генерал Качалов понял, что немецкая авиаразведка заметила передвижение 104-й танковой дивизии.

В блиндаж неслышно вошел лейтенант из оператив-

ного отдела и, не тревожа командующего, красным карандашом сделал отметки на его карте, значившие, что полки 149-й стрелковой дивизии вышли на рубеж Гута, северный берег речки Беличек, деревня Ворошилово и северный берег речки Стометь. Владимир Яковлевич, скосив глаза, оценил изменение обстановки. Но радоваться пока было нечему. Уж очень угрожающей была воображаемая линия, соединяющая захваченные немцами Великие Луки, Ярцево, Ельню. Его, Качалова, армейская группа уже, по существу, вела боевые действия в полуокружении; пробиваясь на северо-запад, она как бы еще глубже забиралась немцам под шкуру.

Телефонист опять притронулся трубкой к его плечу, хотя зуммера аппарата Владимир Яковлевич не слышал. Вновь звонил генерал-майор Егоров и докладывал, что в район действий 145-й стрелковой дивизии вышел представитель войсковой оперативной группы генерала Чумакова майор Рукатов и вывез с собой пароконную телегу, груженную мешками денег Белорусского банка.

— Утверждает, что лично знаком с вами, — сообщил Егоров.

— Ну и что, если знаком? Это не кадровик ли из Москвы? — безо всякого энтузиазма уточнял Качалов. — Но тот вроде был подполковником.

— Верно, бывший работник Управления кадров.

— Чего он хочет?

— Требует, чтоб мы дали ему грузовик и охрану — везти деньги в штаб фронта.

— Ну пусть там ваши финансисты созвонятся с фронтом и решат.

— Владимир Яковлевич, — Егоров, кажется, говорил с трудом, — я тебе не доложил о самом главном и весьма неприятном...

Качалов знал, что, если уж начальник штаба переходил с ним на «ты», значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

— Докладывай, — спокойно потребовал Качалов.

— Немцы мышеловку нам устраивают... По показаниям пленных. Да и разведка наша подтверждает.

— Конкретнее!

— На подходе еще два их армейских корпуса. Причем один строго нацеливается на Рославль — нам в тыл, — уточнил Егоров.

— В штаб фронта сообщил сведения?

— Сообщил. Там пока не очень верят, но, насколько я понял, усилили авиаразведку.

— Пусть бы прикрыли и наши тылы...

Владимиру Яковлевичу тоже не хотелось верить в столь серьезную угрозу, нависшую над его войсковой группой. Но тревоги не должны затмить надежду: ведь его дивизии взаимодействуют с огромной силищей — еще четырьмя группами. Да и конница Городовикова вот-вот должна ударить по тылам немцев.

Начальник штаба, понимая, что командующий размышляет над услышанным от него, некоторое время тоже молчал, а затем вновь напомнил о себе:

— Да, а как быть с этим Рукатовым? Ведь наши финансисты во втором эшелоне. Все равно нужно дать ему машину и охрану.

— Из вражеского тыла пробивался без охраны, а тут эскорт подавай?! — В словах Качалова сквозило раздражение.

— Вот он рядом со мной. Пусть сам и объяснит.

Качалов слышал, как генерал Егоров что-то говорил Рукатову, а затем донесся до Владимира Яковлевича полузабытый голос кадровика, с которым он не раз встречался и беседовал в Москве.

— Здравия желаю, Владимир Яковлевич! — нарочито бодро поздоровался Рукатов. — Благодарю вас за заботу и гостеприимство!

— В чем оно выразилось? — холодно спросил Качалов.

— Мы вышли к вам, как черти из болота! Нитки сухой на нас не было! И голодные как волки!

— Переодели, накормили?

— Так точно. Все как полагается. А сейчас прошу машину и надежную охрану! — И Рукатов коротко рассказал о том, что случилось в его маленьком отряде в пути, и о том, что спас его, Рукатова, только случай: один из бойцов успел пристрелить негодяя-сержанта.

— Самосуд? — насторожился Качалов.

— Что-то вроде этого! Но другого выхода не было.

— Передайте трубку генералу Егорову! — приказал Рукатову Владимир Яковлевич. И когда начальник штаба подошел к телефону, Качалов продолжил: — Все-таки примите сами вместе с финансистами деньги у Рукатова и отправьте их в штаб фронта. Рукатова же и его группу препоручите нашей прокуратуре. Пусть внимательно разберутся. Они там учинили самосуд: расстреляли сержанта. Кому-то показалось или в

самом деле так было, что сержант целился из автомата в Рукатова... Эдак можно пристрелить кого угодно: померещилось, мол, что целится не в немца, а в командира, вот я его и шлепнул.. Надо снять дознание, и чтоб все было оформлено по строгим законам военного времени. Виновным — кара, безвинным — похвала, а то и награда.

Верные и мудрые слова... Только не предчувствовал генерал Качалов, что судьба, ослепленная войной, сбитая с толку кровавой суматохой, не пощадит и его самого, не призовет в свидетели правду и справедливость и позволит свершиться более страшному, чем сама смерть. Но это еще впереди; события вызревали грозно и неотвратимо.

27

Рослый и по-юношески стройный, с чуть лукавым и мудрым прищуром голубых глаз, с улыбчивыми, четко очерченными губами и щедрым перламутровым блеском зубов, да еще светлый высокий лоб и темно-русая густая шевелюра, — вот далеко не законченный портрет Рокоссовского Константина Константиновича. Однако броская мужская красота да кавалерийская выправка являлись далеко не главными достоинствами сорокапятилетнего генерал-майора. Наиболее привлекателен он был своей готовностью идти навстречу человеку, своим пониманием людей во всех разнообразностях их характеров и искренне-душевным расположением к тем, кто относился к воинской службе как к естественной жизни, а не к отбывке повинности... И ни тени рисовки или позерства в нем. Все это, вместе взятое, влекло к Рокоссовскому людей, как родниковая вода влечет к себе все живое.

Прошлое Константина Константиновича отличалось от прошлого его одногодков и соратников по службе в кавалерийских войсках, может, только некоторыми оттенками биографии. Родился он в Великих Луках — глубинке России. Отец его был по национальности поляк, работал железнодорожным машинистом, мать — простая русская женщина. Детство будущего полководца проходило в Варшаве, столице королевства Польского, бывшего западной окраиной Российской империи. Уже в четырнадцать лет Костя познал безотцовщину, а с ней — тяжкий труд чернорабочего, ткача, каменотеса.

Когда взревели пушки первой мировой войны, восемнадцатилетний Костя Рокоссовский добровольцем пошел в армию, попросился в кавалерию и стал унтерофицером 5-го Каргопольского драгунского полка 5-й кавалерийской дивизии. И уже в первых боях показал себя отчаянным конником-рубакой, заслужив воинскую награду — Георгиевский крест.

Вступив в Красную Армию и став в 1919 году коммунистом, Рокоссовский участвовал в боях против гайдамаков, анархо-бандитских отрядов, колчаковцев, семеновцев, громил беляков в Забайкалье, Приморье, в Монголии. За личную храбрость и высокие командирские качества красный кавалерист Рокоссовский в годы гражданской войны был награжден двумя орденами Красного Знамени.

И позвала судьба Константина Константиновича на всю его жизнь остаться военным человеком — стражем Отечества...

А ведь покойный родитель Кости мечтал о том, чтоб сын пошел по его стопам — железнодорожного машиниста. Иногда в кругу семьи отец рассказывал о том, какая это великая профессия, как глубоко чувство восторга, особого душевного взлета, когда перед его паровозом вскидывалась плоская рука семафора, открывая путь к следующей станции и как бы делая на этой дороге его, машиниста, полновластным хозяином. Сын же, Костя, испытал нечто подобное, зашагав по ступеням военной службы в Красной Армии, достиг постов командира эскадрона, отдельного дивизиона, затем командира кавалерийского полка... Далее — учеба на курсах усовершенствования комсостава, через несколько лет — на курсах усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени Фрунзе... И ему казалось, что «семафор жизни» теперь никогда не опустится перед ним — заслуженным, обстрелянным, увенчанным высокими боевыми наградами и еще совсем молодым человеком. А когда назначили его командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии, воспринял это как высочайший взлет и особое доверие, понимая, что дивизия — это уже не эскадрон, а несколько полков конницы и артиллерии, и он в ответе за боевую выучку тысяч людей — красных воинов.

И уж такова логика жизни: если у тебя не закружилась голова от достигнутой и желанной высоты, если хмельно не замутился взор от блеска твоих воинских

отличий — ты неистощим в командирском деле, неукротим в решении новых задач, и тогда, как оценка твоих достоинств, неизбежно наступает время, когда надо по приказу свыше браться за еще более ответственное дело... Правда, к этому времени в тебе уже могут быть притушены дающие усладу сердцу восторженность, чувство тщеславия, довольство собой. Каждая очередная учебная игра в поле, на командном пункте или за штабными столами может не восприниматься как игра в смысле ее условности, а уже обязательно должны видеться за ней те трудные, кровавые схватки, которые рождаются в столкновении двух миров.

И разумеется, если расстанешься с родной дивизией, в выучку которой вложил немало сил, когда любое ее подразделение понятно и дорого тебе, как влюбленному в музыку настройщику пианино понятно и дорого звучание каждой струны от прикосновения к клавише, трудно удержаться от тревоги в сердце. Но если тебя, Рокоссовского, назначают командиром кавалерийского, а потом механизированного корпуса, вчерашние тревоги уходят с вчерашним днем и рождаются новые заботы, сменяя друг друга с той естественностью, как сменяются времена года.

Случалось, что в привычное и хлопотливое течение жизни врывалась беда, потрясая своей неожиданностью и своей сущностью. Так произошло в 1937 году. Необоснованный арест, вздорные обвинения в шпионаже на иностранную разведку, состряпанные затаившимися врагами Октябрьской революции, которые мечтали о возврате старых порядков, обретении утерянных богатств и с этой целью делали все возможное, чтоб ослабить командный состав Красной Армии, внести разлад в ряды партии и в ее руководство. Много несчастий принесли они советскому народу... Но Константина Рокоссовского не сломили, не поселили в его сердце злобу и обиду. Он хорошо понимал глубинный смысл происходящего и боролся за свою судьбу, за товарищей с тем упорством и с той твердой целеустремленностью, какие проявились у него еще в годы гражданской войны...

Запомнилась ему с молодой поры где-то прочитанная мысль о том, что подражать — не значит копировать; это значит работать на манер великих мастеров, это упражнять свою собственную деятельность, это — созидать в их духе и подобными же средствами. И зажила в нем эта мысль, будто вычеканенная

в мозгу светящимися словами. Дело в том, что, когда в начале тридцатых годов он командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, она входила в состав 3-го кавалерийского корпуса, командиром которого был Тимошенко. И Рокоссовский не раз ловил себя на мысли, что в повседневном обращении с подчиненными или на войсковых учениях он с каким-то внутренним постоянством стремился походить на командира корпуса. А когда позже сам стал командиром корпуса — 5-го кавалерийского, то уже не представлял своего внутреннего мира без того, чтобы не звучал в нем наставляющий голос Тимошенко, а со временем — еще и Георгия Жукова, под командование которого впервые попал он в канун освободительнюго похода в Беосарабию войск Киевского военного округа.

И речь здесь идет не о каком-то слепом подражании, а о том, что он, Константин Рокоссовский, как бы одинаково со своими военно-духовными наставниками чувствовал под ногами земную твердь и умел со своей командирской вышки устремлять мысленный взгляд в далекие окружности, увидев на огромных просторах неприятельские и свои войска, конфигурации разделяющих их линий, оценив соотношение сил и пусть даже сомневаясь, принимать решения, которые для подчиненных будут казаться единственно правильными. Мужество, твердость характера — вот что роднило его с Тимошенко и Жуковым. При этом Рокоссовский остался во многом совершенно не похожим на них: в манере рассуждать и убеждать, в умении создавать вокруг себя особую атмосферу доверчивости, заинтересованности — тоже без нервозности и напряженности. Он всегда был самим собой — Константином Рокоссовским.

В один из дней первой половины июля 1941 года, когда начальник Генерального штаба Жуков докладывал в Ставке Верховного Командования очередную сводку боевых действий на советско-германском фронте, Сталин завел неожиданный разговор:

— Товарищ Жуков, в боях под Луцком и Новоград-Волынским особо отличился девятый механизированный корпус. — Голос Сталина звучал ровно и утвердительно. — И мы многих командиров и политработников, в том числе и командира корпуса, наградили орденами...

— Так точно, товарищ Сталин, — подтвердил Жуков.

— И вы часто, — продолжал Сталин, — обозревая события на Юго-Западном фронте, подчеркиваете удачные боевые действия девятого механизированного корпуса. Он действительно лучший наш корпус?

— Дерется уверенно, товарищ Сталин. В пятой армии — это главная ударная сила... — ответил Жуков. — Хорошая подвижность в маневре, осмотрительное прикрытие флангов. Ну и стойкость в обороне...

— Если мне не изменяет память, командует девятым корпусом генерал Рокоссовский?

— Так точно, товарищ Сталин.

— Тот самый Рокоссовский, о котором вы с Тимошенко писали мне, что он необоснованно был репрессирован?

— Так точно, тот самый. Как видите, мы не ошиблись.

— Вижу, — со строгостью в голосе согласился Сталин, кинув вопросительный взгляд на сидевших за длинным столом Молотова и Кузнецова — наркома Военно-Морского Флота. — Вы оказались правы... И сейчас я вот о чем думаю: у нас самое неустойчивое положение в районе Смоленска. Немцы прорвались к Ярцеву, нацеливаются на Вязьму. Это уже непосредственная угроза Москве. Не перебросить ли нам Рокоссовского под Ярцево?

— Нельзя, товарищ Сталин. Этим мы обескровим пятую армию, откроем немцам путь на Житомир и Киев, — подавленно возразил Жуков. — Никак нельзя...

— Вы меня неправильно поняли. — Сталин привычно для всех стал набивать трубку, предварительно вышелушив табак из двух папирос «Герцоговина-Флор».— Я имею в виду самого Рокоссовского. Надо назначить его командующим армией и поставить перед ним задачу не пустить немцев в Ярцево и не дать им форсировать Вопь.

Жуков молча смотрел на Сталина, углубившись в какую-то мысль.

— Почему молчите? — требовательно спросил у него Сталин. — Или вы не согласны, что Западному фронту надо помогать не только резервами войск и техники, но и надежными, толковыми командными кадрами?

— Согласен... Рокоссовского мы найдем кем заменить на Юго-Западном... Но где мы возьмем для него армию на Западном?.. Сместить кого-нибудь из командующих резервных армий?

— Нет! — твердо возразил Сталин. — Над этим пусть думает Тимошенко. Надо приводить в порядок войска, выходящие из окружения... Группировать их надо! И изъять часть сил у девятнадцатой армии... Она ведь распадается!

— Возражений нет, — коротко ответил Жуков как о решенном вопросе.

— Нет возражений? — Сталин посмотрел на Молотова и Кузнецова. — А вопросы?

— Есть вопрос, товарищ Сталин, — с улыбкой вдруг сказал Молотов. — Давно собираюсь спросить у тебя: зачем ты потрошишь папиросу? Почему не распорядишься, чтоб этот табак доставляли тебе в натуральном виде?..

— Можно, конечно... Можно распорядиться, чтоб и трубку набивали и раскуривали ее. Но зачем? Набить трубку табаком — это приятный, так сказать, ритуал... Не работа для пальцев, а активизация работы мысли.

— Ясно. — Молотов тихо засмеялся. — Ты из трубки мысли высасываешь.

— А ты полагал, что из пальцев? — Глаза Сталина при зажженной спичке вспыхнули молодым лукавством. — Вот сейчас, например, у меня родился вопрос о наших проблемах международного порядка, которыми заправляет товарищ Молотов... Как там они у нас?

— На должном уровне, — в тон Сталину ответил Молотов. — Особенно после того, как Председатель Совнаркома СССР товарищ Сталин дважды — 8 и 10 июля — принял английского посла в Советском Союзе Стаффорда Криппса и вместе с наркомом иностранных дел товарищем Молотовым вел с послом переговоры. В последние дни Наркомат иностранных дел готовил и предварительно согласовывал с английским посольством проект соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против фашистской Германии... Как условились, сегодня будем подписывать. — И Молотов, раскрыв оклеенную красным шелком папку, придвинул ее к краю стола, поближе к Сталину.

— Мне разрешите отбыть? — спросил Жуков, приняв стойку «смирно».

— И мне? — из-за стола поднялся Кузнецов.

Сталин, вынув изо рта трубку, в знак согласия кивнул им.

28

Полог у палатки был откинут, и сквозь вход виднелся в синем сумраке лес. Рокоссовский лежал на узкой железной кровати с тощим матрасом, покрытым плащ-накидкой, натянув на себя колючее грубошерстное одеяло, и смотрел в лес. Проснулся он внезапно, как от толчка, хотя чувствовал себя невыспавшимся. Можно б еще поспать: утро было где-то еще на востоке, а здесь рассвет только начинал вытеснять из леса ночь. Но сон уже не шел к Константину Константиновичу, и он, отбросив одеяло, рывком поднялся с кровати. Опустил ноги — и будто обжегся: трава в палатке была росной, холодной, а сегодня генерал спал разувшись, чтоб дать отдых ногам. И он опять лег, накрывшись одеялом: «Ну еще пяток минут...»

Роса на траве будто прояснила его мысли: всплыл в памяти виденный странный сон...

Уже пошла вторая неделя с тех пор, как генерал-майор Рокоссовский встретил на развилке Минской магистрали и короткой дороги на Вязьму раненого генерала Чумакова, а разговор с ним все не забывался. Часто вспоминался Константину Константиновичу ответ Чумакова на вопрос о том, какой опыт вынес он из боев. Тогда слова его показались наполненными самым элементарным смыслом: «...Максимум сил для противотанковой обороны и обязательное наличие хоть каких-нибудь артиллерийско-противотанковых резервов... Ну и связь...» А сегодня эти слова пригрезились ему во сне, но произнес их почему-то не генерал Чумаков, а покойный отец, Ксаверий Юзеф. И это было до невероятности странным, ибо отец, сколько ни являлся к нему во сне, всегда был безмолвным, хотя в глазах его постоянно светился невысказанный укор. Константин Константинович очень хорошо понимал, в чем упрекал его покойный отец, и просыпался с чувством неискупимой вины перед ним, с тяжелым, тоскливо ноющим сердцем. Ведь действительно он, урожденный Константин Ксаверьевич, сам того не желая, в 20-х годах переменил отчество на Константинович — для упрощения, ибо во всякого рода документах имя Ксаверий то и дело перевиралось, писалось неправильно. А однажды в какой-то

бумаге назвали его Константином Константиновичем, и он наконец смирился с этим, перестав и сам именовать себя Ксаверьевичем.

А когда прошли годы и он поднялся до новых вершин мудрости, когда понял, что имя хорошего отца, как и матери, священно, тогда словно прозрел, стал чувствовать вину перед отцом, и укоряющие мысли об этом часто переносились в сновидения, воскрешая в затуманенной сном памяти далекий, полузабытый образ отца.

Генерал Рокоссовский не был суеверным человеком, не верил ни в дурные приметы, ни в вещие сны, однако сегодняшний сон почему-то встревожил его, посеял смуту в сердце и заставил мысленно оглядеться, откуда можно ждать беды. А ждать ее здесь надо было каждый день, каждый час, он понимал это, зная, что стоит со своим войском на самом главном острие войны.

И будто увидел сквозь недалекое расстояние древний, овеянный легендами, составлявшими военную историю России, Смоленск. И сейчас, в это смертное время, Смоленск величаво, как могучий, вросший в глубь России утес, стоял на самой яростной стремнине вражеского нашествия. Стоял и сражался, стоял и, сражаясь, звал себе на помощь близкие и дальние земли России.

Вчера вечером из 16-й армии генерала Лукина вернулся офицер связи капитан Безусов. Усталое, блеклое лицо его с глубоко запавшими коричневыми глазами было взволнованным и в то же время по-особому одухотворенным. Константин Константинович знал, что на недалеких соловьевской и радчинской переправах через Днепр не прекращалось кровавое столпотворение тысяч машин и десятков тысяч людей — раненых, беженцев, окруженцев, и догадывался, что капитан Безусов, пройдя под непрерывной бомбежкой и непрестанным артиллерийским обстрелом одну из этих узких, страшных теснин, сейчас чувствовал себя человеком удачливой военной судьбы и словно вернувшимся с того света. Когда капитан Безусов сбивчиво докладывал о виденном им в Смоленске и в частях армии генерала Лукина, Рокоссовскому вдруг почудилось, что это лично он побывал в том сражающемся древнем русском городе и, как и капитан Безусов, испытывал то душевное потрясение, которое сродни некоему гордому «вознесению духа», трепетной взволнованности, рождающимся только при виде чего-то величественно-грандиозного, трудно поддающегося осмыслению, а тем более описанию.

Капитан привез с собой и копию боевого донесения штаба 16-й армии в штаб фронта, напечатанную под избитую копирку, однако легко читаемую. Генерал Лукин тоже не без взволнованности писал:

«С 25 на 26 июля противник решил усилить гарнизон г. Смоленска. 137-я пехотная дивизия 8-го армейского корпуса немцев прорвалась по северному берегу Днепра и приготовилась нанести удар по тылам 152-й стрелковой дивизии, наступавшей с запада на Заднепровье г. Смоленска. Командир 152-й стрелковой дивизии полковник П. Н. Чернышев проявил осмотрительность. Наступая двумя полками, он оставил два полка в резерве (один из них сформирован из отбившихся частей 19-й и 20-й и других армий под командованием полковника Александрова). Рано утром разведка донесла, что большие колонны пехоты противника, орудий и машин сосредоточиваются невдалеке от переднего края нашего 644-го стрелкового полка в редком лесу, что западнее Смоленска. Полковник Чернышев, выждав удобный момент, четырьмя артиллерийскими полками, двумя дивизионами и двумя полками артиллерии резерва Главного командования и сдвоенными и счетверенными зенитными пулеметами, установленными на машинах, одновременно открыл ураганный огонь по заранее пристрелянным квадратам. В лагере противника началась невероятная паника.

646-й стрелковый полк под командованием майора Алахвердяна и «сборный» стрелковый полк под командованием полковника Александрова, упредив противника в развертывании, перешли в наступление. Бой был коротким, но по последствиям для противника печальным. Это действительно была 137-я пехотная дивизия 8-го армейского корпуса 9-й армии, укомплектованная австрийцами.

Захвачены богатые трофеи и более трехсот человек пленных. Многие наши воины вооружились немецкими автоматами, которые очень пригодились впоследствии...»

Далее генерал Лукин докладывал в штаб фронта, что ощутимую помощь армии начали оказывать партизаны, проявляя при этом невиданную дерзость, героизм и умение сочетать свои действия с действиями войск. Командует партизанским отрядом присланный из Москвы Батя — Коляда Никифор Захарович, человек необычайной храбрости и мужества.

Упоминание в донесении имени Никифора Коляды всколыхнуло память Рокоссовского, устремив ее в дальние годы гражданской войны, когда командовал он 35-м кавалерийским полком, входившим в состав 35-й стрелковой дивизии. Тогда полк Рокоссовского прикрывал в районе станицы Желтуринской участок советско-монгольской границы от набегов банды атамана Сухарева и крупных конных белогвардейских сил барона Унгерна. Вот тогда и был он наслышан об одном из руководителей партизанского движения в Приморье, Никифоре Захаровиче Коляде. Особенно пространно рассказывал о нем Петр Щетинкин, который тоже возглавлял партизанское движение, но в Сибири. Во время боев с войсками Унгерна отряд Щетинкина был объединен с его, Рокоссовского, кавалерийским полком... Кстати, тогда же, когда Щетинкина и Рокоссовского за проявленные отличия в бою у станицы Желтуринской наградили орденами Красного Знамени, родилась легенда, будто барона фон Унгерна захватил в плен именно он, Константин Рокоссовский, и ему пришлось даже письменно доказывать, что это не так. Главаря белогвардейских банд пленили бойцы монгольской Народно-революционной армии и передали его партизанам Щетинкина, а Рокоссовский, допросив Унгерна, приказал отправить его в Новосибирск, где барон был судим ревтрибуналом и расстрелян.

Потом, в конце 20-х годов, Петр Щетинкин был инструктором монгольских пограничных войск, а он, Рокоссовский, инструктором монгольской кавалерийской дивизии. Тогда Щетинкин и умер — в присутствии его, Рокоссовского... А сегодня воскрес в памяти, встав рядом с вожаком когда-то приморских, а сейчас смоленских партизан Никифором Колядой.

Да, война есть суд силы. Давно истлели кости Унгерна фон Штернберга — прибалтийского немца, который набегами с востока пытался уничтожить Советскую власть. А сегодня с запада штурмует центр России 9-й и 4-й полевыми армиями, 2-й и 3-й танковыми группами немецкий фельдмаршал фон Бок. И ему, Рокоссовскому, приказано остановить на самом главном направлении 3-ю танковую группу Гота.

На самом главном... Ярцево, река Вопь и магистраль Минск — Москва. Именно сюда нацелен стальной наконечник могучей стрелы бронетанкового лука передовых ударных войск немецко-фашистской группы армий

«Центр». Это хорошо уяснил генерал-майор Рокоссовский еще там, в Касне, где располагался штаб Западного фронта, когда он явился к маршалу Тимошенко. В кабинете главнокомандующего застал члена Военного совета фронта Булганина и начальника политуправления Лестева. Лица у всех были хмурыми, озабоченными. Заулыбался при появлении Рокоссовского только Тимошенко, выразив ему свои давние симпатии и крепким рукопожатием, когда тот доложил о своем прибытии «для дальнейшего прохождения службы». Встретились ведь бывшие кавалеристы-сослуживцы. С этого и начал разговор Тимошенко:

— Забудь, конник, былую тактику. Тебе предстоит задача сразиться с крупными танковыми и моторизованными соединениями врага, — и далее кратко обрисовал обстановку на Западном фронте. Ее суть, как понял генерал Рокоссовский, сводилась к тому, что центральная группа армий противника прорвала на нескольких участках фронт нашей обороны, устремилась в глубь советской территории, имея главную задачу окружить или уничтожить соединения Красной Армии в районах Невеля, Смоленска и Могилева. Многого немцы уже достигли и, полагая, что на московском стратегическом направлении войска Красной Армии обескровлены окончательно, решили, не дожидаясь полного подхода своих полевых армий, скованных боями с нашими войсками западнее Минска, силами 2-й и 3-й танковых групп рассечь войска Западного фронта на нескольких направлениях и устремиться к Москве.

Когда Рокоссовский побывал в оперативном и разведывательном отделах штаба, настроение его ухудшилось: ощутилась нервозность работников отделов оттого, что была утрачена связь с 19-й армией Конева и 22-й Ершакова. Кое-какие горячие головы уже грозили генералу Коневу ревтрибуналом, хотя было неизвестно, что происходило в полосе его армии.

Хождения по отделам штаба прервали сигналы воздушной тревоги. А затем началась бомбежка — массированная и длительная. Немцам удалось частично подавить батареи зенитной артиллерии, прикрывавшие расположение штаба фронта, и их бомбардировщики нагло пикировали на здания, землянки, машины... Ничего подобного в своей жизни генерал Рокоссовский еще не переживал... Штаб понес тяжелые потери.

Когда ехал в направлении Вязьмы, в памяти звучали

слова маршала Тимошенко, сказанные на прощание: «Подойдут регулярные подкрепления — дадим тебе две-три дивизии, а пока подчиняй себе любые части и соединения для организации противодействия врагу на ярцевском рубеже». И маршал вручил документ, в котором указывалось, что ему, генерал-майору Рокоссовскому, даны полномочия приказывать от имени Военного совета Западного фронта.

Это, кажется, был один из последних документов, на котором перед фамилией Тимошенко или на его именном бланке значилось: «Народный комиссар обороны СССР», ибо через два дня Политбюро ЦК эту должность возложило на Сталина, сосредоточив усилия маршала Тимошенко на Западном направлении как главнокомандующего.

За Вязьмой магистраль Минск — Москва с наступлением ночи делалась все оживленнее — никто не опасался налета немецких бомбардировщиков. Но зато все чаще останавливалась группа машин, которую возглавлял в закамуфлированном легковом автомобиле ЗИС-101 генерал Рокоссовский. В кабине следовавшего сзади грузовика ехал начальник штаба подполковник Тарасов Сергей Павлович, а в кузове, как и в машинах со счетверенными пулеметами, до двух десятков командиров; для половины из них армейское дело являлось главной профессией — все они закончили Военную академию имени Фрунзе. Это и был штаб создававшейся оперативной группы войск генерал-майора Рокоссовского.

Здесь, на магистрали Минск — Москва, штаб начал свою боевую деятельность, приостановив движение пеших и автоколонн, будто перекрыв могучей плотиной реку. Сам Рокоссовский и командиры его штаба тут же на шоссе определяли, что̀ за подразделения движутся в сторону Вязьмы. Это были остатки растрепанных немцами наших воинских частей, или вырвавшиеся из окружения группы, либо просто одиночки, отбившиеся от своих подразделений. Среди них назначались старшие, записывались их фамилии и номера частей, в которых они до этого служили, и на их картах точно указывались места, куда они должны немедленно следовать. Места эти находились в лесах близ реки Вопь, справа и слева от магистрали Минск — Москва, и недалеко от Ярцева. У кого не было карт, им тут же на чистом листе бумаги рисо-

вали кроки — соответствующую карте схему с обозначением ориентиров. Каждый из старших обязан был по прибытии в указанное место лично доложить об этом в штаб Рокоссовского...

И к утру от Вязьмы до Ярцева живая людская река будто потекла вспять. Только машины с ранеными да беженцы продолжали двигаться навстречу изменившему направление потоку.

Как и полагал генерал Рокоссовский, не могло быть совсем не прикрытым главное место, через которое враг рвался к Москве. К приезду Константина Константиновича в районе Ярцева на Вопи уже оборонялась прибывшая из Северо-Кавказского военного округа 101-я танковая дивизия Героя Советского Союза полковника Г. М. Михайлова. Восточнее Ярцева закопалась в землю 38-я стрелковая дивизия полковника М. Г. Кириллова, ранее входившая в состав 19-й армии (при отступлении она потеряла связь со штабом генерал Конева). Южнее Ярцева оборонял днепровские переправы сводный отряд полковника Лизюкова Александра Ильича. А в подступавших к Вопи лесах накапливались подразделения, которые были остановлены на магистрали Минск — Москва между Вязьмой и Ярцевом. Сила это немалая, если учитывать полнокровность той же 101-й танковой дивизии. В ее двух танковых и двух мотострелковых полках насчитывалось вместе с резервом командира дивизии 415 танков, хотя 318 из них были легкими и устаревшими. Резерв командира дивизии состоял из пяти тяжелых машин «Клим Ворошилов» (КВ) и десяти — Т-34. В дивизии, кроме танковых и мотострелковых полков, были еще два артиллерийских полка, отдельный зенитный артиллерийский дивизион, отдельный разведывательный и отдельный инженерный батальоны...

Не удержаться бы советским войскам на Вопи, если б не было там этих внушительных сил, когда враг, форсировав реку, овладел Ярцевом. Здесь наносили удары танковые соединения Гота, а также 7-я и 12-я танковые дивизии, моторизованные части из танковой группы Гудериана и воздушный десант, выброшенный северо-западнее Ярцева. Каждый день враг переходил в наступление, сопровождая его могучими бомбовыми ударами и шквалами артиллерийско-минометного огня.

Стойко оборонялись войска группы генерала Рокоссовского. Этому способствовало не одно лишь их упорство, но и умелая расстановка сил, своевременный и

точный маневр огневыми средствами. Сказалось и то обстоятельство, что почти заново сформировался штаб группы: командование фронта прислало в распоряжение Рокоссовского полный состав штаба 7-го механизированного корпуса со всеми отделами и техническими средствами. Корпусом командовал генерал Виноградов Василий Иванович — ветеран гражданской войны, опытный войсковик, особо отличившийся в советско-финляндской войне. Энергичный и целеустремленный, он стал заместителем Рокоссовского. Штаб же группы возглавил полковник Малинин Михаил Сергеевич. После окончания в 1931 году Военной академии имени Фрунзе он был на штабной и на преподавательской работе и знал штабное дело на всю глубину его сложностей. Рокоссовскому будто стало легче дышать при столь ощутимом подкреплении.

27 июля, когда противник крупной танковой колонной пытался в районе Соловьева смять нашу оборону и захватить плацдарм на восточном берегу Днепра, вовремя подошла 108-я стрелковая дивизия полковника Миронова из 44-го стрелкового корпуса и, с ходу вступив в бой, помогла отбросить и частично уничтожить вражеские танки. В этот же день главнокомандующий Западным направлением подчинил 44-й стрелковый корпус генерал-майора Юшкевича Василия Александровича генералу Рокоссовскому.

И вот 28 июля первый наступательный бой с самыми серьезными целями — то самое сражение, которое планировалось маршалом Тимошенко как составная часть удара пяти армейских групп в направлении Смоленска. Наносить удар раньше было невозможно: немцы рвались к Вязьме, и Рокоссовскому приходилось только обороняться...

Мысль о начале наступательной операции будто обожгла Константина Константиновича, и он рывком поднялся с неуютной постели.

— Хватит обороняться! — сказал он сам себе и начал обувать сапоги.

29

Солнце еще не опалило верхушек елей и сосен, поднимаясь в далеких далях над горизонтом, зашторенным грядами невидимых облаков. Но уже было светло, особенно там, впереди, где на окраинах Ярцева, среди кро-

шева камня и земли, таилась первая линия немецкой обороны. Генерал Рокоссовский неотрывно глядел в стереотрубу, закрепленную на деревянной площадке наблюдательного пункта, вознесенной к самой вершине вековой ели, недалеко от опушки. Лес могучими массивами теснился к Ярцеву, нависая с двух сторон города над Вопью, окаймленной кудрявым ивняком. Справа виднелась черная насыпь железной дороги на Вязьму, а чуть дальше за ней — серая лента пустынной автомагистрали... Как застывшая река. И все вокруг казалось застывшим. Даже верхушки деревьев. Будто ветер затаил дыхание или вовсе умчался из этих мест. Было непривычно: в окулярах стереотрубы не колыхалась, как всегда, земля со всем тем, что было на ней. Ярцево совсем близко от наблюдательного пункта командира 101-й танковой дивизии, куда забрался по высокой, прочной, грубо сколоченной лестнице генерал Рокоссовский. Рядом еще одна площадка на дереве: там приник к стереотрубе командир дивизии.

Город напоминал Константину Константиновичу гигантское заброшенное и захламленное кладбище. Сколько охватывал взгляд, везде высились печные трубы сгоревших или разрушенных домов. И будто донесся от них запах гари, хотя воздух был неподвижен, чист и звучен. Темные, закопченные трубы походили на каменные надгробия. В чем же секрет их прочности?

Над нашим передним краем вдруг взмыли в небо красные ракеты, чертившие дуги, склоненные в сторону противника. И в это время где-то сзади, в гигантских далях, выглянуло из-за стены облаков солнце, высветив Ярцево и курчавые кусты зелени над Вопью. А ближе к лесу, вправо и влево, широко распахнулась густая тень от деревьев, словно для того, чтобы незаметнее были исходные позиции наших танковых полков.

Константин Константинович разглядел, как в этой тени падали наземь ветви кустов, обнажая танки... Много танков! Все они почти одновременно выдохнули черно-сизые облака дыма и стронулись с места.

Полки наступали боевым порядком в линию рот, в два эшелона. С началом танковой атаки ударили по заранее разведанным огневым точками и позициям наши артиллерия и минометы... Поднялись пехотные батальоны 38-й стрелковой дивизии. И оттуда, где все пришло в движение, вдруг упругой волной пахнул в лицо ветерок; колыхнулись верхушки деревьев, заскрипел под

ногами настил наблюдательного пункта, а в окулярах стереотрубы поле боя начало то чуть вздыбливаться в небо, то опускаться вниз. Генерал Рокоссовский плотно прижался бровями к резиновым наглазникам окуляров и опытной рукой притронулся к механизму вертикальной наводки. И на какие-то мгновения ему почудилось, будто не танки и пехота приближались к окраинам Ярцева, а он вместе с наблюдательным пунктом и всем лесом медленно уплывал назад.

Немцы недавно форсировали Вопь и, захватив Ярцево, все предыдущие дни атаковали нашу оборону, выискивали в ней слабые места и готовились к решительному броску в направлении Москвы. Атака советских войск никак не предвиделась ими и оказалась оглушительно-неожиданной, как выстрел из-за угла. Об этом свидетельствовали отсутствие какое-то время ответного огня со стороны противника и мертвая неподвижность в его расположении. Но так длилось недолго.

С вершины ели хорошо было видно, как вдруг обозначились окопы переднего края немцев: там замигали вспышки начавших стрельбу пулеметов и автоматов; стремительно полетели, чертя светящиеся, чуть изогнутые пунктирные линии, трассирующие пули крупнокалиберных пулеметов, стрелявших сквозь отдушины фундаментов разрушенных домов, из-за печных труб, еще откуда-то. Из развалин ударили по танкам пушки, стоявшие на прямой наводке. Одна из них от прямого попадания нашего снаряда вдруг вздыбилась на станины, несколько мгновений постояла на них, будто на железных ногах, и тут же бесформенной грудой рухнула навзничь, откинув в сторону броневой щит и разметав вокруг себя прислугу.

А вот загорелся наш легкий танк. Из его верхнего люка один за другим проворно выскочил экипаж — три фигурки в черных комбинезонах. Отбежав в стороны, танкисты упали на землю, и это было вовремя: подбитый танк вдруг взметнул над собой огонь и облако дыма. С удивительной легкостью слетела с него башня, похожая издали на шляпу, сорванную ветром с чьей-то головы.

Передние танковые роты ворвались в Ярцево и попали под огонь вышедших им навстречу немецких танков. Все больше загоралось или останавливалось подбитыми наших легких броневых машин на гусеницах — Т-26 и БТ-7. Зато тридцатьчетверки и КВ были пока не-

уязвимыми. Рокоссовский уцепился взглядом в передний КВ, который, подминая груды развалин, безостановочно шел посреди улицы, пересекавшей город вплоть до Вопи, и непрерывно стрелял из пушки и пулеметов. Почти каждый его снаряд находил и поражал цель. В ответ откуда-то по этому КВ открыли огонь несколько немецких танков и орудий. Было видно, что их снаряды отскакивали от брони тяжелой машины, как огневые мячи, или, если это были болванки, увязали в толще металла, оставаясь торчать в ней надломленными зубьями.

Поле боя все больше покрывалось столбами черного, вьющегося в небо дыма. Стелилась по земле копоть, заволакивая Ярцево, из которого стал поспешно удирать за Вопь противник.

До слуха Константина Константиновича доносились команды полковника Михайлова, который с соседней площадки командного пункта по рации приказывал командиру 203-го танкового полка майору Мозговому и командиру вырвавшейся вперед танковой роты лейтенанту Королькову * захватить мосты через Вопь, закрепиться на правом берегу реки и обеспечить пехоте овладение плацдармами. Видимо, Мозговой просил подавить артиллерийским огнем батареи противника, стрелявшие по танкам с высоты за Вопью и за автомагистралью. На высоте виднелись остатки сгоревших домов поселка Сапрыкино. Рокоссовскому хорошо было видно, как там взвихривалась перед немецкими пушками после каждого их выстрела пыль.

— Сейчас обработаем Сапрыкино! — с угрозой в голосе пообещал кому-то полковник Михайлов.

В это время кто-то подал голос с земли, обращаясь к Рокоссовскому:

— Товарищ генерал, вас просят немедленно прибыть в ваш штаб!

«Что-то случилось... Где-то прорыв...» — Сердце Рокоссовского екнуло, и он торопливо стал спускаться по лестнице вниз.

А между тем бой за Ярцево продолжался. Дорого давался 101-й танковой и 38-й стрелковой дивизиям этот город, зажатый лесами между Смоленском и Вязьмой. Горели или намертво останавливались подбитые снарядами десятки наших танков, все гуще покрывались тру-

---

* Офицер запаса Н. В. Корольков, живший в Воронеже, умер в начале 1986 г. *(Прим. авт.)*.

пами бойцов улицы Ярцева. Еще бо̀льшие потери нес враг, застигнутый врасплох ударом дивизий армейской группы генерала Рокоссовского.

Лейтенант Николай Корольков, находясь в танке Т-26, вел свою танковую роту, как и приказал командир батальона, во втором эшелоне. Экипаж у него пусть не очень обстрелянный (это всего лишь второй их бой), но обучен и натренирован как следует. В танке было трое: кроме него, Королькова, механик-водитель сержант Сорокин и башенный стрелок-заряжающий сержант Якушев. В первые же минуты боя Корольков видел сквозь смотровую щель, как все чаще останавливались танки первой и третьей рот, шедших в первом эшелоне. Страшно было осознавать, что во вспыхивающих машинах погибали твои товарищи-сослуживцы...

В боевом порядке наступающего батальона все больше появлялось неприкрытых прогалин. Надо было ускорять ход. Внутри танка Королькова удушье от сгоревшего пороха и от пыли — нечем было дышать. Т-26 трясло, подбрасывало, кренило в разные стороны от всего, что оказывалось под гусеницами. Но танковая сорокапятка без устали поплевывала снарядами. Вот и сейчас Корольков увидел, как из-за развалин дома вышли во фланг первой линии наших атакующих машин четыре немецких танка.

— Бронебойным заряжай! — отрывисто скомандовал лейтенант.

— Бронебойный готов! — хрипло откликнулся сержант Якушев.

Как только немецкий танк оказывается в перекрестье прицела, Корольков тотчас же стреляет из пушки. Снаряд точно попадает в смотровую щель танка, и тот, словно что-то проглотив, судорожно дергается и замирает на месте. Шедший сзади него танк свернул чуть в сторону, подставив бок под очередной выстрел пушки Королькова. Тут же закружился, подбитый бронебойным снарядом. Из него выскочили танкисты, приняв на себя пулеметные очереди... Остальные два танка задним ходом попятились за укрытие.

КВ командира полка майора Мозгового вырвался несколько вперед продолжавших атаку наших танков, и фашисты сосредоточили по нему шквальный огонь. Метко стреляли немцы: раз за разом вспыхивали густые

снопы искр и всплескивалось пламя на башне тяжелого танка от попадавших в нее снарядов. Но броня КВ не поддавалась.

Так уж случилось, что сержант Сорокин неотступно вел машину лейтенанта Королькова за тяжелым танком командира полка, а это значило, что чуть сзади, справа и слева, двигались танки его роты.

Мосты через Вопь немцы не успели подготовить к взрыву. У них ведь и в мыслях не было, что русские могут вторгнуться в Ярцево. Это позволило нашим танкам, смяв боевые порядки немецких подразделений и протаранив развалины города, оказаться вскоре за Вопью, преодолеть у станции Ярцево насыпь железной дороги и достичь автомагистрали Минск — Москва севернее совхоза «Первомайский».

На шоссе танк Мозгового остановился — очень уж выгодная позиция: крутая насыпь за кюветом укрывала нижнюю часть машины, а из башни хорошо просматривался поселок Сапрыкино, и можно было прицельно бить по стоявшим там немецким батареям и скапливающимся танкам. Лейтенант Корольков тоже приказал Сорокину остановить танк на автостраде. Справа и слева встали и другие наши танки. Огонь их по Сапрыкину был густым и губительным.

Сзади часто заухали взрывы мин. Значит, минометные батареи немцев где-то рядом, если бьют с перелетом. Надо было держать ухо востро, не прекращать огня. Но дым от горящих наших и немецких танков, пыль, поднятая гусеницами, взрывами снарядов, мин и выстрелами танковых пушек, ослепляли Королькова. Часто приходилось стрелять наугад — по любому темному пятну, которое вдруг показывалось сквозь редеющую временами дымную и пыльную завесу.

По велению какой-то тревоги Корольков открыл крышку башни и увидел в небе большую группу бомбардировщиков. Тяжело гудя моторами, они шли со стороны Смоленска. «Юнкерсы»!

Страх холодной шваброй прошелся по спине. В сердце стало тоскливо, а мозг будто вдруг воспалился, суматошно требуя что-то предпринять. Лейтенант огляделся по сторонам и только сейчас заметил, что автомагистраль справа и слева загромождена разбитыми и сгоревшими немецкими танками, грузовиками, тракторами-тягачами. Как успели засечь их наши артиллеристы и накрыть столь плотным огнем? И как майор Моз-

говой с ходу нашел свободное место на шоссе, чтоб так удачно поставить свой танк и дать пример командирам других экипажей? Во всяком случае, ситуация до сих пор работала против гитлеровцев: ты для их наземного огня почти неуязвим, а перед тобой все пространство заполнено целями, которые можно поражать. Но стрелять больше нельзя. Сверху сразу же станет видно, где чьи войска. Стрелять — значит заведомо подставить себя под бомбовый груз «юнкерсов». Страшно! Страшно от своей неподвижности и оттого, что ты виден с воздуха и представляешь собой и своим танком заманчивую мишень для удара. Уклониться от него невозможно. Только брезжила слабая надежда на то, что немецкие летчики промахнутся или позарятся на какие-то другие цели. Корольков начал считать самолеты и сбился со счета на шестом десятке, как раз в тот момент, когда из района поселка Сапрыкино взметнулись в задымленное небо три зеленые ракеты. Это немцы указывали с земли своим летчикам, в каком направлении надо обрушивать бомбовый груз.

Лейтенант Корольков тут же заорал сержанту Сорокину, который в это время, как загнанный пес, учащенно дышал хлынувшим в открытый передний люк воздухом, не столь раскаленным, как внутри танка:

— Сорокин! Давай три зеленые ракеты вперед себя! В сторону фашистов.

Сорокин — парень сообразительный и проворный. Тут же, схватив из зажима на боковой стенке ракетницу, мгновенно зарядил ее патроном с зеленым пыжом и, высунув руку в открытый люк, пальнул в небо — в направлении поселка Сапрыкино. Затем еще дважды... Его примеру последовали другие экипажи полка майора Мозгового: в вышину взвились еще с десяток зеленых огней, по наклонной падая затем в сторону артиллерийских позиций немцев.

Сколько уже случалось подобных ситуаций на разных участках фронта, и, пожалуй, можно было не надеяться на то, что вражеские летчики еще раз обмишулятся! Но, как говорят, и сейчас бог был на стороне тех, за кем была правда. Да и наверняка там, где базировались «юнкерсы», еще не ведали, что Ярцево отбито у немцев. И бомбардировщики, будто принюхиваясь к земле, сделали огромный круг над полем боя, затем вдруг начали пикировать на поселок Сапрыки-

но, где в районе огневых позиций батарей скапливались для контратаки немецкие танки и мотопехота.

Тяжелый грохот бомбежки сливался со взрывами мин и снарядов, пальбой орудий и минометов, стуком автоматических немецких пушек, продолжительными очередями пулеметов и короткими — автоматов. И взрывались танки — наши и немецкие, — заполняя воздух вокруг черной копотью, дымом, пылью и смрадом. Казалось, что горит сама сотрясающаяся земля, тлеют развалины домов. Было похоже, что на огромной сковороде что-то поджаривается, горит, взметывается с огнем вверх и грузно падает.

Жестоко бомбили немецкие летчики свои войска, полагая, что это зашедшие им в тыл советские части. Но на последнем круге один из «юнкерсов» вдруг спикировал на КВ майора Мозгового. Лейтенант Корольков, заметив это, поспешил захлопнуть люк. Бомба врезалась в асфальт между танками. Земля под ними колыхнулась. Осколки, ударив по Т-26 лейтенанта Королькова, заставили броню издать оглушающий колокольный звон.

У «юнкерса», видимо, это была последняя бомба... Когда самолеты потянулись один за другим в направлении Смоленска, лейтенант Корольков облегченно вздохнул и открыл люк.

30

Война для военачальника — это потери и обретения, душевная боль и восторженные парения чувств. Не успел Константин Константинович Рокоссовский порадоваться, что удалось, пусть с немалыми потерями, отбить у захватчиков Ярцево — важный для них пункт на путях к Москве, как в груди поселилась тоскливая тревога о переправах через Днепр в районах сел Соловьево и Радчино. Когда ему на командно-наблюдательный пункт 101-й танковой дивизии передали просьбу полковника Малинина немедленно приехать в свой штаб, он, испытывая нетерпение узнать о причине такой экстренности, тут же связался по телефону с Малининым и по его отрывочным, полузашифрованным фразам понял: действительно немцы захватили обе переправы, оттеснив наши войска за Днепр. Теперь армии генералов Курочкина и Лукина оказались полностью изолированными, что грозило им близкой и неминуемой

гибелью, ибо без продовольствия и боеприпасов, которые доставлялись им через эти переправы, долго не провоюешь.

Рокоссовский ехал в открытом «газике», ощущая при быстрой езде утреннюю прохладу. Справа и слева к автомагистралям подступал лес, чередуясь с золотой желтизной ржи или пшеницы на небольших безлесных клиньях; кое-где густо белела цветущая картошка, и чудилось, что машина мчится сквозь ее приятно-тяжелый запах... Да, война сюда еще не зашагнула...

Вспомнился Лизюков Александр Ильич, который с небольшим отрядом защищал от немцев соловьевскую переправу. «Вся надежда на него». И будто увидел пятидесятилетнего Лизюкова — крутолобого, рано облысевшего; его глаза всегда смотрят с добродушным прищуром. Он был сыном сельского учителя, вначале окончил шесть классов Гомельской гимназии, в девятнадцатом году стал бойцом Красной Армии. Учился, воевал, опять учился —закончил военную академию, сам преподавал тактику в академии. Потом командовал — батальоном, полком, танковой бригадой, 1-й Московской мотострелковой дивизией. Уже проявил себя на войне при отходе от Минска и при обороне Борисова... Опытен, умен и чертовски храбр. Если Лизюков не удержал переправу, то дело совсем худо — трудно будет ее вернуть.

До штаба армейской группы от Ярцева — восемь километров. Штаб располагался в стороне от автомагистрали Минск — Москва, в глубоком, со многими отрогами овраге, густо заросшем мелколесьем. В склонах оврага были вырыты надежные укрытия — блиндажи, землянки, капониры для автомашин и лошадей. На удобных площадках кое-где были поставлены брезентовые палатки.

В штабе ощутил тревогу еще острее, когда взглянул на карту начальника штаба полковника Малинина: карта для военного человека словно волшебное зеркало — отражает не только местность с ее населенными пунктами, дорогами, высотами, реками, но и все, что происходит на этой местности, если к карте прикоснулись красный и синий карандаши командира, а тем более штабного, многоопытного. Рокоссовскому стало яснее ясного, что захват немцами переправ на Днепре означал не только гибель двух наших армий в районе Смоленска, но слияние в одну ударную силу двух груп-

пировок немецких войск: ярцевской и ельнинской. К этому немецкие военные стратеги стремились, как к необходимому и главному условию, при котором уже можно двигать свои войска непосредственно на Москву.

— Михаил Сергеевич, — обратился Рокоссовский к полковнику Малинину, — грош цена будет нам с вами, если мы не вышвырнем немцев хотя бы из Соловьева.

Их разговор прервала зашедшая в блиндаж девушка в зеленой гимнастерке и синей юбке, принесшая с собой термос с едой и два чайника — один с чаем, другой с кофе.

— Здравия желаю! — бойко поздоровалась она. — Разрешите накрыть на стол и подать завтрак?

— Разрешаем! — в тон ей ответил Рокоссовский. — А как вас величать?

— Зина!.. Зина Зайцева! Красноармеец первого года службы.

— Ну что ж, Зина первого года службы, угощайте. Есть хочется катастрофически! — Рокоссовский снял со стола карту и повесил ее на бревенчатую стену блиндажа.

Карта была с кольцами по углам, а в стену были вбиты деревянные колышки. Даже по этой малой детали можно было судить о порядке в штабе, который возглавлял полковник Малинин.

За завтраком рассуждали о приблизительных силах немцев, которым удалось сбить с соловьевской переправы заслон полковника Лизюкова, и какими резервами можно восстановить положение. А о том, что восстановить его крайне необходимо, понимали оба.

— Маршалу Тимошенко доложили о случившемся? — спросил Рокоссовский у Малинина.

Михаил Сергеевич потупился, тяжко вздохнул и, не поднимая глаз, ответил:

— Он первый сообщил мне об этом. Лизюков каким-то образом связался с ним. У нас связь с Лизюковым нарушилась.

— Ругался маршал?

— Нет... Упрекал. Спрашивал о вас. Я сказал: вышибаете немцев из Ярцева. Он ответил, что Соловьево сейчас — самое важное место на Западном фронте. Сказал: не отобьете, сам приеду и поведу бойцов в атаку.

— Он такой, он может, — хмуро усмехнулся Рокос-

совский. — В гражданскую я не раз видел его впереди эскадронов... Ну так давайте будем наскребать силенок в своих небогатых сусеках.

А время не терпело. Надо было действовать, пока к немцам не подошли подкрепления. Для начала стали выяснять, что уцелело из отряда полковника Лизюкова. Немного, но кое-что уцелело, в том числе несколько танков Т-34 из бывшего 5-го механизированного корпуса генерала Алексеенко. В резерве Рокоссовского было два дивизиона противотанковых пушек. Один из них выделили для Лизюкова. Нашлись еще пулеметная рота и несколько стрелковых рот. Важно, что все эти силы генерал Рокоссовский предупредительно сгруппировал в лесах вокруг деревни Починки, что южнее Дорогобужа, — на самом вероятном, как предполагалось, направлении, куда немцы могли нанести удар, чтобы сомкнуть ярцевскую и ельнинскую группировки. Да, не просчитался Константин Константинович.

К вечеру офицеры связи штаба Рокоссовского уже были в районе Починок, где располагались не столь внушительные, но все-таки резервы армейской группы. Они, правда, были разбросаны на различные расстояния друг от друга, и требовалось немало усилий, чтоб всех их одновременно собрать в намеченном месте — в сосновом лесу, который раскинулся восточнее Днепра, совсем близко от деревни Соловьево.

Подразделения двигались где по полевым вязким дорогам, где, придерживаясь намеченных азимутов, ориентируясь по компасам, преодолевали кочковатые луга, торфяники и болота. По непроходимым топким болотам пехота шла на «вениках» — связках-снопиках из прутьев березы, ольшаника, орешника, прикрепив их к сапогам, как лыжи. Кто-то из связистов обливался горючими слезами, когда для этой цели сматывали с катушек и резали на куски телефонный кабель.

Это был один из незаметных подвигов, совершенных на войне. Люди лишались последних сил, но в назначенное время, к рассвету, все подразделения собрались в сосновом лесу.

Полковник Лизюков, разослав по лесу связных, собирал на опушке командиров, знакомился с ними и с наличием в подразделениях живой силы и боевой техники. Все делалось быстро, но без нервозности. Впечатляла строгая деловитость Лизюкова, его энергичные призывы к четкости действий. Ведь еще надо было,

прежде чем схватиться с врагом, преодолеть почти открытый трехкилометровый заливной луг, отделявший сосновый лес от соловьевской переправы на Днепре. А перед этим необходимо успеть наладить взаимодействие пулеметчиков, стрелков, артиллеристов, минометчиков, танкистов.

Артиллерия была на конной тяге, и командир дивизиона попросил подстраховать его силами пехоты, на случай если немцы перестреляют лошадей. Лизюков объединил артиллерийский дивизион со стрелковым батальоном, закрепив за каждым орудием по одному отделению пехотинцев.

Но самым тяжким для Лизюкова было преодолеть чувство отчуждения у командиров да и у всей огромной массы собранных — с бору по сосенке — людей. Армия — это как бы совокупность больших семейств: полков, батальонов, рот, где почти все друг друга знают, друг за друга в ответе. И если такая семья идет в бой, то чувствует свое единство и свои взаимообязательства. А тут взяли да выдернули всех из своих семей, объединили с чужими подразделениями и поставили задачу, совершенно неожиданную, многим пока непонятную по ее значимости, но ясную в том смысле, что она смертельно опасна и что многим из них не дожить до вечера.

Алексею Ильичу надо было успеть побывать в разных уголках леса, суметь сказать людям самые нужные слова и так отдать распоряжения командирам, чтоб в них увиделись разумность, возможность выполнения задачи и, самое главное, чтоб почувствовалась всеми несомненная вера его, полковника Лизюкова, в то, что сам он тоже полагается на всех этих людей, откровенно говорит им об опасности и трудности задачи и каким-то чудодейственным образом их сомнения вытесняет простой верой и даже восторженностью от того, что каждый, кто попал под командование полковника Лизюкова, начинает понимать: ему оказана особая честь идти в атаку в том самом главном месте войны, где, возможно, решается ее судьба и где бессмертие главенствует над смертью. Великое и радостное это чувство для солдата, понимающего, что пусть даже он, может, погибнет от пули-дуры, от случайного осколка, погибнет незаметно для товарища, который по закону солдатского братства должен, прежде чем уйдет из штаба казенное извещение о смерти побратима, написать семье, что

ее кормилец или будущий кормилец уже не имеет будущего, ибо почил в смоленской земле, сраженный железом европейского изготовления.

И он сумел. Он — Лизюков, человек необыкновенного обаяния, тонко понимающий человеческую душу, знающий несколько иностранных языков, он сумел своей взволнованностью, недосказанностью фраз, сдержанными жестами рук и элементарным умением заставить всех, кто его слушает, зрительно увидеть, как сложилась обстановка на фронте, и пояснить, убедить, что эту обстановку крайне нужно и можно изменить в свою пользу и все, кто к этому приложит силы, будут отмечены по достоинству.

Правда, слова о наградах никого особенно не впечатляли. Знали главное: дальше пускать немцев нельзя. Надо остановить их, доказав, что русский человек на свой земле сильнее пришельца.

Лизюков не был голосистым оратором, но он был тем человеком, который без труда умел находить путь к сердцу другого человека.

Встал вопрос: наступать после артиллерийской подготовки или атаковать с ходу, внезапно? Но внезапность не получалась. Уже рассвело, люди после тяжкого перехода из района Починок еще не отдышались, не набрались сил. Впереди же — до трех километров открытого места. Их надо было преодолеть на одном дыхании... Не выйдет. Немцам удастся перестрелять всех еще на подступах к Днепру.

И полковник Лизюков решил провести артиллерийскую подготовку, выбрав огневые позиции в стороне от леса, в луговом кустарнике. Дождались, когда солнце окрасило воды Днепра и в оптических приборах полуразрушенная деревня Соловьево вырисовалась во всей своей жалкой измочаленности прежними бомбежками и обстрелами. Тут же были нанесены на артиллерийские планшеты свежевырытые немцами, обращенные брустверами на восток траншеи и отдельные пулеметные гнезда, подготовлены данные для стрельбы по ним. Пехота в это время группировала команды умеющих плавать, так как понтонная переправа через Днепр была разрушена. Предусматривалось все...

По единой команде десятки пушек выплеснули из стволов пламя. Будто молнии полыхнули громами туч

и обрушили свою испепеляющую силу на западный берег Днепра.

Больше часа длилась артиллерийская обработка целей на окраинах Соловьева. Местность вокруг деревни заволоклась непроглядной пеленой дыма и пыли. Этого и дожидался полковник Лизюков. По его приказу взлетели в небо сигнальные ракеты — и все пришло в движение.

...Сотни две метров оставалось до Днепра, когда окопавшиеся и уцелевшие в Соловьеве немцы чуток оправились от очумления и, разглядев атакующих сквозь прогалины в стене ивняка, росшего по берегам Днепра, привели в действие свои уцелевшие огневые средства. А их оказалось немало: пулеметы, минометы, отдельные орудия, группы автоматчиков. Вражеские пули и осколки все чаще находили среди атакующих свои жертвы. Сырой луг, чавкавший под сапогами тысяч солдат, покрывался телами убитых и раненых. Взрывы немецких мин и снарядов многих заставляли искать укрытия.

Казалось, атака вот-вот захлебнется. Люди залягут на открытом лугу и будут лежать там, пока их не перестреляют уцелевшие и опомнившиеся немцы. И, что немаловажно, враг успеет подтянуть в Соловьево резервы.

Полковник Лизюков бежал вместе с атакующими и с огорчением замечал, что в суматохе боя его видят только те, кто рядом — справа и слева, да группа его штабных командиров, бежавших сзади. Но когда он почувствовал, что сила атаки может вот-вот иссякнуть, что бойцы могут залечь, после чего поднять их будет почти невозможно, он, чтоб не упустить время, догнал шедший впереди легкий танк и, обжигая руки о его моторную часть, взобрался на броню, ухватился за скобу башни.

— Товарищи! — бросил он клич. — Товарищи коммунисты, не посрамим наши боевые знамена! Вперед! Днепр рядом!.. Ур-р-ра!

Соскочив с машины и не прерывая своего боевого клича «ура!», он устремился к уже близкому Днепру.

Не помня, как в его руках оказался немецкий автомат, он ринулся в воду, уверенный, что сзади мчатся автомашины с понтонами и он обязан любой ценой, даже своей жизнью, обеспечить саперам возможность перекинуть понтоны через реку. Верил также, что его при-

меру следуют другие, и не ошибся. За Лизюковым кинулись в Днепр сотни умевших плавать. Река здесь не столь широка. На ее западном берегу завязалась штыковая баталия.

Это было то самое, к чему стремились русские бойцы. В штыковом бою им нет равных. Немцы начали убегать по взгоркам огородов к уцелевшим домам, но уже ничто не могло их спасти.

Впрочем, они надеялись на свою авиацию, на прорыв танковых клиньев. А советские воины надеялись только на себя и силу своего оружия. Но неожиданно у них появился еще один помощник: с лугов, что были юго-восточнее, вдруг стал наплывать густой белый, как лебединый пух, туман. Днепр для него оказался главной привязью.

Под покровом тумана были построены понтонные переправы, и вскоре они загремели под колесами грузовиков и повозок. Вырвавшиеся из окружения колонны наших войск начали переправу на восточный берег.

31

Во фронтовой атмосфере неизвестности и постоянного ожидания над тревожной, напряженно ищущей мыслью полководца всегда довлеет и формальная (как определенный математический закон) необходимость принимать именно то или иное оперативное решение, исходя из сил и действий противника, а также из количества и расположения своих войск. Неодаренный полководец всегда учитывает эту необходимость и руководствуется главным образом только ею. А одаренный, помня о ней и следуя строгой дисциплине своего разума, ищет такое решение, которое, хотя бы даже соответствуя той же формальной необходимости, не предвидел противник.

Избавленная от формальностей, а точнее, от шаблона, мысль полководца с раскованностью диктует ему свою нужную, наиболее целесообразную форму оперативного решения и притом с определенной, почти зримой выразительностью.

Но вся сложность в принятии возможных решений исходит и от количественной их ограниченности. Не забывая об этом и зная, что опытный неприятель в итоге анализа дислокации сил обеих воюющих сторон может предугадать, какой оперативный ход будет сделан про-

тив него, он, полководец, ищет к своему решению некий венчающий «сюрприз» — неожиданный дополнительный маневр огнем ли, резервами ли, главными силами или нанесением удара в непредвиденном для врага направлении.

Маршал Тимошенко был опытным полководцем, одаренным от природы человеком. Его «сюрприз» в одобренном Ставкой замысле совместной наступательной операции пяти армейских войсковых групп заключался в том, что удар по врагу одновременно наносился с пяти разных направлений. Это должно было лишить неприятеля возможности маневрировать своими главными группировками и резервами. Вселяло надежду и количество сил — 20 дивизий, переданных в распоряжение Тимошенко из Фронта резервных армий. И при этом учитывались непрекращавшиеся удары по врагу 16-й и 20-й армий изнутри смоленского котла. Все вроде рассчитано, предвидено. Грела сердце маршала уверенность: удастся не только вышвырнуть противника из Смоленска, но и потеснить его на запад — далеко за Днепр, как приказал ему Сталин.

Но не справился Западный фронт с этой задачей. Ни в Ставке, ни в штабе фронта не предполагали, что близятся ливневые дожди, которые размоют дороги и в ряду с другими причинами не позволят нашим дивизиям сосредоточиться в назначенное время на исходных рубежах для наступления. И не предвидели главного: немцы готовились к очередному броску для захвата Москвы и уже подтягивали в район Смоленска свои свежие силы.

А ведь начало операции сулило успех. 23 июля группа генерал-лейтенанта Качалова, перейдя в наступление, отбросила врага за реки Беличек и Стомедь. На второй день после мощного артиллерийского налета по противнику, который пытался построить новую систему обороны, качаловские полки перешли в очередную атаку, смяли врага, захватили около 600 пленных и устремились в направлении Починок. Части 145-й стрелковой дивизии сумели пробиться вперед почти на 60 километров. Затем сражение продолжалось с переменным успехом — противник, ощутив на этом направлении серьезную угрозу, начал спешно подтягивать сюда резервы. Но группа Качалова еще три-четыре дня крушила боевые порядки неприятеля и теснила его на северо-запад.

Однако на войне сила силу ломает. На рассвете 1 августа после длительной артподготовки немцы перешли в наступление в направлении Рославля, введя в бой подошедшие из районов Орши и Смоленска один моторизованный и два армейских корпуса. К пяти часам дня около ста немецких танков с мотопехотой прорвались в Звенчатку по шоссе на Рославль. Десятки вражеских самолетов не переставали наносить по войскам Качалова бомбовые удары. На широком участке фронта развернулись сражения, в которых был перевес то на одной, то на другой стороне.

...К вечеру 3 августа немцам удалось завершить оперативное окружение армейской группы генерала Качалова. На второй день оказался в окружении и его штаб. Более драматичной ситуации нельзя было и вообразить.

Генерал Качалов, командный пункт которого находился в лесу у Стодолища, принял меры, чтоб спасти управление штаба своей группы. Он приказал командиру 149-й стрелковой дивизии одним полком прорвать в районе деревни Лысовка вражеское кольцо окружения и дать возможность вырваться из западни штабу. Полк прибыл на указанный ему рубеж с опозданием, но вступил в бой с засевшим в деревне врагом решительно и стал его теснить. Штабная колонна, невзирая на артиллерийский обстрел, двинулась вслед за полком. Но продвижение на юго-восток застопорилось. Разгорался очередной бой, в котором никак не удавалось достигнуть перевеса над врагом. Ринулись к цепи атакующих и командиры штаба во главе с членом Военного совета бригадным комиссаром Колесниковым.

Однако и это не помогло. Тогда генерал Качалов сел в свой командирский танк и тоже устремился туда, где кипел бой. На окраине деревни Старинка вражеский снаряд пронзил броню танка и взорвался внутри... Погиб экипаж, погиб и генерал-лейтенант Качалов Владимир Яковлевич.

...Тяжкие потери понесли дивизии группы. Еще бо́льшие потери понес враг.

Другие оперативные группы продолжали встречные бои. Дивизии генерала Рокоссовского, после того как противник был выбит ими из Ярцева, не прекращали атак, но без заметных успехов. Всего лишь на несколько километров потеснили врага группы генералов Хоменко, Калинина, Масленникова. Сказывались слабое

авиационное обеспечение, недостаточность танков и артиллерии, скороспелость подготовки операции.

Но группировка войск врага на смоленском направлении тоже выдыхалась. Рухнул план немецко-фашистского командования еще летом захватить Москву.

Поздним вечером на кунцевской даче Сталина собрались почти все члены Политбюро. Сталин был вне себя после того, как днем Жуков с полной определенностью заявил, что наш контрудар пятью группами на Западном фронте не получил должного развития. Немцы, пусть местами были отброшены со своих позиций и понесли большие потери, все-таки в оперативном понимании не оказались сокрушенными. Более того, на отдельных участках, введя в бой крупные резервы, враг добился значительного перевеса... Попала в окружение группа генерала Качалова, и мало кому удалось прорваться через неприятельские заслоны. А сам Качалов будто бы сдался немцам в плен... Поверить в это было невозможно. Кто видел? Вроде адъютант и еще кто-то. Вызванные для объяснения в Москву член Военного совета бригадный комиссар Колесников и начальник политотдела армии бригадный комиссар Терешкин заявили беседовавшему с ними Мехлису: они не допускают даже мысли, что генерал Качалов мог сдаться врагу в плен. Мехлис обвинил Колесникова и Терешкина в «политическом младенчестве»...

И вот сейчас Политбюро приняло решение издать приказ по действующей армии и заклеймить позором генерала Качалова... *

Но этим обстановку на фронтах не упростить и не облегчить. У Сталина тяжело было на душе, и он напряженно размышлял над тем, что еще предпринять. В двадцатых числах июля он предложил генералу армии Жукову сместить с поста начальника штаба Западного фронта генерал-лейтенанта Маландина, а на его место назначить генерала Соколовского Василия Даниловича — заместителя начальника Генерального штаба. Маландина же оставить его заместителем... При новом начальнике штаб фронта улучшил систему управления войсками, укрепил связь с Генеральным

* После войны обвинение генерал-лейтенанта В. Я. Качалова в предательстве было снято, когда выяснились обстоятельства его гибели и место захоронения. *(Прим. авт.)*

штабом и Ставкой, но этого было мало... Сталин все чаще обращался мыслью к маршалу Тимошенко, постепенно убеждая себя в том, что, возможно, и ему уже не под силу столь тяжелая ноша. Как бы ища ответ на мучивший его вопрос, он пробежал взглядом по лицам членов Политбюро, затем повернулся к открытому окну и стал смотреть на окружавший дачу лес. Потом, ни к кому конкретно не обращаясь, задумчиво, с горестью в голосе спросил:

— А может, у нас лучше пойдут дела на Западном фронте, если мы отзовем оттуда товарища Тимошенко?

— Кем заменим? — первым откликнулся на вопрос Михаил Иванович Калинин.

— Надо посоветоваться с Жуковым, — предложил Молотов. — Военным, может, виднее?

...И вот Тимошенко, вызванный в Генштаб для оценки обстановки на фронте, вместе с Жуковым приехал по звонку Поскребышева на кунцевскую дачу. Когда они вошли и доложили Сталину, что явились по его вызову, Сталин, отряхивая у окна со своей старой куртки пепел, просыпавшийся из потухшей трубки, тихо заговорил:

— Вот что... Политбюро обсудило деятельность Тимошенко на посту командующего Западным фронтом и решило освободить его... Есть предложение на эту должность назначить Жукова... Что вы на это ответите?

На хорошо выбритом усталом лице Тимошенко чуть проступила бледность, глаза нахмурились, а уголки губ дрогнули. Ему что-то хотелось сказать, но он молчал, с укором глядя на Сталина.

Лицо же Жукова багрово вспыхнуло, и он сумрачно, сдерживая рвавшийся из сердца протест, заговорил:

— Товарищ Сталин, частая смена командующих фронтами тяжело отражается на ходе операций.

Сталин повернулся к Жукову и сделал к нему шаг, будто для того, чтоб лучше его слышать. Неотрывно смотрел в лицо начальника Генерального штаба.

Жуков продолжал:

— Командующие, не успев войти в курс дела, вынуждены вести тяжелейшие сражения. Маршал Тимошенко командует фронтом менее четырех недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто дру-

гой большего не сделал бы. Войска верят в Тимошенко, а это главное. Я считаю, что сейчас освобождать его от командования фронтом несправедливо и нецелесообразно.

Сталин не спеша стал раскуривать трубку, вопросительно посмотрел на молчавших членов Политбюро, взглядом приглашая их высказаться.

— А что, пожалуй, Жуков размышляет правильно, — заметил Калинин.

— Мне тоже так кажется, — поддержал Калинина Молотов.

Сталин помолчал, выдохнул облако табачного дыма и произнес:

— Может быть, согласимся с Жуковым?..

На этом и порешили. Маршал Тимошенко тут же отбыл на фронт, Жуков — в Генеральный штаб. Разъехались и члены Политбюро.

Сталин какое-то время прохаживался по кабинету, размышляя о генерале Качалове, веря и не веря в то, что он мог добровольно сдаться немцам в плен. Затем остановился у края стола, где лежала стопка сброшенных с немецких самолетов листовок. Их оставил у Сталина Мехлис. На каждой листовке были фотографии Якова Джугашвили, его, Сталина, старшего сына. Вот он сидит за столом с немецкими офицерами и пьет вино, вот его сопровождают к самолету — без головного убора, с понуро опущенной головой. А вот увеличенный в нашей лаборатории фотоснимок, на котором хорошо просматривается монтаж из двух фотографий: подклеили фашистские пропагандисты голову Якова к туловищу другого человека... Грубая фальшивка. Да еще недосмотрели, что на рукаве гимнастерки виден капитанский шеврон, а Яков был старшим лейтенантом. И в каждой листовке пишут немцы, что сын Сталина добровольно сдался в плен, хотя их радио вначале сообщило, что его захватили силой в районе Лиозно. Призывали фашисты наших солдат следовать примеру Якова Джугашвили.

Тяжело было читать все это Сталину. Жаль Яшу... Страшно даже представить себе, как обращаются с ним в плену.

Мысли Сталина, повинуясь неподвластному воле течению, перенеслись в Тифлис первых годов века, в квартиру его бывшего семинарского товарища Михо

Монаселидзе. Там, на Фреплинской улице, он находил тайный приют после возвращения в 1905 году из ссылки и там совсем нежданно вспыхнули в нем те клокочущие радостью чувства, которых не усмирить силой разума, не укротить доводами о том, что тебе, революционеру-бунтарю, живущему с паспортом на чужое имя, каждый час грозит арест и ты можешь вместо счастья принести своей избраннице горе. Имея двадцать семь лет от роду, Иосиф Сталин предложил руку и сердце Екатерине Семеновне Сванидзе, которая была сестрой жены хозяина его подпольной квартиры и сестрой Алеши Сванидзе — друга Сталина по партии.

Во время тихого, но веселого свадебного обряда посаженый отец жениха и невесты Михо Цхакая — закаленный в борьбе марксист, друг Фридриха Энгельса, в своих тостах-напутствиях предрекал молодым долгую жизнь и счастье в согласии. Но не сбылись провидчества Михо. Ни один мудрец не смог предположить, какая непростая судьба уготована Сталину...

Еще за несколько лет до этой свадьбы произошел в Баку неприметный случай: с парапета набережной упала в море и начала тонуть двухлетняя девочка. На помощь ей бросился молодой грузин, проходивший мимо. Девочка оказалась Надей — младшей дочерью революционера Аллилуева Сергея Яковлевича, а ее неожиданным спасителем — Иосиф Сталин. Ни Сосо, как звали тогда Иосифа Джугашвили, не ведал, чьего ребенка он спас, ни в семье Аллилуевых не знали имени спасителя Нади. Не было об этом речи и потом, когда Сергей Яковлевич и его супруга Ольга Евгеньевна не только были почетными гостями на свадьбе Сталина, но даже тайком одолжили жениху и невесте свои обручальные кольца... И никто, разумеется, не мог предвидеть, что личная жизнь Сталина в ярящемся потоке времени начнет слагаться, как в сентиментальном романе: когда-то спасенная им Надя Аллилуева через четырнадцать лет станет его женой...

Но это — в будущем, а в храме на горе святого Давида скреплялся тогда церковным обрядом брак между сыном сапожника Иосифом Джугашвили и красавицей портнихой Екатериной Сванидзе... Сосо и Като не имели ни своего дома, ни денежных накоплений. Однако Сосо обладал иного рода достоянием — великим и тайным. Он обрел его на многовековых дорогах исканий. Там, где другие, плутая по просторам человеческой

мысли, оставляли за собой пепел разочарований или метались в тупике заблуждений, Иосиф Сталин отыскал самое главное — веру в правильность избранного им пути к истине. Начался этот путь еще в Тифлисской православной духовной семинарии, где Сосо возглавил подпольные марксистские кружки. Изгнанный затем из семинарии, он из года в год постигал законы революционной борьбы, являясь в ней одним из кузнецов революционной энергии рабочего класса. Пройдя первую школу тюрем и ссылки, он приобщился к учению Ленина и словно почувствовал себя на борту могучего корабля, уверенно плывущего к берегам справедливости и братства. И теперь на этом корабле рядом с ним была прекрасная Като с таинственным блеском темных любящих глаз, с непостижимой прелестью тонкого мечтательного лица. Она безоглядно и страстно вверила ему свою судьбу, хотя, кажется, не могла не догадываться, сколь серьезны заботы и тревоги ее избранника, как велика опасность, которая будет витать над их семейным очагом.

Впрочем, Като пока понимала главное: пора ее беспечного девичества осталась позади, и отныне портновская вывеска на доме, где они жили, служила маскировкой конспиративного пункта тифлисских большевиков. Полицию вводила в заблуждение не столько вывеска, сколько известность Екатерины Сванидзе как модной портнихи в городе. Она шила туалеты для жены губернатора Свечина, для жен и дочерей другой тифлисской знати — генералов, жандармов, чиновников из канцелярии наместника царя. Като заимствовала для них новейшие моды из французских и немецких журналов, которые ей присылал из Германии старший брат Александр — он там учился, частично зарабатывая средства на учебу официантством в ресторане, а частично получая их из партийной кассы.

Случалось даже так, что в одной комнате дома номер три по Фреплинской улице Като и ее сестра Александра примеряли платье упитанной жене полковника жандармерии Рачитского, сам полковник сидел тут же на стуле, дожидаясь супругу и листая журналы мод, а в соседней комнате шло нелегальное совещание большевиков.

Семейное счастье Сталина, жившего здесь наездами, без записи в домовой книге, длилось недолго. Беда подкараулила и нагрянула внезапно, взяв начало в Москве,

где в октябре 1906 года провалилась районная социал-демократическая организация. Московская полиция, обыскивая квартиру одного из членов этой организации — Зверевой-Мечнниковой, обнаружила бумагу с адресом: «Тифлис, Фреплинская, д. 3, портниха Сванидзе. Спросить Сосо». Это была ниточка, за которую цепко ухватилась прокуратура Московской судебной палаты.

Кто такой Сосо? На этот вопрос агенты полиции не могли дать ответа. Подосланному на квартиру Сванидзе провокатору ничего не удалось выяснить: Сталин в это время уже работал в Баку, куда собиралась переезжать и Като.

13 ноября в дом № 3 по Фреплинской нагрянула полиция. Начался допрос всех проживавших там. Допытывались о Сосо, о Кобе. Учинив обыск, обнаружили архив в прошлом легальной большевистской газеты «Ахали Цховреба»*, нашли брошюры, прокламации, портрет Карла Маркса. Но это были слабые улики: хозяин дома Михаил Монаселидзе когда-то работал казначеем редакции «Ахали Цховреба» и утверждал, что все обнаруженные бумаги он обязан хранить как отчетные документы...

А главная улика находилась рядом: в портновских манекенах были спрятаны последние выпуски газеты «Искра». Но агенты полиции не догадались заглянуть туда. Однако Екатерину Сванидзе арестовали, не посчитавшись с тем, что она была на шестом месяце беременности.

Друзья Сталина, боясь, что он, прослышав об аресте Като, явится в полицию, вначале скрывали от него случившееся, однако дали ему знать в Баку, что тифлисская полиция ищет Сосо и Кобу.

Глубоко врезались в память и душу Сталина те грозные, напряженные времена. Два месяца продержали Като в тюрьме. Затем он тайно увез ее в Баку, и там у них родился сын, которого назвали Яковом.

Мысль о Якове, своем первенце, всегда переплеталась в памяти Сталина с воспоминаниями о Екатерине. Трудное у них было счастье. Судьба революционера то и дело отрывала его от семьи. И каждый раз Като провожала мужа с трогательной печалью на лице, с мольбой и надеждой в глазах. Ее освещенное нежностью к

* «Ахали Цховреба» *(груз.)* — «Новая жизнь». *(Прим. авт.)*

нему лицо всегда согревало его в отъездах, в опасных ситуациях и рождало страстное желание скорее вернуться к ней, к крошечному сыну.

Яша рос лобастеньким, кареглазым, как мать, и неуемно прытким. Любовь к малышу была тревожной: как сложится его судьба? Даже находясь в утробе матери, он уже успел побывать вместе с ней в тюрьме. И Сталин чувствовал себя виноватым перед мальчиком. От этого еще больше любил его, не подозревая, что нависла черной глыбой неотвратимая беда.

Когда Яше исполнилось два года, умерла от тифа Като. Она болела мучительно и страшно. Пылая в жару, молила мужа, чтоб дал ей соленого огурца. Приходивший врач испуганно махал на Иосифа рукой, когда он спрашивал, можно ли больной соленого. Но Като так просила, смотрела на него таким по-детски жалостливым взглядом, что он не выдержал: сбегал на рынок и купил огурцов.

Когда она умерла, Иосиф плакал над ее гробом, как еще никогда в жизни не плакал и не будет плакать. И тяжко корил себя, что исполнил ее просьбу, хотя врачи убеждали Сталина: при такой форме заболевания Екатерины иного исхода быть не могло.

Яша остался полусиротой, а точнее, сиротой. Его забрали к себе в деревню родители покойной Като, а он, Сталин, продолжал заниматься делом, коему посвятил всего себя, — подпольная партийная работа, очередной арест и очередная ссылка...

А маленький Яков Джугашвили стал постигать мир заново, будто никогда и не было у него ни матери, ни отца.

Когда в девятьсот восьмом году умерла Екатерина Сванидзе, Сталину казалось, что он больше никогда не обзаведется семьей. Летели годы, унося молодость, революционная борьба отнимала все силы, энергию ума и души. Даже улавливал в своих мыслях некий скепсис по поводу того, что серьезным борцам не до личной жизни. Революция, мол, не терпит, когда ее рыцари не без остатка отдают ей свои силы и чувства.

Но время действительно великий исцелитель. Постепенно усмирилась боль по Като. Жизнь продолжалась. Неутомимо работая в партии, он в то же время не отгораживался от мира и особенно не старался укрощать молодые порывы.

Тогда ему и в голову не могло прийти, что он ста-

нет зятем известного революционера Сергея Яковлевича Аллилуева, что именно его дочь Надя — чернобровая и смуглолицая девчушка, готовая упоенно хохотать по любому поводу или замирать в восторге при звуках даже простенькой музыки, вообще чуткая к гармонии и звукам, понимающая настоящую поэзию, — именно эта Надя вдруг полюбит задубелого на сибирских морозах Кобу, станет женой много раз беглого политического «волка», старше ее на двадцать два года. Ведь вначале Сталин смотрел на нее как на забавного подростка, в то же время поражаясь незамутненности ее красоты, самозабвенной искренности по отношению к окружающим и напряженному вниманию в ее глазах, когда он рассказывал о тайных поединках революционеров с самодержавием, о жизни политических ссыльных, о будущем России. Порой удивлялся, как могло в семье рабочего, познавшего нищету, голод, преследования, вырасти и сформироваться такое удивительное чудо, с его прелестным прямодушием и столь высокой нравственной чистотой. Видя, с каким старанием Надя учится в гимназии, Сталин искренне желал ей счастливой и светлой судьбы.

Но судьба своенравна, и порой трудно противиться ее усилиям...

Как же все случилось?.. Сергей Яковлевич Аллилуев — степенный сорокалетний бородач — был неутомим в подпольной работе. Он то и дело попадал в тюрьму и ссылку. Полиция не спускала с него глаз. Поэтому Сталин, это было вскоре после женитьбы на Като, одобрил решение Сергея Яковлевича бежать из Баку в Петербург и даже помог деньгами для тайного переезда многодетной семьи Аллилуевых.

В последующие годы, начиная с 1909-го, Сталин всегда находил приют в их питерской квартире, а когда был сослан в Туруханский край, семья Сергея Яковлевича заботилась о нем как о родном — посылала в далекую Сибирь литературу, чай, табак, одежду и деньги из специального фонда помощи, хотя Сталин просил в письмах не делать этого.

После победы Февральской революции Сталин вновь появился в Питере. Аллилуевы в это время сменили квартиру на более просторную и одну комнату выделили для Сталина. Занятый работой в ЦК, в «Правде», он почти не бывал дома. Эта комната потом сослужила добрую службу Ленину. В июле 1917 года, когда буржуазная контрреволюция обрушилась на большевист-

скую партию и когда Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, посулив за его голову огромные деньги, Владимир Ильич с 6 по 11 июля скрывался в квартире Аллилуевых. Именно оттуда он был тайно переправлен Сталиным на станцию Разлив, в тридцати километрах от Петрограда.

Те времена вспоминаются Сталину как огромные, слышные всему миру накаты жестокой политической, а затем кровавой вооруженной борьбы; в центре ее незыблемо стоял Ленин, вдохновляя партию, рабочий класс, солдатские и матросские массы своей верой, видением будущего и четкой программой действия.

В квартире Аллилуевых Сталин появлялся только, чтобы сменить белье и подутюжить брюки единственного ветхого костюма, поверх которого он носил кожаную куртку. Сейчас и не помнится ему, как часто встречал тогда Надю.

Но запечатлелся в памяти поздний вечер 25 октября семнадцатого года. Смольный, в коридорах и комнатах которого кипело многолюдье — главным образом матросы и солдаты, — ликовал по поводу взятия Зимнего дворца и ареста Временного правительства.

Сталин с группой делегатов как раз направлялся в зал заседаний Второго съезда Советов, когда его окликнул женский голос. Он оглянулся и увидел Анну Аллилуеву — старшую дочь Сергея Яковлевича, работавшую в те дни в Смольном. А рядом с ней стояла в белом пуховом платке, держа руки в рыжей меховой муфточке, Надя. Было видно, что девушки только что вошли с улицы: раскрасневшееся лицо Нади пышет жизнью, здоровьем, а в ее улыбчивых, сверкающих глазах, которые неотрывно смотрели на Сталина, на его товарищей, было столько восторженного чувства, доброжелательства и какого-то скрытого огня, что он впервые заметил: Надя ведь уже совсем взрослая и красивая той спокойной, впечатляющей красотой, когда женственность сквозит во всем — в стройной фигуре, в мягких привлекательных чертах лица, выражении таящих какую-то загадку глаз, в едва уловимой напевности голоса. И Сталину показалось, что не беспричинно ее появление в Смольном: Надя, может, и пришла, чтоб увидеть его?..

Впрочем, догадался он об этом несколько позже, когда остался наедине со своими мыслями. Первое, что испытал тогда, — было смущение, будто уловил на се-

бе укоряюще-недоуменный взгляд Сергея Яковлевича — отца Нади...

Но уже ничто не могло удержать ни Сталина с его решительным грузинским характером, ни Надю в ее восторженности. И они потянулись друг к другу.

В марте 1918 года Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Надя тогда работала в секретариате Ленина, а со временем уехала со Сталиным на Южный фронт.

Так они стали мужем и женой. Появились дети — вначале сын Василий, потом дочь Светлана. Когда дети подросли, Надя пошла учиться в Промышленную академию. Чередовались годы, усмиряя пламень чувств. Сталин был вполне счастлив, гордился Надей, очень любил детей. И вот теперь Яков в немецком плену...

32

В тот вечер был очередной воздушный налет немцев на Москву, и Политбюро заседало в подземном помещении станции метро «Кировская». Звуки бомбежки и орудийной пальбы доносились сюда сплошным тихим гулом, будто где-то за стеной работал плохо отлаженный автомобильный мотор. На Политбюро слушали сообщение генерал-лейтенанта интендантской службы Хрулева Андрея Васильевича о новой системе снабжения действующей армии. Здесь же присутствовали представители Генерального штаба во главе с его начальником генералом армии Жуковым.

Отсек вестибюля станции метро был хорошо задрапирован, обставлен простой прочной мебелью и ничем особым не отличался от других рабочих кабинетов. Сталин, как и у себя в Кремле, неторопливо прохаживался по ковровой дорожке вдоль стола, за которым сидели члены Политбюро и Государственного Комитета Обороны, и внимательно вслушивался в темпераментную речь Хрулева. Иногда останавливался, смотрел на него с задумчивым прищуром. Замечая это, Хрулев начинал энергичнее жестикулировать правой рукой, словно припечатывать свои фразы к зеленому сукну стола, а его серые глаза при этом излучали сдерживаемое волнение. И тогда еще больше ощущалась уверенность генерала в истинности своих суждений.

Хрулев был коренастым и плотнотелым, светло-русые, гладко зачесанные волосы с пробором над правым

виском придавали его круглому, широконосому лицу некую интеллигентность.

Старый кавалерист Хрулев был знаком Сталину еще по временам гражданской войны. Да и в последние годы не раз встречались они в Кремле при решении военно-государственных проблем или на квартире у кого-нибудь из военных товарищей в узком кругу, собиравшемся, пусть и редко, на разного рода дружественные застолья. Хрулев Андрей Васильевич всегда отличался улыбчивостью, дружелюбием, готовностью браться за очередное важное дело. Имел он колоссальную память — на лица, на цифры, на события, — всегда готов был кидаться в словесную перепалку, давая отпор кому угодно по любому поводу. Только перед ним, Сталиным, да еще перед Мехлисом кое-когда пасовал Андрей Васильевич. И сейчас Сталин размышлял об этом с глубоким сожалением и с горестью, вспоминая одно прошлогоднее заседание Совета Народных Комиссаров...

Да, генерал Хрулев имел основания претендовать на то, чтоб к его суждениям руководители государства и армии относились с бо́льшим доверием. Этого заслужил он и своей непростой военной биографией. В недалекие предвоенные годы руководил Хрулев военно-финансовой службой, затем был начальником Строительно-квартирного управления РККА, начальником Киевского окружного военно-строительного управления, Главвоенстроя при СНК СССР.

В октябре же 1939 года его назначили начальником Управления снабжения Красной Армии. За короткое время, находясь на столь высоком и важном посту, Хрулев сумел неплохо организовать работу управления, под его руководством войсковое хозяйство армии заметно окрепло, приняло четкие организационные формы, особенно после советско-финляндской войны, которая преподнесла горькие уроки и органам снабжения.

Сталин знал, что иные военные и невоенные деятели, даже весьма крупного масштаба, подчас с робостью заходили к нему в кабинет, опасаясь неожиданных его, Сталина, вопросов или ощущая трудно постижимую безбрежность дел, за которые они отвечают или хотя бы имеют к ним касательство. Хрулев же, когда решались проблемы интендантства (за год до начала войны его управление было преобразовано в Главное интендантское управление Красной Армии), всегда держал

себя спокойно и с той уверенностью, которая давала Сталину и членам Политбюро ЦК понять, что он в полной мере готов отвечать перед ними за все подведомственные ему службы и что специфика этих служб ему, как профессионалу, доступнее, чем всем остальным, а посему настаивал, чтоб его предложения воспринимались без сомнений.

Но все-таки иногда пасовал... Иногда. Опасался Мехлиса, особенно когда тот как народный комиссар Государственного контроля пытался усмотреть злонамеренность в каких-либо важных его, Хрулева, предложениях. Так случилось и тогда, на одном из заседаний Совета Народных Комиссаров в 1940 году, когда совещались, в каких районах страны целесообразнее сосредоточивать мобилизационные запасы. Хрулев горячо настаивал на том, чтоб разместить их за Волгой. Генеральный штаб к этому времени уже отдал распоряжение завозить летнее и зимнее обмундирование и обувь в такие места, как Перемышль, Львов, Брест-Литовск, Барановичи, Прибалтика.

— Но война ведь может возникнуть внезапно, — пророчески говорил тогда Хрулев, — и вновь отмобилизованные дивизии не успеют к сроку оказаться в приграничных районах. Надо побольше держать имущества в неприкосновенном запасе на центральных складах, и главным образом в Поволжье.

— Это вредительская точка зрения! — запальчиво перебил речь Хрулева Мехлис, обращаясь к Сталину. — Если мы согласимся с ней, то поставим армию в тяжелое положение! Я служил в царской армии, и у нас было по три комплекта обмундирования на каждого солдата.

— Где, в каком месте эти солдаты служили? — с недоуменной укоризной спросил Хрулев.

— В Егорьевске, Московской области! — резковато ответил Мехлис.

— Егорьевск — не граница! — спокойно парировал Хрулев. — И там третьим в комплекте была у солдат парадная форма. Но зачем же нам везти к границе валенки, полушубки, ватные брюки, телогрейки?.. В пограничных дивизиях все это имеется.

— А ты откуда знаешь, когда начнется война? Зимой или летом?! — обидчиво не сдавался Мехлис.

Трудно и больно было Сталину вспоминать сейчас о том заседании. Он согласился тогда с Мехлисом и с ре-

шением Генерального штаба, а война показала, что прав был Хрулев. В итоге сколько же складов пришлось нашим войскам уничтожить в пограничных районах и сколько их было захвачено противником!..

Генерал Хрулев тоже нередко обращался мыслями к тому заседанию Совнаркома. Понимал, что Сталин и Мехлис сейчас ощущали свою вину за случившееся с нашими интендантскими складами на западе, но не считал удобным напоминать им об этом. В душе винил себя, что не сумел своевременно опротестовать ошибочное решение Генерального штаба, доказать Сталину, другим членам Политбюро свою правоту.

Не догадывался только генерал Хрулев о том, что в мнении Сталина, да и в мнении всех членов Политбюро, он после всего происшедшего необычайно возвысился как знаток проблем войскового тыла в условиях большой войны. А проблем этих было величайшее множество. Надлежало в короткие сроки восполнить наши потери, понесенные в первые дни вторжения врага, и срочно начать накапливать необходимые запасы для грядущих сражений; требовалась четкая система доставки в действующую армию средств снабжения; необходимо было, наконец, создать самостоятельный орган управления службами тыла, чтоб все их усилия устремлялись к достижению единых целей. Прежняя система снабжения армии находилась в ведении Генерального штаба и общевойсковых штабов, в которых имелись для этой цели пятые управления и пятые отделы. С начала войны стало ясно, что общевойсковые штабы в сложной оперативной обстановке, когда надо управлять боевыми действиями, не способны энергично вести еще и многосложную военно-хозяйственную работу...

Летом 1941 года, когда война уже полыхала с ужасающей мощью, генерал Хрулев был назначен заместителем народного комиссара обороны СССР по тылу и ему было поручено незамедлительно приступить не только к перестройке управления тылом, но и всей организационно-снабженческой структуры Красной Армии, ее тыловых соединений, частей и учреждений.

Все разумное берет начало из опыта. Понимая это, Хрулев первым делом созвал совещание работников системы главного интендантства. Надо было обсудить меры, которые следует принять, чтоб действующая армия не оказалась в тяжком положении из-за недостатков снабжения. На совещание собрались люди с большим

опытом. Среди них — бывший помощник главного интенданта генерал-лейтенант царской армии Горецкий, полковник Данков — великолепный знаток военной истории... Именно Данков предложил для начала ознакомиться с Положением о полевом управлении войск, утвержденным русским царем еще в 1914 году — за несколько дней до того, как вспыхнула первая мировая война. Правда, это положение не было с объявлением мобилизации введено в жизнь, ибо тогда же его почему-то опротестовал начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандования Янушкевич. А ведь оно вобрало в себя немалый обобщенный опыт интендантского дела русской армии за многие времена.

Положение разыскали в Государственной библиотеке имени Ленина и доложили о нем Анастасу Ивановичу Микояну, ведавшему в Государственном Комитете Обороны вопросами снабжения армии. Микоян немедленно ознакомил Сталина с этим пусть устаревшим, но важным документом. Сталин, оценив его по достоинству, предложил обогатить положение опытом военно-хозяйственной службы гражданской войны и нашими научными разработками последних лет, а затем подготовить для Государственного Комитета Обороны свой проект решения об организации тыла Красной Армии на нынешнее военное время.

Несколько суток Хрулев и его ближайшие соратники по интендантству — генералы Ермолин и Уткин, полковники Данков и Ремизов — не знали ни сна, ни отдыха. Это был воистину титанический труд и научный подвиг, когда в состоянии творческого подъема, страстного рвения в сегодняшний день на обломках истории создавались новые основы тылового обеспечения Красной Армии.

Потом проект документа придирчиво редактировали вместе с начальником Политуправления РККА Мехлисом. И вот сейчас генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев, стоя у торца стола рядом с сидевшим генералом армии Жуковым, доказывал полезность разгрузки Генерального штаба и штабов фронта от руководства снабжением и тылом, дабы их снабженческая работа не мешала военно-оперативной.

Сталин видел, что Жуков слушал Хрулева с хмурым вниманием, и почти с одобрением улавливал ход его мыслей: «Никакой полководец не может разрабатывать план военной операции, не зная, как обеспечивается эта

операция вооружением, боеприпасами, питанием, своевременным подвозом к фронту всего необходимого...»

«Но почему полководец не может разрабатывать свои планы без учета планов снабжения! — тут же мысленно перечил Сталин Жукову. — К тому же командующий фронтом и его начальник тыла всегда должны быть в одной упряжке!»

Как и предполагал Сталин, Жукову была не по душе такая коренная ломка привычных форм снабжения войск. За ней ведь должна следовать и перестройка работы управлений и отделов Генерального штаба, штабов фронтов и армий, перестановка кадров. Это не так просто в условиях, когда враг мощными силами рвется в глубь страны...

Хрулев закончил свой доклад, и наступила молчаливая тревожная пауза. Все даже позабыли о грохотавшей наверху бомбежке, предчувствуя, что сейчас что-то произойдет.

Сталин долго раскуривал трубку, затем тихо, уже сдерживая закипевшее в нем после сомнений раздражение, сказал:

— Ваше мнение, товарищ Жуков?

Жуков, как всегда, был верен своему характеру — непреклонному и не способному на компромиссы. Зная, что сейчас последует взрыв, ибо Сталин как Председатель Государственного Комитета Обороны уже к этому времени утвердил новое положение, все-таки произнес, то, что думал:

— Здесь явное стремление товарища Хрулева подмять под себя Генеральный штаб... Это целая перестройка налаженного дела...

И вновь водворилась немая, неловкая тишина. Ее нарушил Молотов, как всегда в минуты волнения протирая платком пенсне:

— Побойтесь бога, товарищ Жуков...

И тут дал волю своим принявшим неожиданный оборот чувствам Сталин. Остановившись перед Жуковым, он с недоумением и почти с обидой сказал:

— Вы рассуждаете не как начальник Генерального штаба, а как простой кавалерист! И в этих делах мало что понимаете!

— В таком случае, товарищ Сталин, я готов хоть сейчас сдать пост начальника Генерального штаба, — мрачно, однако спокойно ответил Жуков.

Сталин несколько секунд укоризненно, с чуть поб-

леденевшим лицом смотрел на Жукова, затем вразумляюще произнес:

— Мы ждем от вас, товарищ Жуков, не ультиматумов, а верных оценок оперативной обстановки на фронтах и целесообразных решений... В том числе и о тыловом хозяйстве армии...

33

Это было столкновение двух характеров, выковавшихся в постоянной, неистовой борьбе со старым, за утверждение нового. Характеры эти отражали в себе атмосферу трудного времени, несли в своем неспокойстве драматизм его коллизий. Парадокс состоял в том, что Сталин и Жуков, устремляя усилия к единой цели, временами видели разные пути ее достижения.

Уже на следующий день после этого совещания между ними последовало новое столкновение точек зрения. Выполняя требование Верховного Командующего о более точных оценках оперативной обстановки на фронтах и целесообразных решениях Генштаба, Жуков посовещался с руководством своего оперативного управления и по телефону попросил Сталина принять его для срочного доклада.

Сталин понимал, что Жуков едет к нему с какими-то новыми, важными, тревожными вестями, словно помимо своей воли желая досадить всем в Политбюро за вчерашний резкий разговор с ним Сталина. И Сталин приказал своему помощнику Поскребышеву пригласить в Кремль армейского комиссара первого ранга Мехлиса — начальника Политуправления Красной Армии, заместителя наркома обороны, то есть его, Сталина, заместителя, чтоб тот присутствовал при докладе начальника Генштаба и был, как говорится, третейским судьей.

Жуков, конечно же, далек был от желания досаждать кому-либо, а тем более Сталину, но доклад его действительно оказался не из приятных. Сталин и Мехлис, слушая начальника Генерального штаба и пристально всматриваясь в развернутые на столе карты с нанесенной на них обстановкой, будто воочию видели, что происходило на фронтах. К тому же Жуков умел докладывать весьма четко и впечатляюще. Его сдвинутые брови, потемневшие глаза и измученное лицо как бы усиливали ощущение тревоги, которая витала в это время в кабинете Сталина.

Трудно было не согласиться с Жуковым, что сейчас наиболее слабым и опасным участком нашей обороны на советско-германском фронте является Центральный фронт, где наши 13-я и 21-я армии, очень малочисленные и слабо вооруженные, могли не сдержать очередного удара немцев, а это грозило выходом противника в тылы войск Юго-Западного фронта, удерживающего район Киева.

Сталин уже предполагал, к какому выводу придет начальник Генерального штаба, и это, возможно помимо его воли, рождало в груди холодок протеста.

— Что же вы предлагаете? — настороженно спросил он у Жукова.

Жуков переступил с ноги на ногу, приблизился к карте, лежавшей посередине между двумя другими.

— Я предлагаю, — приглушенным, чуть охрипшим от скрытого волнения голосом начал он, — прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трех армий, усиленных артиллерией. Одну армию надо получить за счет Западного направления, другую — за счет Юго-Западного фронта, третью — из резерва Ставки...

Сталину показалось, что он чего-то не понял, ибо до сегодняшнего дня считал самым главным и самым опасным Западное направление. И он с оторопью спросил у Жукова:

— Вы что же, находите возможным ослабить направление на Москву?

— Нет, не нахожу, — со спокойной уверенностью ответил Жуков. — Но противник, по мнению Генштаба, здесь пока не двинется вперед. А через двенадцать-пятнадцать дней мы сможем перебросить с Дальнего Востока не менее восьми боеспособных дивизий, в том числе одну танковую. Такая группа войск только усилит Московское направление.

— А Дальний Восток отдадим японцам? — недоуменно и чуть язвительно спросил Мехлис.

Жуков не откликнулся на его вопрос, и лицо армейского комиссара от негодования покрылось красными пятнами.

— Продолжайте, — сдержанно и хмуро сказал Сталин.

И Жуков продолжал:

— Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр.

— А как же Киев? — холодно спросил Сталин, от-

чужденно глядя на Жукова и размышляя о том, что Киев — не только важный стратегический пункт в нашей обороне, но и важная козырная карта в близящихся переговорах с англичанами. Ведь правительства Англии и США до сих пор не могли занять твердых позиций в отношении оказания помощи Советскому Союзу в борьбе с фашистской Германией и ее сателлитами. Слишком много и убежденно трубила западная пропаганда о близящейся гибели Советского Союза...

— Киев придется оставить, — жестко, но с волнением и с необъяснимой виноватостью ответил Жуков.

Сталин уже ждал такого ответа, разумом понимая, что в этом решении есть здравый смысл, а чувством противясь ему, как тяжкому, несправедливому приговору.

— Продолжайте, — после трудного молчания вновь сказал Сталин.

Жуков вздохнул и продолжил доклад:

— На Западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации ельнинского выступа в линии фронта противника. Ельнинский плацдарм гитлеровцы могут позднее использовать для броска на Москву.

— Какие там еще контрудары? Что за чепуха?! — Раздражению Сталина, казалось, не было предела, ибо следующую фразу он почти прокричал: — Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?!

И тут дал выход своему душевному напряжению Жуков:

— Если вы считаете, что я как начальник Генерального штаба мыслю всего лишь как кавалерист, это ваши вчерашние слова, товарищ Сталин... и способен только молоть чепуху, тогда мне здесь делать нечего!.. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генерального штаба и послать на фронт.

Опять наступило тягостное молчание...

34

Машина, в которой ехал генерал армии Жуков, мчалась по Минскому шоссе, а сам он, сидя на заднем сиденье, мыслями был еще в Кремле, в кабинете Сталина. Итак, его, Жукова, сместили с поста начальника Генерального штаба и назначили командующим Резервным фронтом. Ему вспомнились грустные глаза маршала Шапошникова, которому Политбюро ЦК сегодня утром

вверило Генеральный штаб. Борис Михайлович будто чувствовал себя виноватым перед Жуковым. Сталин, впрочем, тоже на прощание укротил свою суровость. Когда они все собрались в его кабинете, Сталин, подойдя к Жукову и Шапошникову, заговорил, словно оправдываясь, несколько печальным, душевно-раздумчивым голосом:

— Любая стратегическая ситуация — военная или политическая — должна рассматриваться нами конкретно и, когда требуется, сквозь призму марксистской философии. При этом мы должны опираться на опыт революционных освободительных войн... Не очень понятно излагаю?..

Никто на вопрос Сталина не ответил, и он продолжил:

— Я говорю о том, что человеческая мысль, как инструмент жизни, развивается и обогащается на основе опыта, который, в свою очередь, опирается на философские глубины. Это не софистика, это диалектика... Так вот, наша с вами беда заключается в том, что некоторые наши военные деятели не умеют... Как точнее сказать? Не могут именно через призму теории обозревать явления, оценивать их и объяснять. А то как получается? Мне генштабисты говорят, что на таком-то фронте произойдет то-то и то-то. А объясняют свой вывод, мягко говоря, несколько убого, без уверенности в себе, в своем мышлении. И я начинаю сомневаться: не подводит ли их военная неопытность?.. Еще раз напоминаю, что не должно быть резкой грани между практикой и следующей из нее теорией. Это, если упростить, словно хорошо приготовленный чай. Мы пьем его как единое: не выделяем в нашем воображении свойств сахара, чая и воды... Вот так истинный полководец должен уметь смотреть на войну как на единое целое, угадывать ее каверзы и уловки и уметь объяснять их всем находящимся рядом. А если судят о созревающей ситуации только по нависанию противника над нашими флангами или по насыщенности вражеской группировки танками, то для меня, для Государственного Комитета Обороны такие аргументы неубедительны... Эти товарищи потом, наверное, говорят: «Я предупреждал Сталина, а он поступил по-своему...» А как предупреждал, какими доводами, с какой мерой доказательности?.. Если б наше правительство, Центральный Комитет партии могли полностью положиться на кого-нибудь из военных, ду-

маю, что Сталину не пришлось бы брать на себя главное командование...

Крепкая память Жукова точно воспроизводила слова Сталина, и он всматривался в их смысл критически, с желанием в чем-то возражать, хотя понимал, что Сталин имел основания рассуждать именно так. Но все-таки Жукову хотелось спорить, ибо он был уверен в том, что полководцу на войне, кроме высокой военно-философской образованности, необходимы светлый и сильный разум, интуиция, сила воли и безбрежное мужество...

Размышления генерала армии прервались. Заскрипели тормоза его машины ЗИС-101. Она остановилась, подъехав вплотную к открытому «газику», в котором сидели автоматчики — его, Жукова, охрана. Оглядевшись, Георгий Константинович узнал Голицыно. Здесь, на контрольном посту, проверяли документы у проезжающих.

Через минуту небольшая кавалькада машин (сзади ехал в «эмке» адъютант генерала армии с его скромным скарбом) уже проезжала Голицыно. Жуков вновь будто увидел перед собой побитое оспой, темноватое лицо Сталина, вопрошающий прищур его глаз. Уже переведя разговор на то, что Жукову поручается ликвидировать ельнинский выступ в линии фронта, Сталин сказал неожиданное:

«Русский поэт-символист Константин Бальмонт, кстати, он первый перевел на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», очень верно утверждал, хотя и не принял нашу революцию. А говорил он так: «Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели есть Грузия...» А мы скажем, что Смоленщина — это Глинка, это Пржевальский, Нахимов, Докучаев... Это, черт возьми, слава России, символ патриотизма и непокорства захватчикам!.. Помните об этом, товарищ Жуков, и уверенности в боевых успехах вам не придется занимать».

Но жгли сердце Жукова обидой слова Сталина, сказанные ему после доклада генерал-лейтенанта Хрулева о новой структуре войскового тыла: «Вы рассуждаете не как начальник Генерального штаба, а как простой кавалерист...» Конечно, поучиться в академиях Жукову не довелось. После гражданской войны, в которой он участвовал красноармейцем, командиром взвода и эскадрона, ему удалось закончить только курсы усовершен-

ствования комсостава кавалерии, а через пять лет — курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. Потом командовал кавалерийской бригадой, был помощником инспектора кавалерии Красной Армии, затем возглавлял кавалерийскую дивизию, кавалерийские корпуса, был заместителем командующего Белорусским особым военным округом. А после того как на посту командующего 1-й армейской группой советских войск в Монголии он разгромил совместно с частями Монгольской народно-революционной армии крупную группировку японских войск в районе реки Халхин-Гол, вскоре был назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. И за последнее десятилетие много рапортов написал наркому обороны с просьбой дать ему возможность поучиться в Военной академии Генерального штаба. Но не судьба, хотя уже были положительные решения. То очередные маневры, то оперативно-стратегические игры высших штабов, то внезапные инспекторские проверки войск... И нигде не могли обойтись без него, Жукова, каждый раз уговаривали его повременить с академией. А ведь известно, что незаменимых людей нет. Оказывается, не ко всем эта истина применима. Хоть нарочно прояви где-нибудь неспособность, тогда, может, и засветила б ему звезда удачи попасть в академию. Чего греха таить, он сам подчас избавлялся от малоодаренных личностей, командируя их на учебу. Надеялся, что академии прибавят им способностей. Но не всегда надежды сбывались. Случалось, что после учебы «личность» повышали по службе и она, сама того не подозревая, причиняла вред делу. Да, нелепая это практика.

Впрочем, Георгий Константинович не очень сетовал на свою «неакадемическую» судьбу. Учился самостоятельно сколько было возможностей. Благо имелась у него для этого капитальная закваска: еще в середине двадцатых годов, перед тем как уехать в Ленинград на курсы усовершенствования комсостава кавалерии, он разобрал, глубоко осмыслил и описал все главные боевые операции первой мировой войны. А вкус к военно-теоретическим поискам зародился у него на курсах высшего начсостава, когда немало потрудился он над докладом об основных факторах, влияющих на теорию военного искусства. Доклад затем был напечатан в бюллетене как учебное пособие для слушателей курсов.

А когда стал командиром 6-го кавалерийского корпуса, ощутил в себе необычайную силу видения оперативных ситуаций и склонность к управлению большими массами войск. Эта его полководческая умелость особенно проявилась, когда сам разрабатывал оперативно-тактические задачи на проведение дивизионных и корпусных командных игр, командно-штабных учений с войсками... Создавая на картах те или иные оперативные ситуации, поочередно ставил себя на место командующих противоборствующих сторон, мысленно проигрывал динамику боя за обе стороны и убеждался, что нет числа вариантам решений, но самых лучших вариантов не так уж много. И старался находить именно их... Находил, а потом, когда в итоге учений убеждался в их верности, был счастлив, хотя никто об этом не догадывался — Жуков не любил давать волю своим чувствам. Но сейчас давал волю мыслям, отыскивая в себе те черты и свойства, которые в это грозное время надо было развивать и утверждать.

Понимал роль вдохновения в деятельности полководца. Но знал, что оно, вдохновение, является только толчком к творчеству, но не главным его содержанием. Понимал и надолго задерживал на этом свою тревожную мысль. И опирался на буйную образность своего мышления. Когда смотрел на топографическую карту, то чувствовал себя так, будто обозревал из поднебесья живую землю, пытаясь угадать, что там, под зеленью лесов и кустарников, между домами населенных пунктов и под маскировочными сетями. Зорко выискивал те места, где бы расположил свой командный пункт и командные пункты нижестоящих войсковых начальников, решал за противника задачи по отражению задуманного им, Жуковым, маневра. Умел в своих размышлениях возвращаться назад, углубляться в оценках соотношения сил, проявляя скрытую страсть, холодный расчет и не отмахиваясь от интуиции.

Знал также, что один, без надежных, разумных помощников и соратников, много не сделает в сложной, особенно в критической обстановке. Поэтому его требовательность нередко совмещалась с душевной жесткостью и беспощадностью. Это его состояние тут же передавалось окружающим, одних приводя в трепет, других вооружая силой. И спустя некоторое время войска становились словно наэлектризованными.

Жесткость генерала армии Жукова иных пугала,

унижала, сковывала их способность принимать разумные решения. Таких он старался смещать с постов или обходиться без них. Других же, а таких было большинство, она с необыкновенной силой встряхивала, напоминая о грозности времени и своей личной причастности к происходящему, а также о том, что за спиной действующих армий стоят страна и народ, как деятельная мощь и созидательная сила.

Но не догадывался Георгий Константинович Жуков, что он как полководец вобрал в себя все лучшее из характера России всех времен, когда боролась она за свою свободу.

Мысли Георгия Константиновича ворочались неторопливо, поднимая из глубин памяти картины его жизни, лица людей, которые оставили в душе след, события, пробороздившие судьбу, как мощный плуг целинное поле. Машина мчала Жукова по шоссе, приближалась к перекрестку дорог. Вправо, в нескольких километрах от перекрестка, раскинулся над рекой Москвой древний Можайск со своими знаменитыми Никольским собором, церковью Иоакима и Анны и Лужецким монастырем. А налево убегала через Протву дорога на Верею — не менее древний городок, сохранивший из прошлых веков собор и остатки кремля.

Если б было время, с какой бы радостью свернул Георгий Константинович на Верею, а от нее рукой подать до Боровска; там же совсем близко к родным местам — большому селу Угодский Завод, деревням Стрелковка, в которой родился, Величково, куда бегал через бугристое поле в церковноприходскую школу... Невольно взглянул на мизинец левой руки, где сохранился косой рубец шрама — память о жатве в детские годы, когда взял в руки новый серп. Затем будто увидел центральную улицу Угодки и дорогу, берущую из нее начало. Справа от дороги — пруд с карасями, слева — стена деревьев, под которыми покоилось старое кладбище. Там похоронены отец — Константин, не имевший отчества, и младший братишка Алеша, умерший, не прожив и года.

Который раз в своей жизни обращался Георгий Константинович мыслью к своей загадочной родословной. В трехмесячном возрасте его будущего отца обнаружили запеленутым на крыльце сиротского дома. На пелен-

ках — записка: «Сына моего зовите Константином». Кто она, эта женщина, решившаяся на столь крайний шаг?.. Через два года Костю усыновила бездетная вдова Анна Жукова, но не сумела вырастить: через шесть лет умерла, а восьмилетний Костя пошел в учение к сапожнику в село Угодский Завод.

Своенравная память генерала Жукова перенесла его в те далекие годы, когда у Михаила Пилихина, разбогатевшего брата матери, учился он в Москве скорняжному делу, а со временем еще и на вечерних общеобразовательных курсах, имевших программу общегородского училища...

Детство было страшным, тяжким, в постоянном голоде, нищете, в частых побоях... И пусть заодно вставали яркие картины весенних сенокосов на стрелковских лугах, сборов дикой клубники в перелесках, летних или зимних рыбалок, маленькие редкие радости, когда взрослые одаривали пряником или конфетой, сердце все-таки захлебывалось в немом плаче о детской судьбе мальчика Гоши, его сестры Маши, их сельских сверстников.

Зашлось сердце болью и при воспоминании о матери — Устинье Артемьевне. Тридцатипятилетней вдовой вышла она замуж за пятидесятилетнего вдовца Константина Жукова... Мать выросла в невероятной бедности в соседней от Стрелковки деревне Черная Грязь. Сколько же потрудилась она на своем веку в извозе и на полевых работах!.. Все время витала над их семьей, как и над многими другими крестьянскими семьями, чернопастная нищета. Верно говорят: есть воспоминания — цветы, а есть воспоминания — раны...

Как они там сейчас — мать, сестра Маша, ее дети, когда Россию постигла тяжкая, невиданная беда?..

Эта туманившая рассудок мысль будто напомнила Георгию Константиновичу, что именно ему поручено мобилизовать силы, чтоб отвести угрозу дальнейшего фашистского вторжения в глубь России. Сумеет ли он справиться с такой непростой задачей на посту командующего Резервным фронтом? Сумеет ли всмотреться в трагический грозный лик войны с той проницательностью, которая вооружает, а не обессиливает?

Должен... За ним ведь вся история, все сложности становления Красной Армии, в которой он вознесся от рядового бойца до высшего генерала, определив пути своей судьбы на всю жизнь...

За размышлениями и воспоминаниями, от которых холодком теснило в груди, не заметил, как приблизились к повороту на Гжатск. Только обратил внимание, что чем ближе было к Вязьме, тем магистраль становилась оживленнее: в сторону фронта шли груженые машины, маршевые роты, артиллерийские батареи на тракторной и конной тяге. Небо над дорогой казалось низким от мглы и дымки. Временами то впереди, то сзади слышались раскаты бомбежек. Но машинам генерала армии Жукова удалось избежать встречи с немецкими самолетами, и вскоре, свернув вправо с Минской магистрали, они оказались в лесу меж Гжатском и небольшой деревушкой. Здесь, под лесным покровом, и частично в деревне располагался штаб Резервного фронта, в котором по приказу Ставки были объединены резервные армии и армии фронта Можайской линии обороны, за исключением 29-й и 30-й армий, уже действовавших в составе Западного фронта.

Начальник штаба фронта генерал-майор Ляпин Петр Иванович и начальник артиллерии генерал-майор Говоров Леонид Александрович ждали приезда Жукова. Об этом свидетельствовал накрытый к обеду стол под брезентовым тентом, натянутым рядом с подземельями командного пункта.

За обеденным столом сидели и беседовали недолго. Понимали друг друга с полуслова. Жуков давно знал обоих генералов как мастеров военного дела высокого класса. Сказав им об этом в дружеском порыве, он тут же предупредил, что ждут их вместе с ним тяжкие испытания, хотя бы потому, что противостоящая группировка немцев превосходит силы Резервного фронта, располагает мощными танковыми кулаками и постоянной авиационной поддержкой.

Затем спустились в главное, хорошо освещенное помещение командного пункта. Расчерченные цветными карандашами карты на бревенчатых стенах и на подставках ничего особенно нового не сказали Жукову, и он, посмотрев в хмурые от тревог лица Ляпина и Говорова, предложил сейчас же ехать в штаб 24-й армии генерала Ракутина.

Георгию Константиновичу казалось, что даже не в штабе армии, сдерживающей и контратакующей своими слабо укомплектованными дивизиями противника, который рвется на восток из ельнинского выступа, а непосредственно на командных пунктах их командиров он

сумеет постигнуть какую-то главную истину, вещественно, материально-зримо ощутит противника и найдет ведущую мысль, которая подскажет нужные решения. А решений надо было принять много. Важнейшее — необходимо найти единственно разумное применение своим наличествующим войсковым силам, и чтоб эта разумность стала очевидной для всех командиров и их штабов, ибо в этой атмосфере предельного напряжения физических и нравственных сил людей очень важно непременно устремить их к единому, ясному всем замыслу, который пока надо будет держать в строжайшем секрете. И необходимо требовательным взглядом посмотреть на командиров — все ли на своих местах, нет ли среди них недоумков, не способных извлекать опыт из боевой повседневности, понапрасну губящих человеческие жизни?

Огромное солнце, будто налившись вишневым соком, медленно погружалось за далекий горизонт. Когда оно с оживленной шоссейной магистрали, по которой ехали машины командования Резервного фронта, стало из-за лесов невидным, лишь залив тусклой краснотой небо, всем показалось, что это не закат, а еще один далекий пожар, подобно тем, которые багрово отсвечивались где-то в стороне Ельни, западнее Вязьмы и над Ярцевом. Гнетущее это было зрелище, от которого невозможно оторвать заледенелый взгляд, как от текущей крови.

Поздним вечером приехали в штаб 24-й армии. Лес, блиндажи, землянки, часовые вокруг, щели в земле, поваленные бомбежкой деревья. Руководство армии уже ждало приезда Жукова и его свиты: встречало у шлагбаума — лесного контрольно-пропускного пункта. Георгий Константинович рассеянно выслушал представлявшегося ему командующего 24-й армией генерал-майора Ракутина, рядом с которым стояли какие-то люди с темными и в сумерках казавшимися одинаковыми лицами. Не дождавшись конца доклада, в котором слышалось волнение командарма, бывшего прославленного пограничника, он, стараясь быть дружелюбным, перебил его:

— Поедем знакомиться при свете. А то мы будто на посиделках при каганце с девчатами общаемся — на ощупь.

— А вам случалось такое, Георгий Константинович? — с веселостью в голосе спросил обычно не всегда склонный к шуткам генерал Говоров.

— А почему ж нет? — засмеялся Жуков. — Корни мои — деревенские. Правда, женихаться начал в Москве, когда у дядьки осваивал скорняжное дело и почувствовал в руках надежную профессию.

Через несколько минут подъехали к блиндажу командарма и спустились в его просторные, хорошо освещенные и укрытые многими накатами могучих бревен глубины. Здесь тоже все было готово к докладу оперативно-тактической обстановки в полосе 24-й армии. Это Жуков отметил с удовлетворением — карты и прочность блиндажа; ведь из Москвы все здесь виделось куда более зыбким, ненадежным, неустоявшимся.

— Ну вот, это другое дело, — баритоном произнес Георгий Константинович, всматриваясь в незнакомые лица окружавших его людей.

Сорокалетний генерал-майор Ракутин Константин Иванович был в форме пограничных войск НКВД. Высокий, физически крепкий блондин, он производил впечатление волевого и энергичного человека. В его взгляде было что-то дерзкое, несколько самоуверенное, опиравшееся, видимо, на прошлую героическую биографию.

Отметив это, как обнадеживающие в военном деле приметы, Жуков перевел взгляд на поднявшего к козырьку руку члена Военного совета армии дивизионного комиссара Абрамова Константина Кириковича. Большие проницательные глаза Абрамова будто смотрели в самую душу и вопрошали неизвестно о чем. Видимо, не мало тяжкого повидали уже они здесь, на смоленской земле, не мало переплавилось боли, сомнений, надежд в его сердце. Сразу же хотелось верить, что человек этот крепок, надежен и хорошо понимает свою роль как главного представителя партии.

Ощущение Абрамова как личности особенно передалось Георгию Константиновичу при взаимном рукопожатии — крепком, истинно мужском. Даже по малым приметам Жуков умел угадывать человеческие натуры.

Был здесь и начальник политотдела батальонный комиссар Моисеев, державшийся при «высоких чинах» с некоторой застенчивостью, но с сознанием своей не последней роли в сложном войсковом организме.

Затем началось самое главное: знакомство с оперативно-тактической обстановкой на участке фронта 24-й армии.

— Докладывайте, — коротко сказал Жуков, обра-

щаясь к Ракутину и будто смущаясь своей естественной суровости, прозвучавшей в его голосе.

Уловив эту суровость, генерал Ракутин чуть смешался и начал говорить с некоторой неуверенностью. Но Жуков не обращал на это внимания. Он знал, что не всем командирам и генералам, работавшим ранее в пограничных войсках, присуща раскованность в суждениях об оперативном искусстве — они мастера своего дела.

Ничего особенно нового не почерпнул из доклада Ракутина генерал армии Жуков. Хмуро всматривался в карты, схемы, сводки, мысленно анализируя ситуацию, как она складывалась. Все было сложно и в то же время просто. 2-я немецкая танковая группа, прорвав нашу оборону южнее Смоленска и захватив 19 июля Ельню, позволила своему командованию создать важный, хорошо укрепленный плацдарм, с которого планировалось возобновление наступления на Москву. На плацдарме, по данным войсковой разведки, противник сосредоточил семь пехотных и несколько танковых и моторизованных дивизий. Попытки 24-й армии встречными ударами под основание ельнинского выступа окружить и уничтожить вражескую группировку пока ни к чему не привели. Рубежи обороны противника выгодно отличались от наших исходных позиций рельефом местности: нейтральные полосы были открытыми, что позволяло неприятелю успешно отражать атаки советских войск и наносить им немалые потери. Враг и сам пытался атаковать, особенно в районе деревни Ушаково вдоль шоссе Ельня — Дорогобуж.

И еще обратил внимание Жуков на прочность вражеских оборонительных укреплений, состоявших из трех поясов. Траншеи полного профиля, пулеметные гнезда, дзоты с установленными в них крупнокалиберными пулеметами и пушками, закопанные танки и бронемашины. Между оборонительными поясами громоздились витки спиральных и колючих проволочных заграждений и таились замаскированные мины. Каждая занятая противником деревня была превращена им в самостоятельный опорный пункт, связанный взаимной огневой поддержкой с другими подобными пунктами. Невозможно было нащупать перед вражеской обороной хоть метр пространства, который бы не простреливался перекрестным огнем.

Удрученным, глубоко озабоченным вернулся генерал армии Жуков в штаб своего фронта.

Позвонил начальнику Генерального штаба маршалу Шапошникову, кратко изложил обстановку в районе ельнинского выступа, спросил, нет ли возможностей усилить 24-ю армию артиллерией, реактивными минометами и танками.

— Насчет усиления будем думать и вести расчеты, — грустно, тихим голосом ответил Борис Михайлович. — А по поводу ваших первых решений, Георгий Константинович, то я полагаю, что вы намерены самолично прощупать оборону немцев...

Жуков про себя даже рассмеялся, так ему была знакома эта манера маршала Шапошникова подсказывать кому-либо лучшее оперативное решение. При докладах командующих или начальников штабов Борис Михайлович вносил поправки или давал рекомендации именно таким образом: «Я вас понял так, что вы предлагаете...» — и так далее. Тот, кто докладывал, обычно делал после этого паузу, соображая: «Что тут? Не подвох ли?» А когда начинал понимать, что маршал подсказывает ему лучший вариант, поспешно отвечал утвердительным «да».

Генерал армии принял решение усилить 24-ю армию частями Резервного фронта, превратить ее в армейскую группировку, перед которой ставилась задача встречными ударами дивизий под основание ельнинского выступа окружить и уничтожить группировку противника и в дальнейшем продолжать наступление на запад.

Радужные надежды грели суровое солдатское сердце Георгия Константиновича Жукова, но пока им не было суждено сбыться.

В эти тяжкие, опасные для Советского Союза недели лидеры ведущих империалистических держав возвращались мыслями в те времена, когда ими вершилась предательская акция Мюнхенского сговора, преследовавшая цель всевозможными уступками, поблажками и науськиваниями умиротворить Германию... Не оправдались надежды владык мира золотого тельца. Взращенное ими дитя — германский фашизм — начало не только алчно разевать клыкастую пасть, требуя все новых территорий для своего владычества, но и хищно запускало когти в территории смежных государств, в

том числе и в гриву английского льва. А сейчас вся надежда сторонников антибольшевизма возлагалась на то, что в схватке с Советским Союзом фашистская Германия и ее сообщники не только раздавят Страну Советов, созданную Лениным и его большевистской партией, но и сами иссякнут, выдохнутся, и Германия перестанет существовать как реальная угроза для других государств. В то же время терзала некоторых буржуазных лидеров тревога: а если СССР рухнет, не обескровив гитлеровские армии, или вдруг пойдет он на заключение мирного договора с Германией, смирившись с территориальными потерями?.. Тогда, несомненно, наступят черные дни вначале для Великобритании, а потом... За этим «потом» таились все новые опасения и бедствия многих государств и материков.

Неуютно чувствовали себя и Соединенные Штаты Америки, опасаясь того, что Япония нападет на Советский Союз, утвердится в Сибири, усилит этим свой военный потенциал, а затем поднимет могучий кулак, угрожающий Америке, а также ее и английским колониям.

Все это, вместе взятое, заставило президента США Франклина Рузвельта и главу английского правительства Черчилля непрестанно обмениваться точками зрения на остро беспокоившую их военно-политическую ситуацию в мире.

В разгар общих тревожных предвидений в середине июля Рузвельт послал в Англию Гарри Гопкинса — одного из наиболее энергичных сторонников своей политики так называемого нового курса. Встречи и беседы Гопкинса с Черчиллем, с другими высокопоставленными лицами английского правительства привели его к выводу, что принимать какие-либо решения по избавлению мира от фашистской угрозы можно будет только после того, когда станет ясно, как долго продержится под напором германских армий Советский Союз. И Гопкинс вдруг решил, что ему надо непременно побывать в Москве, встретиться со Сталиным и лично от него получить ответы на главные вопросы времени, уяснить для себя, чтоб затем дать Рузвельту и Черчиллю информацию о возможностях СССР к сопротивлению и о том, действительно ли его положение столь катастрофично, как об этом сообщает из Москвы своему президенту американское посольство. Но лететь в Москву без разрешения Рузвельта и без каких-либо его полномочий

Гопкинс не мог, и поэтому 25 июля 1941 года он послал в Белый дом телеграмму, в которой запрашивал: «...Я хотел бы знать, сочтете ли Вы важным и полезным, чтобы я поехал в Москву... Мне кажется, что нужно сделать все возможное и обеспечить, чтобы русские прочно удерживали фронт, даже если их разобьют в нынешнем сражении. Если на Сталина можно как-то повлиять в критический момент, я думаю, это стоило бы сделать путем прямого обращения к нему от Вашего имени через личного представителя. Мне кажется, что на карту поставлено так много, что это следует сделать...»

Телеграмма была большой, затрагивавшей и ряд других вопросов. В ее конце многозначительно звучала фраза: «Настроение здесь у всех бодрое, но англичане понимают, что события в России дают им лишь временную передышку».

На второй день вечером пришел ответ от Рузвельта. Президент Америки одобрял идею Гопкинса о посещении им Москвы. В телеграмме также сообщалось: «Сегодня вечером я Вам отправлю послание для Сталина».

В Москве, в Наркомате иностранных дел СССР, узнали о предстоящем визите Гарри Гопкинса — личного представителя президента США Рузвельта — от послов Англии и США в СССР и из телеграммы советского посла в Англии Майского Ивана Михайловича, который характеризовал Гопкинса как одного из наиболее энергичных сторонников новой — рузвельтовской политики. Гопкинс, как информировал Майский, активно претворял эту политику в жизнь; уже в начале второй мировой войны он стал видным государственным деятелем и дипломатом, игравшим большую роль в выработке многих решений правительства США. Как личность он был целеустремлен и пунктуален, но не отличался крепким здоровьем.

Таким образом, руководители Америки, Англии, а затем и СССР пришли к единому мнению, что миссия Гарри Гопкинса в Москву — одна из самых необычайно важных и ценных за весь период второй мировой войны. Правда, посол Майский узнал об этой тайной миссии после Черчилля, но, пока Гопкинс находился в пути к Архангельску, телеграф безотказно сделал свое дело.

Уже имел при себе важную телеграмму и Гарри Гопкинс, которую прислал ему в день отъезда в Москву исполняющий обязанности государственного секретаря

США Сэмнер Уэллес. В ней, в частности, говорилось: «Президент просит Вас при первой встрече с г-ном Сталиным передать ему от имени президента следующее послание: «Г-н Гопкинс находится в Москве по моей личной просьбе для того, чтобы обсудить с Вами лично или с другими официальными лицами, которых Вы, возможно, назначите, жизненно важный вопрос о том, как мы можем наиболее быстро и эффективно предоставить помощь, которую Соединенные Штаты способны оказать Вашей стране в ее великолепном сопротивлении вероломной агрессии гитлеровской Германии...»

И далее: «Я прошу Вас относиться к г-ну Гопкинсу с таким же доверием, какое Вы испытывали бы, если бы говорили лично со мной. Он сообщит непосредственно мне о Ваших взглядах, которые Вы ему изложите, и расскажет о том, что Вы считаете самыми срочными отдельными проблемами, по которым мы можем оказать помощь.

Разрешите мне в заключение выразить общее для нас всех в Соединенных Штатах восхищение замечательной храбростью, проявленной русским народом в деле защиты своей свободы, в борьбе за независимость России. Успех Вашего народа и всех других народов в противодействии агрессии Гитлера и его планам завоевания мира ободряет американский народ».

На второй день после прибытия Гопкинса в Москву американский посол Лоуренс Штейнгардт в 18 часов 30 минут повез его в Кремль для встречи со Сталиным.

Это было 30 июля 1941 года.

Сталин, назначив время для приема личного представителя президента США, за два часа до этого пригласил к себе наркома иностранных дел СССР Молотова для определения единых точек зрения на проблемы, которые будут затронуты в беседе с Гарри Гопкинсом, а также для короткого анализа отношений Америки и Англии с СССР за последние годы, чтобы можно было судить об их дальнейшей международной политике.

Сталин был не в духе после вчерашнего запальчивого разговора с генералом армии Жуковым и сегодняшнего доклада Жукова о сдаче им поста начальника Генерального штаба и доклада маршала Шапошникова о вступлении на этот пост — самый тяжкий сейчас в армии, как понимал Сталин, и самый горячий. В плохом

настроении, когда Сталин находился в кабинете один, он иногда приближался к окну и задумчиво рассматривал украшенное лепными военными атрибутами двухэтажное здание Арсенала, стоявшее напротив. Вдоль его фасада чернели отверстия стволов пушек, отбитых русскими войсками у армии Наполеона. Редко расставленные парные окна с глубокими откосами говорили о внушительной мощи стены двухметровой толщины.

Над крышей закамуфлированного, как и весь Кремль, Арсенала плавилось в сизой дымке поднебесья клонящееся к западу солнце, и в распахнутые окна кабинета вливалась духота.

Сталин отошел от окна и направился к своему столу. В это время открылась дверь, и в ней показался Молотов — как всегда в хорошо отглаженном костюме, сегодня — темно-сером, с четкими стрелками на брюках. Старательно выбритое, моложавое лицо его было сумрачным, глаза смотрели из-под пенсне с золотой прищепкой несколько утомленно.

— Будем готовиться к приему американца? — спросил Сталин будто у самого себя и тут же продолжил: — Хорошо бы мы выглядели перед ним, если бы объявили, что сдаем врагу Киев и отводим войска за Днепр, как предложил вчера Жуков.

Молотов ничего не ответил и присел на близкий к Сталину край стола для заседаний. Положил перед собой папку, раскрыл ее, приготовился для разговора.

Сталин вдруг хмыкнул, тихо засмеялся. Почувствовав на себе вопросительный взгляд Молотова, пояснил причину своего неожиданного веселья:

— Понимаешь, звонит сегодня по параллельному телефону Поскребышева его дочурка. Я поднял трубку. «Папа, — говорит, — помоги решить задачку». — «Нету, — говорю, — папы, я его по делу услал. Давай я помогу». Прочитала она мне условие задачки и в тупик поставила. Дурацкая задача: в бассейн втекает вода по трубе с одним сечением, а вытекает из него по трубе с бóльшим диаметром. И спрашивается: сколько воды вытекает из бассейна за минуту?.. Там, разумеется, были и наводящие данные.

— Не решил? — Молотов довольно улыбнулся. — Тут дело в том, на одном ли уровне трубы. Если на одном, то сколько воды втекает в бассейн, столько и вытекает.

— Зачем же зря воду расходовать? — Сталин за-

смеялся уже совсем весело. Вдруг посерьезнев, спросил: — А мы с тобой не будем сегодня лить воду на мельницу империалистов?

— Не должны, — ответил Молотов и опять улыбнулся. — Во всяком случае, будем держать трубы на одном уровне.

— Это в зависимости от того, насколько посланец Рузвельта проявит искренность, — сказал Сталин, и в его словах прозвучала тревога.

И будто сам его кремлевский кабинет наполнился тревогой и напряженным ожиданием.

— Коба... — Молотов посмотрел на Сталина тем деликатно-требовательным взглядом, который должен был заставить его сосредоточить внимание. — Наберись, Коба, терпения и послушай все то, что мы у себя, в Наркомате иностранных дел, вычислили, анализируя политику Черчилля и Рузвельта. В наших переговорах с ними надо все время помнить об их прежних внешнеполитических коктейлях и, возможно в какой-то мере исходя из этого, строить каркасы сегодняшних взаимоотношений с ними. Начинаем почти на пустом месте.

— Ты полагаешь, что я плохо знаю Черчилля? — недовольно отозвался Сталин, усевшись за свой стол.

— Надо оглянуться на события в их последовательности.

— Ну хорошо. Только давай в общих чертах.

— Итак, о Черчилле. В свои шестьдесят семь лет он еще достаточно энергичен. Его политическое кредо заключается в формуле: «Британская империя — начало и конец всего». Он принимает в штыки все, что хоть отдаленно напоминает о социализме. К нам, как ты знаешь, у него закоренелая вражда, которую он демонстрирует с необыкновенным, до смешного, темпераментом. В девятнадцатом — двадцать первом годах, будучи военным министром Англии, Черчилль возглавил крестовый поход против большевиков. Это стоило нам нескольких лет тяжелой войны. Сто миллионов фунтов стерлингов потратила английская казна на организацию военной, политической и экономической блокады молодой Советской Республики. Только революционное настроение рабочего класса Европы не позволило ему послать против нас миллионную армию интервентов.

— Да, все это еще свежо в памяти, — перебил Сталин Молотова. — Ты сейчас, вероятно, напомнишь и о налете в Лондоне на советскую хозяйственную организа-

цию «Аркос». Это привело в двадцать седьмом году к разрыву наших дипломатических отношений с Англией.

— Верно, — согласился Молотов. — А идея Черчилля об организации в тридцать пятом антисоветского блока западных держав?..

— К какому же выводу приходит наш Наркомат иностранных дел на фоне заявления Черчилля о солидарности Англии с СССР в войне против фашистской Германии? — Сталин поднялся с кресла, подошел к сидевшему за столом заседаний Молотову и стал вместе с ним смотреть в бумаги, разложенные на зеленом сукне.

— Полагаю, товарищ Сталин, что мы не ошибемся, если расценим нынешнюю политику Черчилля как маневрирование в отношении нашей страны. Он ставит перед собой задачу, во-первых, вести войну против Германии по возможности за счет СССР, стремясь до крайности ослабить нас. У него дальний прицел: если гитлеровская Германия будет повержена, а мы в это верим, то у нас не должно быть никаких возможностей оказаться на Балканах и в Центральной Европе... Следовательно, добиваясь от Англии открытия второго фронта, нам следует помнить, что Черчилль долго будет играть в прятки.

— А теперь давай соотнесем политику Черчилля с поведением Рузвельта, — предложил Сталин. — Надо полагать, они вырабатывают общую военно-политическую платформу.

Молотов вздохнул, посмотрел на часы над дверью кабинета и перевернул несколько страниц: близилось время, когда в Кремль прибудет Гарри Гопкинс. Продолжил:

— С Рузвельтом было бы проще, если б после провокации финской военщины и в ходе нашего военного конфликта с Финляндией Рузвельт своим провозглашением «морального эмбарго» не дал сигнала к бешеной антисоветской кампании в США...

— Надо не забывать, что он, видимо, небезучастным был и в подготовке Мюнхенского сговора. Иначе послы США — Кеннеди в Лондоне, а Буллит в Париже — со страстной активностью не содействовали б Чемберлену и Даладье.

— Да, этого забывать нельзя, — согласился Молотов. — Но вся общая историческая панорама деятельности Рузвельта на посту президента США по отноше-

нию к СССР все-таки просматривается как более или менее положительная. Ты, товарищ Сталин, отметил это еще в тридцать четвертом году в беседе с английским писателем Гербертом Уэллсом. Говоря о выдающихся личных качествах Рузвельта, ты заявил тогда, что, несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт — самая сильная фигура. Эти твои слова облетели весь мир. И для такой оценки был повод хотя бы потому, что за год до беседы с Уэллсом правительство Рузвельта признало СССР, против чего выступали все прежние правительства Америки. Сам Рузвельт всячески способствовал улучшению советско-американских отношений. Рузвельт также не раз пытался облагоразумить Гитлера в его агрессивной политике.

— Хорошо. — Сталин явно торопил Молотова. — Вернемся в сегодняшний день. Что нам известно?

— Погоди, погоди. — Молотов с укором и значительностью во взгляде посмотрел на Сталина. — Я хочу напомнить, что в администрации Рузвельта, в госдепартаменте США, существуют сильные группировки, которые противятся помощи СССР и выступают в поддержку Гитлера под лозунгом: «Фашистская Германия — единственный оплот против большевиков». Бывший президент Америки Герберт Гувер, как тебе известно, заявил, что цель его жизни — уничтожение Советской России. И он там не одинок с этой своей «целью». Заодно с Гувером, Трумэном, Херстом многие английские реакционеры. Посол Англии в США лорд Галифакс тоже высказывается за поддержку Гитлера... А потом нельзя забывать сведения, добытые нашей разведкой. Нам известно, что тридцать первого января этого года Черчилль в послании президенту Турции доказывал необходимость присутствия на Среднем Востоке мощных сил английских бомбардировщиков, способных атаковать нефтеразработки в Баку. Даже перед самым нападением на нас Германии планы бомбардировки Баку из района Мосула рассматривались как весьма реальные, а в середине июня английский комитет начальников штабов принял решение о подготовке этой операции.

— Сейчас Черчилль, видимо, не пойдет в одной упряжке с Гитлером. — Сталин подошел к своему столу, взял напиросу и, не набивая, как обычно, табак в трубку, закурил ее.

Молотов между тем продолжил, не отрывая взгляда от бумаг:

— Несколько дней назад, двадцать седьмого июля, как информировало из Вашингтона наше посольство, орган Херста «Нью-Йорк Джорнел Америкен» писал: «Россия обречена, и Англия с Америкой бессильны предотвратить ее быстрый распад под ударами нацистского блицкрига».

— Да, этот факт тоже заслуживает внимания, — заметил Сталин чуть осипшим голосом.

— Наш наркомат располагает сведениями, — бесстрастно продолжал Молотов, взяв в руку документ, — что военный министр США в своем письме президенту Рузвельту утверждает: «Германия будет основательно занята минимум месяц, а максимально, возможно, три месяца задачей России». Представители английской военной верхушки вторят американцу... Цитирую: «Возможно, что первый этап, включая оккупацию Украины и Москвы, потребует самое меньшее три, а самое большее шесть недель или более...» Предполагаю, что все они основываются на панических сообщениях из Москвы военного атташе США Айвена Итона: СССР, мол, стоит над пропастью неизбежного военного поражения.

— Какой вывод делают они при виде «катастрофы СССР»? — Сталин зашагал вдоль стола опустив голову. Казалось, он уже знал ответ Молотова.

— Ясно какой: они радуются, что этим спасена Англия; ни о каком вторжении Германии на Британские острова сейчас не может быть и речи. Английские власти тоже вздохнули с облегчением, сделав вывод, что попытку вторжения Гитлера в Соединенное Королевство можно считать временно отсроченной.

— Временно? — Сталин остановился и с усмешкой посмотрел в окно. — Вот отсюда надо и плясать, как от печки.

— Да, но в то же время почему англичане не открывают нам цель перелета к ним Рудольфа Гесса? Ведь, несомненно, с этим посланцем Гитлера у них ведутся переговоры, вырабатываются условия сделки с гитлеровской Германией, несмотря на то что недавно мы подписали соглашение с Англией. Правительство Черчилля пока ничего не сделало, чтоб рассеять эти наши подозрения.

— Но тут есть еще одна загадка. — Сталин сделал нажим на слове «еще». — Ведь англичане могли скрыть от всего мира, в том числе и от нас, что к ним переле-

тел ближайший компаньон Гитлера по разбою Рудольф Гесс.

— У них трудно такие вещи скрыть от прессы.

— Возможно, — согласился Сталин. — Однако интуиция подсказывает мне, что сейчас наступает перелом в наших отношениях с Англией и Америкой. Ведь это вопрос жизни или смерти: над всем миром нависли тучи фашизма. Мы — главная ударная сила, которая способна сокрушить фашизм.

— Как ты предлагаешь держать себя с этим Гопкинсом? — спросил Молотов.

— Будем ориентироваться по его позициям и помнить, что, как мы уже здесь говорили, нашим союзникам, а они должны стать союзниками в нашем противоборстве с фашистской Германией, ясна временность отсрочки угрозы им со стороны немецкого фашизма. — Сталин остановился перед Молотовым и, выдохнув к потолку табачный дым, продолжил: — Будем держать все в уме, о чем мы здесь сейчас размышляли. Переговоры начнем с чистого листа, будто наши взаимоотношения с Западом только начинаются. Раз к нам едут, значит, что-то предложат.

— Да, видимо другой позиции у нас быть не должно, — согласился Молотов.

Сталин подошел к книжному шкафу и взял там один из ленинских сборников. Открыл страницу, заложенную листком бумаги, и с притушенной торжественностью произнес:

— Владимир Ильич не исключал во внешней политике тех шагов, которые мы сейчас предпринимаем. Он не отрицал возможности... — И далее Сталин начал читать: — «...военных соглашений с одной из империалистических коалиций против другой в таких случаях, когда это соглашение, не нарушая основ Советской власти, могло бы укрепить ее положение и парализовать натиск на нее какой-либо империалистической державы...»

— Уже тогда Ленин заботился о нашем будущем, — раздумчиво сказал Молотов. — Вот что значит сила предвидения.

37

Ровно в 18 часов 30 минут в кабинет Сталина вошел его помощник Поскребышев и с приподнятостью в голосе сообщил:

— Прибыли!

— Приглашай, — откликнулся Сталин.

В кабинет первым вошел Гарри Гопкинс — тощий, среднего роста, с сероватым худым лицом, на котором остро выступали скулы, с тонкой кадыкастой шеей. На нем был темный костюм, заметно измятый в дальней дороге. Вслед за Гопкинсом ступил в дверной проем американский посол в Москве Лоуренс Штейнгардт. Его рост, холеное розоватое лицо, ярко-белый воротник рубашки и такие же белые манжеты, выглядывавшие из рукавов черного пиджака, — весь его важный и элегантный облик — от сверкающих туфель до гладко причесанных волос на голове — как бы подчеркивали тщедушие и небрежность в одежде Гарри Гопкинса. Вошел также переводчик.

Сталин и Молотов со всеми приметами радушия пожали руки гостям и пригласили их садиться за стол. Тут же привлекательная официантка в белоснежном переднике вкатила в кабинет высокую тележку, на которой стояли стаканы с крепким чаем, вазочка с сахаром, печенье и конфеты на тарелочках, янтарный виноград в высокой хрустальной вазе. Все это быстро перекочевало на длинный стол, за который усаживались гости и вслед за ними хозяева.

Гопкинс бесцеремонно, с большим интересом осматривался в кабинете Сталина, разглядывал его рабочий, уставленный телефонными аппаратами стол, портреты на стенах, кинул взгляд в окно, где за верхушками голубых елей виднелась в серых полосах маскировки стена Арсенала.

Молотов всматривался в изможденное лицо Гопкинса, в его светящиеся нездоровым светом глаза, пытался угадать характер этого заокеанского посетителя, степень его искренности. Молотов немного понимал по-английски и имел возможность вслушиваться не только в то, что переводил на русский переводчик, но и вникать в речевые интонации Гопкинса, который неожиданно, несмотря на свой болезненный вид, заговорил энергично и проникновенно.

— Господин Сталин, я приехал как личный представитель президента. Президент считает Гитлера врагом человечества, и поэтому он желает помочь Советскому Союзу в борьбе против Германии. Моя миссия не дипломатическая в том смысле, что я не предлагаю никакой формальной договоренности какого бы то ни было рода. — Гопкинс сделал паузу, открыл папку, которую

принес с собой, взял из нее два документа (это была телеграмма, присланная Гопкинсу в Англию от имени президента США Сэмнером Уэллесом) и передал Сталину, сказав при этом: — Это личное послание нашего президента — оригинал на английском, копия — на русском языках.

Молотов видел, как светлело и будто омолаживалось лицо Сталина, когда он читал телеграмму, как под его толстыми усами затеплилась такая знакомая улыбка. Гопкинс в это время пододвинул к себе наполненный стакан в серебряном подстаканнике и достал из кармана пиджака пластмассовую коробочку. Извлек из нее какую-то пилюлю, положил в рот и стал запивать чаем. Штейнгардт, воспользовавшись паузой, взял с хрустальной вазы кисть винограда, положил ее на стоявшую перед ним плоскую тарелочку и небрежно стал общипывать виноградины...

Дочитав телеграмму до конца, Сталин передал ее Молотову, посмотрев на него потеплевшим, несколько задорным взглядом.

Гопкинс, уловив поднявшееся настроение Сталина, тут же поспешил сообщить ему о своих встречах с Черчиллем, с которым расстался только вчера. Глава правительства Англии просил передать Сталину, что он полностью разделяет все выраженные в телеграмме президента Америки чувства к Советскому Союзу.

Тут Сталин нашел уместным сдержанно поблагодарить Гарри Гопкинса за приезд в СССР и приветствовать его на московской земле. За сдержанностью и краткостью слов Сталина все-таки просматривалось душевное расположение к гостю.

Затем Сталин, посуровев, начал характеризовать Гитлера и Германию, излагать позицию Советского Союза по отношению к Германии. Говорил четко, кратко, энергично, будто одним ударом вбивал в доску гвозди.

Отвечая на вопрос Гопкинса, в чем именно из того, что Соединенные Штаты могут послать немедленно, Россия нуждается больше всего и каковы будут нужды России с точки зрения длительной войны, Сталин поразил всех, даже Молотова, своей памятью и знанием потребностей армии и военной промышленности. Взглянув на Поскребышева, который на другом конце стола сидел в одиночестве и вел записи переговоров для информации других членов Политбюро, он, не обращаясь ни к каким бумагам, начал излагать нужды в зенитных орудиях

среднего калибра вместе с боеприпасами, в крупнокалиберных пулеметах, американских винтовках, калибр которых совпадал с калибром наших винтовок и наших патронов, в высокооктановом авиационном бензине, алюминии для производства самолетов, в авиаспециалистах, которые могли бы прибыть из США в Советский Союз для обучения наших летчиков управлению американскими самолетами «Кертисс Р-40», двести из которых, как было известно, уже отправлялись в СССР.

Все названные предметы и цифры Сталин сопровождал краткими, ясными и убедительными пояснениями, стараясь при этом дать возможность Гопкинсу записать в свой массивный блокнот сказанное им, Сталиным.

Вечером того же дня Гопкинс вел переговоры с начальником Главного артиллерийского управления Красной Армии генералом Яковлевым Николаем Дмитриевичем. Вместе с Гопкинсом были генерал Макнарни и майор Итон. Разговор велся об имевших касательство к артиллерии предметах, о которых упоминал Сталин. Гопкинс предложил послать в Вашингтон русскую техническую миссию для постоянного ее там пребывания, возложив на нее обязанность обсуждать с американской администрацией новые вопросы по мере их возникновения. К сожалению, генерал Яковлев не мог дать утвердительного ответа на этот счет, как и по некоторым другим проблемам, ибо не имел соответствующих полномочий...

На второй день после полудня народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов принимал заокеанского гостя и сопровождавшего посла Штейнгардта у себя в наркомате. На столе, за которым сидели, были поставлены чай, кофе, коньяк, фрукты. К ним почему-то никто не прикасался, хотя Молотов радушно приглашал угощаться и придвинул к себе стакан с чаем.

В центре внимания их разговора был Дальний Восток и возрастающая военная угроза для СССР со стороны Японии. Молотов с удручающей горечью внутренне усмехался. Ему вспомнилось, как за этим же столом он принимал японского посла Того Сигорени, и будто увидел его косые щелки глаз за стеклами очков. Потом здесь сидел новый посол — Тетекава — желтоликий, скуластый, с неуловимым взглядом глаз. И совсем недавно, в апреле этого года, Молотов совещался в этом кабинете с министром иностранных дел Японии Иосуке Мацуока, который после вояжа в Германию и Италию приехал в Москву. Лицо у Мацуока какое-то мальчи-

шечье, усики на нем и отсутствие мысли. Но последнее — маска, под которой коварство... Потом в зале заседаний Совета Народных Комиссаров СССР они подписывали советско-японский пакт о нейтралитете сроком на пять лет.

Пакт существовал, но существовала и угроза со стороны Японии. И Молотов, не выражая по этому поводу особой тревоги, хотя он ее ощущал, дал понять американским дипломатам, что было бы целесообразно, если б президент США нашел возможным сделать предостережение Японии, которое бы значило, что Соединенные Штаты придут на помощь Советскому Союзу в случае нападения на него Японии, а также высказался за то, чтоб Соединенные Штаты вообще заняли жесткую политику в отношении Японии и помешали ей в дальнейшем распространении войны в Азии.

Разговор был обстоятельным и конкретным, почти с физическим ощущением проблем и тревог, которые томили и были сущностью их сегодняшних забот и размышлений.

38

В 18 часов 30 минут Гопкинс, уже без посла Штейнгардта, вновь, как было условлено, прибыл в Кремль, в кабинет Сталина. Переводчика заменял сегодня Максим Литвинов — известный советский дипломат с богатейшей биографией. В 1933 году он вел в Вашингтоне переговоры с президентом Рузвельтом об установлении дипломатических отношений между СССР и США. С 1930 по 1939 год Литвинов был народным комиссаром иностранных дел.

Разговор начал Гарри Гопкинс, сказав, что его президент желает получить оценку и анализ Сталиным войны между Германией и Россией.

Ответ Сталина был предельно откровенным и точным. Он охарактеризовал соотношение сил Германии и Советского Союза перед фашистской агрессией и в ее начале, оснащенность противоборствующих сторон вооружением и боевой техникой, сообщил об их тактико-технических данных, о состоянии советской военной промышленности, в том числе авиационной, вскрыл антиморальный характер внезапного нападения германских войск и способов ведения ими войны, высказал свои прогнозы на будущее, а также повторил вчерашние мыс-

ли о том, чем могла бы Америка немедленно помочь Советскому Союзу. Тут же он написал на блокнотном листе: «1) зенитные орудия калибром 20, или 25, или 37 мм; 2) алюминий; 3) пулеметы 12,7 мм; 4) винтовки 7,62 мм» — и передал записку Гопкинсу.

Далее взял слово Гопкинс и от имени своего и английского правительств изложил ряд важных соображений, в том числе о готовности послать России снаряжение, которое, однако, надо еще изготовить, и поэтому оно не успеет поступить на советский фронт до наступления плохой погоды; о том, что должны быть составлены планы длительной войны и что проблемы долгосрочного снабжения связаны с информированностью его, Гопкинса, правительства о военном положении России, количестве и качестве ее вооружений, сырьевых ресурсов и о промышленном потенциале. Помощь советским войскам тяжелым вооружением, танками и самолетами Гопкинс ставил в зависимость от совещания трех правительств — США, Англии и СССР; но такое совещание, в свою очередь, зависело, по его словам, от исхода происходящих сейчас сражений на советско-германском фронте.

Короче говоря, ощущалось: американец окончательно не проникся уверенностью, что Советский Союз устоит до осени в единоборстве с фашистской Германией, хотя и был вдохновлен уверенностью Сталина. Если же СССР устоит, то Гопкинс предлагал, чтоб конференция состоялась не позже 15 октября при непременном участии в ней Сталина. Сталин, однако, выразил сомнения насчет возможности своего участия в конференции.

Затем в разговоре стали затрагиваться и новые важнейшие вопросы военного, экономического, политического и морального характера.

Визит доверенного лица Франклина Рузвельта в Москву сыграл важную положительную роль в отношениях Советского Союза с США и Англией, придал бóльшую устойчивость соглашению, подписанному 12 июля, о совместных действиях правительств СССР и Англии в войне против Германии, по которому обе стороны обязались оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку, а также не вести переговоров и не заключать сепаратного перемирия или мира с Германией. Миссия Гопкинса способствовала также тому, что на острове Ньюфаундленд встретились для переговоров Рузвельт и Черчилль, в итоге которых 14 августа 1941 года была

подписана декларация — «Атлантическая хартия», — в которой в общей форме излагались цели Англии и США во второй мировой войне и послевоенном устройстве мира. В хартии нашли также место и пожелания Молотова о том, чтоб была проявлена более жесткая политика в отношении Японии.

Итак, дипломатические усилия одного человека принесли важные плоды. Примечательно, что Гарри Гопкинс позже выступил в журнале «Америкэн» со статьей о Сталине, в которой писал:

«Ни разу он не повторился. Он говорил так же, как стреляли его войска — метко и прямо. Он приветствовал меня несколькими быстрыми русскими словами. Он пожал мне руку коротко, твердо, любезно. Он тепло улыбался. Не было ни одного лишнего слова, жеста или ужимки. Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной машиной, разумной машиной. Иосиф Сталин знал, чего он хочет, знал, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете. Во время этого второго визита мы разговаривали почти четыре часа. Его вопросы были ясными, краткими и прямыми. Как я ни устал, я отвечал в том же тоне. Его ответы были быстрыми, недвусмысленными, они произносились так, как будто они были обдуманы им много лет назад.

За время нашего разговора его телефон позвонил только один раз. Он извинился за то, что прервал беседу, сказав мне, что он договаривается о своем ужине на 12.30 ночи. В комнату ни разу не входил секретарь с донесениями или бумагами. Когда мы попрощались, мы пожали друг другу руки с той же решительностью. Он сказал «до свидания» один раз, точно так же, как он только один раз сказал «здравствуйте». И это было все. Может быть, мне только показалось, что его улыбка была более дружелюбней, немножко более теплой. Быть может, так было потому, что к слову прощания он добавил выражение уважения к президенту Соединенных Штатов.

Никто не мог бы забыть образ Сталина, как он стоял, наблюдая за моим уходом, — суровая, грубоватая, решительная фигура в зеркально блестящих сапогах, плотных мешковатых брюках и тесном френче. На нем не было никаких знаков различия — ни военных, ни гражданских. У него приземистая фигура, какую мечтает видеть каждый тренер футбола. Рост его примерно 5 футов 6 дюймов, а вес около 190 фунтов. У него большие

руки и такие же твердые, как его ум. Его голос резок, но он все время его сдерживает. Во всем, что он говорит, — именно та выразительность, которая нужна его словам.

Если он всегда такой же, как я его слышал, то он никогда не говорит зря ни слова. Если он хочет смягчить краткий ответ или внезапный вопрос, он делает это с помощью быстрой сдержанной улыбки — улыбки, которая может быть холодной, но дружественной, строгой, но теплой. Он с вами не заигрывает. Кажется, что у него нет сомнений. Он создает у вас уверенность, что Россия выдержит атаки немецкой армии. Он не сомневается, что у вас также нет сомнений...

Он предложил мне одну из своих папирос и взял одну из моих. Он непрерывно курит, что, вероятно, и объясняет хриплость его тщательно контролируемого голоса. Он довольно часто смеется, но это короткий смех, быть может, несколько сардонический. Он не признает пустой болтовни. Его юмор остр и проницателен. Он не говорит по-английски, но, когда он обращался ко мне по-русски, он игнорировал переводчика и глядел мне прямо в глаза, как будто я понимал каждое слово.

Я уже сказал, что наше свидание ни разу никем не прерывалось. Впрочем, оно прерывалось два или три раза, но это вызывалось не телефонными звонками и не непрошеным появлением секретаря. Два или три раза я задавал ему вопросы, на которые, задумавшись на мгновение, он не мог ответить так, как ему хотелось бы. Он нажимал кнопку. Моментально появлялся секретарь, так, как будто он стоял наготове за дверью, и становился по стойке «смирно». Сталин повторял мой вопрос, ответ давался моментально, и секретарь исчезал...

В Соединенных Штатах и в Лондоне миссии, подобные моей, могли бы растянуться и превратиться в то, что государственный департамент и английское министерство иностранных дел называют беседами. У меня не было таких бесед в Москве, а лишь шесть часов разговора. После этого все было сказано, все было разрешено на двух заседаниях».

39

Командный пункт фронта — капитальное фортификационное сооружение на уровне высшего инженерного искусства. Его помещения — блиндаж командующего, «салон» Военного совета фронта, отсеки оперативной

группы — были накрыты накатами бревен из вековых елей и сосен. Стены всех помещений обшиты слегами-жердями, положенными вдоль и закрепленными крепкими стояками. Все это деревянное великолепие, свежо пахнущее смолой-живицей, скреплено еще и железными скобами. За главной деревянной дверью находилась не очень тесная «прихожая», в которой у грубовато сколоченного стола постоянно располагались связисты, адъютант командующего или ординарец. Из «прихожей» поднимались к выходу в лес ступеньки.

В главной комнате подземелья — большой стол с телефонными аппаратами и радиостанцией. Здесь заседал Военный совет, велась оперативная работа с картами. Вдоль боковых стен — подставки для вспомогательных карт, боевых схем, итоговых сводок.

Ни авиационная бомба, ни снаряд не могли бы прошить бревенчатые накаты командного пункта, укрытые толстым слоем земли, даже при прямом попадании. Так предполагали расчеты инженеров.

И все-таки неуютно чувствовал себя здесь Георгий Константинович Жуков. Нет, не из-за ощущения опасности. Томила его суровое солдатское сердце сложность боевой обстановки в полосе фронта.

Он сидел сейчас за столом, всматривался в карту с нанесенным на ней расположением своих армий, дивизий и группировок врага. Все казалось будто очевидным, ясным, не на чем даже остановить усталую от напряжения и горечи мысль. Может, мешала ему тихая песня, доносившаяся откуда-то снаружи. Молодой и чистый мужской голос журчал тоненькими струйками, а слов разобрать было невозможно. Что-то близкое, родное, тревожившее душу, слышалось в этом голосе и увлекало память в далекие годы, в мир его детства и юношества. Почему-то перед глазами вставала родная Стрелковка, вспучившееся под разнотравьем поле, через которое он бегал в церковноприходскую школу деревни Величково. Будто наяву виделись в кудрявой зелени речки Огублянка и Протва, где с тихим азартом ловил он, мальчик Гоша, рыбу. Тронул болью в сердце всплывший в памяти случай, когда обвалилась от ветхости крыша их дома и семье пришлось переселиться в сарай; там отец сложил небольшую каменную печку для готовки пищи и обогрева. Свет от стоявшей на печке тусклой плошки не мог продраться сквозь мглу в углах сарая.

И мнилось в полудреме, что неумолкавшая тоскливая песня действительно доносилась до него из тех далеких лет, от Протвы и Огублянки, а может из соседнего села Черная Грязь или недалекого от Стрелковки Угодского Завода. Ныло сердце и шкварчало в голове — признак крайней усталости и дурного настроения.

Песня незаметно растаяла, а мысли Георгия Константиновича не могли вернуться в сегодняшний день — все петляли по причудливым лабиринтам непростой его судьбы и будто искали ответ на какой-то мучивший вопрос.

Да, сейчас он оказался в трагически-тяжком положении, как никогда в жизни. Понимал, что Москва возлагает на него все надежды, а он будто оказался с завязанными глазами и не ведал, куда сделать шаг. Такого с ним еще не бывало даже в те далекие годы, когда терпел нищету, унижения, побои. После приезда в штаб Резервного фронта и после изучения обстановки трижды устремлял он главные свои силы на немецкие дивизии, укрепившиеся в ельнинском выступе, но не добился того успеха, на какой рассчитывал. Почему не получилось? Почему август был таким неудачливым месяцем? Ведь следовал Жуков принципу, ранее не подводившему его: до полной ясности возвышал свои духовные и умственные силы, соединял в решениях расчет, смелость и осторожность, исходил из выверенного закона стратегии — действовать сосредоточенными силами на решающем участке и в решительный момент захватывать стремительным наступлением инициативу... Не получилось. Немцы, правда, понесли потери, но и полегли десятки сотен наших бойцов и командиров. Сколько похоронок пошли в глубь России!..

Но как дрались! Жуков видел это, когда был на командно-наблюдательном пункте генерала Руссиянова, командира сотой стрелковой дивизии; ее славные дела, совершенные уже в первые недели войны, были известны всему фронту. Побывал на командных пунктах всех других дивизий, не позволявших противнику встречными ударами прорваться из ельнинского выступа на оперативный простор...

Вряд ли генерал армии Жуков не предвидел, что столкнется с невероятными трудностями, приняв командование войсками Резервного фронта. Эти трудности слагались из многих обстоятельств. Перед дивизиями фронта, охватившими с трех сторон ельнинский выступ,

враг создал мощные укрепления, зарыв в землю танки, бронемашины, штурмовые и артиллерийские орудия, построив густую цепь дзотов, в которых обосновались хорошо обученные расчеты при крупнокалиберных пулеметах и пушках. Между оборонительными поясами — проволочные заграждения и минные поля. Войска, закрепившиеся в деревнях, были усилены инженерно-саперными подразделениями, которые немедленно восстанавливали каждый дзот, разрушенный нашей артиллерией, каждый прогон порванной колючки, каждый квадратный метр взорванного минного поля. Укрепленный таким образом район казался неприступным.

Но главное — немцы оборонялись неистово и на каждую нашу атаку отвечали контратакой, стараясь перейти в наступление на север и восток, что могло при их успехе привести к объединению двух мощных вражеских группировок — ельнинской и ярцевско-духовщинской, нацеленных в совокупности на Москву. Этого успеха не только никак нельзя было допустить; задача состояла в том, чтоб разгромить врага на Смоленской возвышенности и ликвидировать реальную опасность на Московском направлении.

Причину неудач на этом участке фронта Жуков пока что видел только в маломощности 24-й армии. Еще до его приезда командарм Ракутин тоже непрерывно приказывал своим дивизиям каждодневно атаковать противника. А должной подготовки полков проводить не успевали и не имели надлежащего артиллерийского обеспечения. Ракутин надеялся, что не устоят немцы под непрерывным красноармейским штыковым навалом, спасуют в рукопашных схватках.

Георгий Константинович, окинув взглядом оперативную карту, проследовал мыслью в лесную деревеньку Волочек, раскинувшуюся на берегу небольшой реки. Там был штаб 24-й армии. Будто увидел моложавое лицо генерал-майора Ракутина. На этом лице все было выразительным — полные широкие губы, большие, смело глядящие красивые глаза под густыми бровями. Только плотно прилегавшая к голове шевелюра генерала была жидковатой, будто полинявшей. Жуков заметил, что командиры дивизий робковато чувствовали себя при общении с командармом. И еще понял, что Ракутину нелегко давались тонкости оперативного искусства, хотя боевые задачи ставил он комдивам довольно уверенно.

В последние дни Жуков вновь побывал на всех командно-наблюдательных пунктах командиров дивизий 24-й армии. И каждый раз напряженной мыслью устремлялся туда, вовнутрь вражеской группировки, чьи боевые порядки будто впаялись в высоты, овраги, балки и в леса и перелески, в склоны полевых массивов и закраины болотистых участков. До этого он уже трижды отдавал приказы о наступлении, разделив 24-ю армию на ударные группировки — северную, дивизиям которой предстояло атаковать врага в Южном и Юго-Западном направлениях, и южную, ее дивизиям надлежало пробиваться на север и на запад. Общая задача была: окружить, рассечь на части и разгромить немецко-фашистские войска на ельнинском плацдарме... Однако немцам, имевшим преимущество в танках и самолетах, удалось сдержать все штурмы.

Снова началась кропотливая подготовка для нового удара. Командиры дивизий, полков и спецподразделений вновь непрерывно вели рекогносцировку местности с разных наблюдательных пунктов. В ротах и батальонах проводились партийные и комсомольские собрания. Службы тыла подвозили к переднему краю все необходимое для предстоящего боя. Командиры артиллерийских полков и дивизионов, артиллерийские разведчики сутками сидели в окопах переднего края — изучали систему огня противника, наносили на карты расположение его огневых точек, орудийных и минометных огневых позиций.

В тот день утро застало генерала армии Жукова и генерал-майора Ракутина на западном берегу речки Ужа, в лесу, где располагался командный пункт 107-й стрелковой дивизии полковника Миронова. Комдив как раз вернулся со штабными командирами с рекогносцировки и вместе с вызванными на командный пункт командирами полков уточнял силы противника перед фронтом дивизии.

В таких случаях Георгий Константинович предпочитал быть в крайнем случае советчиком, ибо комдиву, который только что видел занятую противником местность, яснее, как планировать будущие боевые действия в предвидении очередного общего наступления армии.

Генерал же Ракутин знал, что самым трудным участком перед дивизией полковника Миронова является тот, над которым господствовала высота 251,1. Знал это, конечно, и Миронов.

— Кто будет брать высоту двести пятьдесят один? — спросил Ракутин комдива.

— Думаю поручить это дело полку Некрасова.

— Согласен. Как, Иван Михайлович, одолеешь эту горушку? — Ракутин поглядел прямо в глаза вставшего по стойке «смирно» командира 586-го стрелкового полка полковника Некрасова.

— Приказ есть приказ, товарищ генерал. Его выполнять надо.

— Решение свое доложите завтра к двенадцати ноль-ноль командиру дивизии.

Разговор велся рядом с блиндажом комдива, за длинным столом, сбитым из досок, под густой сенью деревьев.

Жуков пытливо вгляделся в лицо полковника Некрасова — простое, спокойное, с резкими чертами и лесенкой морщин на лбу. В прищуре его глаз под открыто изогнутыми бровями чувствовались уверенность в себе и даже какая-то дерзкая загадочность.

Некрасов ушел, а Жуков, придвинув топографическую карту с начертанной на ней линией обороны противника, стал всматриваться в пометки на высоте 251,1 и вокруг нее. Увидел, что на ее гребне, на скатах и вдоль основания гитлеровцы вырыли траншеи, оборудовали много огневых артиллерийских и минометных позиций, оцепили подступы к высоте минными полями и колючей проволокой. Насчитал около десятка кружков с ромбиками внутри их — это закопанные в землю танки. Знал, что высоту обороняет немецкий полк, хорошо оснащенный автоматическим оружием, и мысленно поставил себя на место полковника Некрасова. Какое бы принял решение? Какой бы совершил маневр, чтоб взять высоту? Ведь еще надо было преодолеть перед ней совершенно открытую двухкилометровую ничейную полосу, преодолеть под огнем, ибо даже при самой тщательной артиллерийской подготовке обязательно уцелеют или будут переброшены из глубины обороны пусть даже несколько пулеметов.

Для взятия высоты нужна была могучая артиллерийско-минометная поддержка, нужны пушки сопровождения пехоты, чтоб двигались в ее боевых порядках и прямой наводкой били по оживающим огневым точкам врага. Нужны бомбовые удары с воздуха. Хорошо бы и дымовая завеса, если будет сопутствовать ветер. И не-

обходимы также вспомогательные удары справа и слева других частей.

Что же предпримет полковник Некрасов?.. А полковник Некрасов принял необычно дерзкое решение: всем полком, прикрываясь ночной теменью, подползти к переднему краю вражеской обороны, в которой саперам было приказано сделать проходы в минных полях и вырезать обширные ворота в проволочных заграждениях, затем всеми батальонами навалиться на врага, тихим и внезапным штыковым штурмом.

Готовились к этому весь день. Каждому, кому предстояло идти на высоту, надевалась на рукав белая повязка, чтоб в траншейных схватках не переколоть своих. Полковник Некрасов тщательно инструктировал диверсионно-разведывательную группу: ей предстояло ползти впереди и бесшумно снимать немецких часовых и сигнальщиков-ракетчиков; начальник штаба до метра выверял расстояния по карте и вычислял, за какое время можно проползти нейтральную полосу, намечал места проходов в проволочных заграждениях и минных полях; начальник разведки перепроверял полученные накануне данные о расположении вражеских огневых точек. Напряженная работа велась всеми работниками штаба полка и штабов батальонов, а также политработниками, которые проводили беседы почти с каждым бойцом.

За час до полуночи боевые порядки полка двинулись в сторону высоты. И будто сгинули, проглоченные сумраком ночи. Полковник Некрасов полз впереди вместе с разведывательно-диверсионной группой.

Миновал час, второй, наступил третий... Не слышно было ни единого выстрела. Только, как и в каждую ночь, велась редкая беспокоящая пальба нашей и немецкой артиллерии.

Георгий Константинович ждал вестей с высоты с напряженным нетерпением и некоторым недоверием. Его настроение передалось генералам Ракутину и Миронову. Все сидели за тем же столом у блиндажа, отбивались от комаров, курили, изредка перекидывались ничего не значившими фразами и пили крепкий чай. В то же время каждый будто был там, на клеверном поле, которое надо было переползти батальонам полка, был у вражеской колючей проволоки и среди минных полей. Нетронутыми стояли у стола термосы с ужином для начальства...

В полтретьего на высоте заполыхали четыре костра: загорелись подожженные нашими разведчиками-диверсантами немецкие танки. Это был сигнал для начала штурма. Полковник Некрасов бежал впереди атакующих цепей, первым вскочил в траншею и начал ту искусную штыковую схватку с одуревшими со сна и от неожиданности немецкими солдатами, которая зажгла азартом всех, следовавших за ним. И пока ни выстрела. Только свирепая возня, надсадные охи, предсмертные вскрики. Шли впрок уроки полковника, который почти в каждой роте показывал «свою школу» орудования штыком: не бей врага ни в грудь, ни в живот, экономь силу и на длинном выпаде посылай карабин вперед, целясь неприятелю в лицо, в шею, в лоб. Жало штыка острое, а бросок винтовки должен быть резким, энергичным, после которого пораженный роняет оружие и падает в шоке. Только русский боец владеет таким приемом; не надо забывать о нем, напоминал всем Некрасов.

Первая траншея очищена. Бросок ко второй был еще более стремительным. Схватки — как продолжение кошмарного сна. Лязг штыков и приглушенные вопли гитлеровских вояк, не могших опомниться от налетевшего шквала. Блиндажи, дзоты заухали и застонали от взрывавшихся в них гранат. Ходы сообщения закупоривались телами сраженных завоевателей.

Не могло быть ничего более страшного, чем минуты, в которые гибли сотни и сотни людей — вражеских солдат, да и наших воинов, охваченных боевым азартом и яростью.

До какого-то времени схватки происходили будто в таинственности: никто не взывал о помощи, не требовал подкреплений. Бойцы полковника Некрасова, ожесточившись во все предыдущие дни, когда теряли в бесплодных атаках своих товарищей, сейчас будто вершили справедливый суд возмездия и ощущали, как метр за метром порабощенная земля смоленская вновь становилась родной, избавленной от завоевателей.

И вдруг тишина взорвалась тысячеголосым могучим и отчаянным кличем «ура-а-а!». К вершине высоты, где находился командный пункт немецкого оборонительного узла, устремились темные тени-призраки — цепями, группами, одиночками со всех сторон... Вот и вершина позади. Там, в блиндажах, уже хозяйничал с группой бойцов полковник Некрасов. А батальоны полка все продолжали теснить неприятеля дальше и дальше.

К пяти часам утра высота 251,1 была полностью очищена от врага, и на подступах к ней были поставлены прочные заслоны.

Генерал армии Жуков, не сомкнувший в эту ночь глаз, был счастлив, хотя понимал, что достигнутый полком Некрасова успех далеко не являлся тем результатом, которого надо достичь всеми дивизиями 24-й армии. Более того, он предвидел, что Некрасову придется очень тяжко со своими батальонами, ибо в наступательном порыве они, несомненно, еще дальше углубятся во вражеские оборонительные рубежи. Но поддержать их, превратить частный успех полка в успех дивизии, а тем более армии пока не представлялось возможным. Придется наверняка выручать Некрасова огневой поддержкой и ударом резервных сил.

Генерал Жуков умел всматриваться вперед. Главное сражение за ельнинский плацдарм было еще впереди. Но командующий фронтом воочию убедился, что во главе советских войск стоят настоящие командиры, с опытом, выдержкой, с истинно русским характером, выкристаллизованным за всю историю народа, никогда не покорявшегося поработителям. И воинство советское уже обрело к этому времени те качества, когда можно было в полной мере на него положиться, разрабатывая масштабные оперативно-стратегические операции.

40

В первых числах августа ослабленные части 16-й и 20-й армий по приказу главнокомандующего Западным направлением начали отходить от Смоленска, прикрываясь сильными арьергардными группами. На главном направлении, где немцы пытались смять отходящие войска, неусыпно действовали разведчики 152-й стрелковой дивизии во главе со старшим лейтенантом Лопуховым Евгением Семеновичем, а вражеским танкам преграждал путь артиллерийский противотанковый дивизион под командованием политрука Машункина Василия Михайловича. На флангах держали оборону смешанные подразделения, замыкая коридор отхода.

В ночное и дневное время по Старой Смоленской дороге непрерывным потоком двигались в направлении Днепра колонны пехоты, артиллерии, грузовиков, санитарных машин и повозок. Дорога упиралась в Днепр у деревни Соловьево, раскинувшей свои семьдесят пять

дворов на возвышенном правом берегу, недалеко от того места, где в Днепр вливались речки Устром, Ласьмена, а ниже по течению — Вопь. И теперь еще одна, живая, река текла к древнему Днепру, разливаясь по всей ниспадающей к руслу прибрежной пойме и по близлежащим лесам.

Через Днепр саперы под командованием армейского инженера полковника Ясинского навели переправу — поставили и заякорили посреди реки два металлических понтона, а справа и слева состыковали надувные лодки, поверх которых закрепили деревянные лаги. Между берегами протянули стальные тросы, а рядом, тоже на тросах, — два штурмовых мостика для пехоты. Однако напор людей, машин, повозок был куда более мощным, чем могла пропустить по своей зыбкой тверди переправа. А пушкам вообще не было сюда ходу: грузоподъемность понтонов не соответствовала их весу. Поэтому ниже по течению Днепра, у деревни Радчино, инженерными подразделениями 20-й армии наводилась более мощная, вместо разбомбленной, переправа, в то время как в лесных и тальниковых глубинах восточного берега со вчерашнего дня стрекотали пулеметы и автоматы, гулко ухали танковые пушки, иногда доносилось многоголосое «ура!». Там поредевшие подразделения 5-го механизированного корпуса 20-й армии дрались с немцами, прорвавшимися через Днепр наперерез отступающим советским войскам. Хорошо, что танкистам и пехоте 5-го корпуса удалось вовремя выйти на левый берег, используя паромную переправу и брод у Радчино. Теперь они продолжали успешно теснить врага за речку Орлею.

Соловьевская и радчинская переправы лета 1941 года... Страшные это были скопища людей и техники. Страшные тем, что являли в своей совокупности гигантские мишени, по которым непрерывно вели огонь артиллерия и минометы врага, а с неба пикировали десятками бомбардировщики, прорываясь сквозь огонь зенитчиков. Изредка появлялись советские истребители, и тогда на земле начиналось ликование...

Не столь большая ширь Днепра ниже переправ была густо покрыта странного вида кочками. Это, закрепив на головах сложенное обмундирование, а за спиной — карабины, перебирались на левый берег умевшие плавать.

А у въездов на понтонные мосты творилось невооб-

разимое. Каждый стремился оказаться быстрее на противоположном берегу, у темнеющего впереди леса, подальше от обстрела и бомбежек. Поэтому командованию пришлось поставить плотное оцепление из взводов комендантских рот. На радчинской переправе наводил жесткий порядок бригадный комиссар Сорокин Константин Леонтьевич, на соловьевской — полковник Лизюков Александр Ильич. Первыми пропускали машины и повозки с ранеными. Бойцов — только с оружием; безоружных возвращали назад — искать оружие.

Саперные подразделения совершали воистину беспримерный подвиг. Бомбы и снаряды, взметывая в небо фонтаны воды, часто попадали в цель, губя людей, технику и разрушая наплавные мосты. Ниже по течению, здесь же, в Соловьеве, начали строить еще две переправы — свайные. Тракторами волокли на тросах из недалекого леса спиленные деревья, танками рушили по просьбе жителей их деревянные дома, сараи, тащили бревна к переправам, крепили, вязали, схватывали крепежными железными скобами, тяжелыми «бабами» вбивали в дно Днепра сваи, клали поперечины, а на них — продольные лаги. Берег кипел от многолюдья, деловой суеты, далеко окрест слышался гул тысяч голосов, вопли раненых и тонущих, команды, матерщина. Все это часто заглушалось пальбой зенитных пушек и пулеметов, залповым огнем по немецким самолетам, а также недалекой стрельбой за буграми, где сводный отряд полковника Лизюкова сдерживал рвавшихся к переправам немцев.

Да, это были самые тяжкие часы и дни августа 1941 года для тех, кто оказался в этой мясорубке. И все-таки судьба будто сжалилась над терпевшими смертные бедствия советскими войсками: каждые сутки, с шести-семи часов вечера и часов до десяти утра над Днепром, его поймой, над всей бугристой местностью начинал клубиться вокруг густой белый туман, делая менее уязвимыми переправы и оберегая саперов от ударов с воздуха.

И текла, текла несколькими ручьями живая река от Днепра на восток, в сторону деревень Часовня, Дубки...

4 августа перебрались через Днепр штабы 16-й и 20-й армий. Генералу Лукину не повезло. В сутолоке на переправе, когда он наводил там порядок, на него наехала машина и повредила ногу.

Остатки дивизии полковника Гулыги тоже прорвались на восток южнее Смоленска и влились в колонны отступающих частей 16-й армии. Гулыга и с ним начальник штаба подполковник Дуйсенбиев, начальник артиллерии майор Быханов ехали верхом на лошадях, отбитых у немцев. Вся техника остатков дивизии — автотранспорт, артиллерия, тягачи — была приведена в негодность и оставлена в лесах севернее Муравщины. Полковник Гулыга, не зная обстановки, повел свои растрепанные подразделения строго на восток, переправился через Днепр и сам влез в мешок вражеского окружения. А сейчас надо было вновь переходить Днепр.

На Старой Смоленской дороге, у развилки дорог на Радчино и Соловьево, стоял командирский регулировочный пост, разделявший поток отходивших войск на два русла. Гулыга с группой своих штабистов был направлен на Радчино. А младший политрук Миша Иванюта проворонил развилку и поехал на Соловьево, стоя на подножке медленно двигавшегося в колонне санитарного автобуса, битком набитого ранеными. У Иванюты до этого тоже была трофейная лошадь. Но вчера при налете «юнкерсов» ее тяжело покалечило, и Миша, содрогаясь от жалости, пристрелил кобылицу. А теперь передвигался пешком или на попутном, случайном транспорте.

В кабине санитарного автобуса сидела молоденькая сероглазая санитарка Варя, обворожившая Мишу с первого взгляда. Ее воркующий голосок, светлые, струившиеся из-под пилотки кудряшки, круглое, улыбчивое личико с ямочками на щеках — все это так пришлось Иванюте по душе, что сердце его затрепетало. И он стал откровенно хвастаться перед девчонкой своим трофейным автоматом, запасными обоймами к нему, воткнутыми за голенища сапог, трофейным биноклем. Наводил девушку на мысль о своем геройстве, необыкновенной храбрости. Варя даже начала подшучивать над его откровенным бахвальством, понимая, что этот загорелый тощий паренек с двумя кубиками в петлицах очень хочет понравиться ей... И произошло невероятное: Миша увидел на коленях у санитарки недельной давности газету «Красная звезда»... Тут все и «замесилось»... В газете публиковался Указ Президиума Верховного Совета о награждении фронтовиков, отличившихся в боях. Автобус как раз остановился в заторе, а Миша, безразлично скользнув взглядом по списку, задержал вни-

мание на фамилии Жилов, полковой комиссар... Награждался орденом Красного Знамени... Миша изумленно ахнул и тут же помрачнел от печали: Жилов остался где-то в тылу врага с другой группой частей. Не погиб ли?..

Вдруг вспомнил, как Жилов говорил перед строем, что и его, младшего политрука Иванюту, представляют к награде. Не питая особой надежды, Миша пробежался глазами по списку и чуть не лишился рассудка, когда в колонке, где перечислялись награжденные орденом Красной Звезды, черным по белому было напечатано: «Политрук Иванюта Михаил Иванович...» Но почему политрук? Ведь он младший политрук!..

Варя посмотрела на Мишу уже с бо́льшим интересом. А он, продолжая изучать список, вдруг прочитал: «Капитан Колодяжный!..» Теперь ему все стало ясно: их не только наградили, но и повысили в воинских званиях... И захлебнулся в радости, в гордости и даже самодовольстве.

А Варя милостиво подарила Мише газету с указом и химическим карандашом дорисовала на малиновых петлицах линялой Мишиной гимнастерки по одному квадратику; это должно было подсказывать несведущему миру, что он, Михаил Иванюта, уже не младший, а просто политрук!

Варя так и сказала:

— Политрук ты мой орденоносный, не умри от радости.

И это было для Миши как признание девушки в любви к нему.

Когда санитарный автобус, двигаясь в колонне, поднялся на взгорок, откуда был виден Днепр, в душе у Миши будто погас свет и радость его померкла. Показалось, что перед ним открылась панорама гигантского торжища, где в базарный день сбились многие тысячи людей, сотни машин, тягачей, орудий, повозок. А за Днепром тянулись через луг к лесу плотные цепочки пеших и конных, грузовиков, орудий, санитарных машин, повозок; переправы словно процеживали сквозь себя войско. Однако вытекавшие на восточный берег живые ручьи, кажется, никак не обмеляли людского моря, тысячеголосо плескавшегося в пойме правого берега. То в одном, то в другом месте берега, прибрежного тальника или в водах Днепра взметывали дымные

столбы взрывавшихся снарядов и мин, прибавляя работы санитарам и похоронным командам.

Ближе к переправе Миша Иванюта стал убеждаться, что порядка тут больше, чем казалось со стороны. Строгие командиры и политработники, бойцы и сержанты комендантских взводов четко направляли на мосты людей, транспорт, технику. Не успел он сообразить записать хоть какой-нибудь адрес Вари, ее фамилию, как его стянули с подножки, оттиснули в сторону, а автобус с ранеными загромыхал колесами по дощатому настилу наплавного моста. Иванюта хотел было возмутиться, что с ним, орденоносцем, так бесцеремонно обошлись, но, оглядевшись вокруг, понял, что тут ничего никому не докажешь.

Мише, конечно, было проще простого самостоятельно переплыть Днепр. Но зачем? Остаться на том берегу в одиночестве, без своих, с которыми пробивался из окружения? И куда потом податься?.. Нет, такой глупости политрук Иванюта не допустит и дождется, когда на переправе появятся полковник Гулыга, подполковник Дуйсенбиев, другие штабисты и политотдельцы их дивизии.

К переправам приближалась очередная девятка «юнкерсов», и из левобережных перелесков по ним открыла стрельбу батарея зенитных орудий.

Ощущая мерзкий холодок страха в груди и на спине, Миша Иванюта стал проталкиваться к огородам деревни, спускавшимся к пойме. Здесь ударила в нос теплая нестерпимая вонь — от убитых лошадей и коров. Миша поднялся еще выше на взгорок, приложил к глазам бинокль и стал осматривать запруженную машинами, повозками, людьми дорогу и ее обочины; верховых на ней не заметил, а о том, что в нескольких километрах есть другая переправа, Иванюта не знал.

Перевел бинокль на «юнкерсов» и увидел, как наперерез им устремилась из глубины неба шестерка наших «ястребков». Немецкие бомбардировщики, бросив бомбы на болотистый луг за Днепром, стали удирать на запад, стреляя по «ястребкам» из всего своего бортового оружия.

Иванюта снова нацелил бинокль на дорогу. Увидел повозку с ранеными. Среди них сидел, опустив ноги к земле, очень знакомый Мише человек... Ба, да это же майор Рукатов!.. Забинтованное плечо, перевязанная голова... Нет, встречаться с Рукатовым Мише не хоте-

лось, хотя интересно было узнать, удалось ли ему вывезти из тыла врага те мешки денег, которые нашел Миша.

Бойцы вокруг неожиданно стали кричать «ура!». Через мгновение сонмище людей в долине могуче подхватило этот клич ликования, и казалось, что сейчас рухнет на землю небо, настолько он был мощным и яростным. Миша даже испугался, ничего не понимая. Потом увидел, как падали сбитые «ястребками» два «юнкерса», оставляя за собой бурые хвосты дыма, и сам тоже начал вопить «ура!» и подбрасывать вверх пилотку.

На время Мишу отвлекло от поисков однополчан еще одно событие. Между домами и надворными постройками Соловьева, цепочкой тянувшимися по возвышенному берегу Днепра, были проулки, проходы и огородные грядки. Все они вдруг стали заполняться коровами. Это откуда-то угоняли в тыл скот. Коровы, а их было много десятков, учуяв близкую воду, засеменили вниз, а Миша, вспомнив, как в детстве он купал коров, тоже побежал к Днепру и, возвысив голос, призывно объявил:

— Братцы, кто не умеет плавать — цепляйтесь за коров!.. Живые паромы... Надежные!

Видно, коровам было уже в привычку переплывать через реки. Попив из Днепра воды, они, отдуваясь, неторопливо шли на глубину и направлялись к противоположному берегу. Боявшихся воды и не умевших плавать среди скопившихся близ переправ бойцов оказалось не так уж мало. И вскоре каждая корова была облеплена людьми, как мухами. Держались за хребтины, перебросив через них оружие, за хвосты, за рога. У многих коров на рогах висели винтовки, автоматы, вещмешки. Бессловесная скотина медленно, но верно плыла через реку, чутко прислушиваясь к выстрелам бичей в руках сопровождавших стадо немолодых скотников.

Ширь Днепра сплошь покрылась плывущими в обнимку с коровами бойцами. И с той же силой, как гремело сейчас при виде падающих «юнкерсов» «ура!», если не с большей, раскатисто взревела по всей пойме гомерическим хохотом многотысячная рать. В этом безудержном, размашистом хохоте было, казалось бы, что-то противоестественное, ибо рядом умирали тяжелораненые, продолжали взрываться немецкие снаряды и мины, губя людей и превращая в железные ошметья технику. Но таков был характер российского воинства.

Вслед плывущим неслись ироничные, беззлобно-насмешливые выкрики:

— Эй, коровий род войск! Держите точно на восток!

— Защекочешь буренку, сержант! Осторожнее!

— Эгей, который за хвост держится! Не включи корове задний ход!..

Вдруг среди плывущего стада рванул снаряд, всплеснув вверх огонь и воду. И как обрубил смех на берегу. Окрасился кровью Днепр. Многие коровы вместе с бойцами пошли ко дну...

И тогда в реку кинулись десятки добровольных спасателей, даже не успев раздеться.

— Ваша идея?

Миша Иванюта, потрясенно смотревший с берега на то место, где взорвался снаряд, повернулся на обращенный к нему голос и увидел рядом с собой... старшего лейтенанта Ивана Колодяжного.

— Ты ли это?! — обалдело спросил Миша.

— А это ты, холера?! — Колодяжный коротко хохотнул. — Коровий стратег от журналистики! Живой, значит!

— Живой, да вот отбился от своих, — с чувством виноватости сказал Иванюта.

— Здесь все свои, — с приглушенной грустью успокоил его Колодяжный. — Дуй за Днепр и держи путь на Городок. Там сборный пункт. Пойдем к переправе.

— А ты что здесь делаешь?

— Собираю таких, как ты, недоумков, что от своих отбились. Одних в трибунал отдаю, а других милую.

— Как со мной поступишь?

— Дай закурить, тогда отпущу на свободу.

— Закурить не дам — не курю. А вот кое-чего другое сейчас будет. — Иванюта расстегнул свою планшетку, распахнул ее и показал Колодяжному газету «Красная звезда». Под прозрачным целлулоидом был виден в ней указ о награждениях. — Вот читай, товарищ капитан! Да-да, не старший лейтенант, а капитан! И с орденом Красной Звезды вас!!! Не младший, а политрук Иванюта поздравляет!

Вот так и было на этом обильно политом кровью крохотном клочке планеты: здесь колотились боль, страх, муки. И вспышки веселья, радости, когда был к тому повод. И многих людей привела сюда Старая Смо-

ленская дорога, чтоб открыть перед ними новые дороги войны, коей предстояло еще не один год буйствовать на советской земле.

41

Федор Ксенофонтович Чумаков сидел в пижаме на скамейке под старой липой, с тыльной стороны госпитального здания, курил, переговаривался с другими выздоравливающими ранеными, отдыхавшими тут же в плетеных креслах, любовался лугом и лесом, видневшимися за Москвой-рекой. День клонился к исходу, дышал свежестью и запахами цветочных клумб.

Неожиданно с угла здания послышался звонкий девчоночий голос:

— Генерала Чумакова просят зайти в палату!

Федор Ксенофонтович оглянулся на голос, увидел молоденькую санитарку в белом халате и белой косынке. Поднялся, взглянул на наручные часы: было ровно семнадцать. Зачем понадобился в столь неурочную пору?

В палате застал своего лечащего врача — полнотелого военврача третьего ранга — и замполита госпиталя — полкового комиссара, уже немолодого мужчину с грустными проницательными глазами. Оба они были чем-то обескуражены.

— Федор Ксенофонтович, — обратился к Чумакову полковой комиссар, — нам приказано, исходя из вашего самочувствия, разрешить вам поездку в Москву. Как вы?.. Сможете?

— Я готов, — без колебаний ответил Чумаков и тут же увидел на спинке кресла новенькое генеральское обмундирование, а рядом на полу — хромовые сапоги. В темных петлицах гимнастерки заметил по три золотистые звездочки и смутился: — Это мне?

— Так точно, товарищ генерал, вам, — ответил замполит.

— Значит, ошиблись в звании: я ведь — генерал-майор, а тут знаки различия генерал-лейтенанта.

— Привезли из Москвы форму, — пояснил врач.

— Ошиблись. — И Федор Ксенофонтович, взяв гимнастерку, стал отвинчивать с петлиц по одной нижней звездочке. — А кто привез?

— Полковник. Он дожидается вас в машине.

Верно, Федор Ксенофонтович видел при входе в зда-

ние черную «эмку». Рядом с ней стоял, раскуривая папиросу, моложавый полковник в форме НКВД.

«Что бы это значило?» — размышлял Чумаков, надевая на себя новенькое генеральское одеяние. Его оставили в палате одного.

Когда натянул сапоги, то почувствовал, будто у него прибавилось сил и бодрости. Действительно, раны его зажили, хотя на следах ран от осколков образовавшаяся кожица была еще розовой и болезненной, если прикоснуться к ней.

Минут через десять черная «эмка» уже мчалась в сторону Москвы. Федор Ксенофонтович не стал расспрашивать полковника, сидевшего рядом с шофером, куда и зачем они едут. Хмурый, усталый вид чекиста не располагал к этому, да и понимал Чумаков, что, если тот сам ничего не поясняет, значит, так надо.

Удивительно, что Федор Ксенофонтович не ощущал никакой тревоги, только волнение от предстоящего свидания с Москвой: какая она, военная, которую, начиная с 22 июля, немецкие самолеты пытаются бомбить каждую ночь?

В одном был убежден генерал Чумаков: вызов в Москву связан с его письмом, в котором он изложил свои мысли по поводу способов ведения боя разными родами войск — как личный опыт, вынесенный из первых сражений с немцами. Правда, было чуть стыдновато, что употребил небольшую хитрость — «военную находчивость», как определили ее они вместе с полковником Микофиным. Чтобы письмо не затерялось где-нибудь в дебрях наркоматовских канцелярий, Чумаков адресовал его профессору Романову, будто не зная, что тот умер за день до начала войны. А Микофин взял на себя труд передать это письмо маршалу Шапошникову, отозванному с Западного фронта и назначенному начальником Генерального штаба вместо Жукова.

Как же был удивлен Федор Ксенофонтович, когда, приехав в центр Москвы, их машина устремилась не на улицу Фрунзе, к Наркомату обороны, а к Кремлю. И тут дрогнуло сердце у бывалого солдата. Изменив своей выдержке, он спросил у молчаливого полковника:

— Куда мы следуем?

— Приказано сопровождать вас в приемную товарища Сталина. — Полковник повернулся к Чумакову, дружелюбно заулыбался и сказал: — Ну и характерец

у вас, товарищ генерал! Я всю дорогу ждал этого вопроса...

Когда Чумаков, испытывая естественное волнение, вошел в кабинет Сталина, он увидел сидящими за длинным столом Молотова, маршала Шапошникова и Мехлиса. Сталин стоял у своего стола и читал какой-то документ. При виде Мехлиса Федор Ксенофонтович вдруг почувствовал, как загорелась у него зажившая рана ниже левого уха, встревожился, что сейчас, как уже бывало раньше, заклинится у него челюсть и он не сможет произнести ни слова. А Мехлис, видимо, вспомнил тот случай, которому он был свидетелем западнее Минска, в штабе армии Ташутина, когда с Чумаковым произошел такой казус, вдруг расхохотался и подбадривающе спросил:

— Опять будете палец между зубами совать?

Чумаков посмотрел на армейского комиссара первого ранга с благодарностью за моральную поддержку и, успокоившись, принял стойку «смирно». Прищелкнув каблуками новеньких, необмятых сапог, обратился к Сталину:

— Товарищ Верховный Главнокомандующий, генерал-майор Чумаков по вашему вызову прибыл!

Сталин положил на стол бумагу, вплотную подошел к Федору Ксенофонтовичу и подал ему руку. После короткого пожатия спросил:

— Вас что, разжаловали в генерал-майоры, товарищ Чумаков?

— Не понимаю вопроса, товарищ Сталин, — с некоторой растерянностью ответил Федор Ксенофонтович.

— Да? — удивился Сталин. — Мы вас тоже не понимаем. Правительство присвоило вам звание генерал-лейтенанта... Хрулев послал вам новенькую форму со знаками различия, а вы взяли да сняли с петлиц по одной звезде.

— Прошу прощения, товарищ Сталин... И благодарю за оказанное доверие. Но я подумал — произошла ошибка. Приказа ведь мне никто не объявил.

К Чумакову подошли Молотов, Шапошников, Мехлис, поздравляли с очередным воинским званием и выздоровлением после ранений. А Сталин, уже стоя в другом конце кабинета, заговорил об ином:

— Мы тут разбирались со смоленскими мостами... И пришли к выводу, что полковник Малышев и вы, то-

варищ Чумаков, как старший по званию, поступили правильно. Мосты взорвали вовремя. Хотя нам не все еще ясно, как удалось немцам так стремительно ворваться в Смоленск. Мы назначили комиссию во главе с генерал-майором артиллерии Камерой, которая исследует этот вопрос.

— Можно мне сказать свою точку зрения? — спросил Чумаков.

— Не надо, — кивнул ему зажатой в руке трубкой Сталин. — Вы скажете, что не хватало сил для удержания Смоленска.

— Так точно, — подтвердил Чумаков.

Сталин опять перевел разговор на другое:

— А что вас лично связывало с профессором военной истории Романовым Нилом Игнатьевичем?

— Я женат на его племяннице.

Тут включился в разговор маршал Шапошников.

— Позвольте заметить, товарищ Сталин, — сказал он. — Чумаков — лучший воспитанник генерала Романова по военной академии.

Сталин на это замечание маршала ничего не ответил. После паузы спросил у Федора Ксенофонтовича:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Чумаков, что ваши соображения, изложенные в письме, которые мы внимательно изучили, требуют значительной ломки некоторых положений Боевого и Полевого уставов Красной Армии?

— Могу обосновать все свои суждения, особенно по поводу боевых действий стрелковых и танковых войск.

— Ваша уверенность похвальна. — Сталин привычно зашагал по кабинету. — Мы тоже считаем неправильным, когда наши войска, организуя наступательный бой, строят свои боевые порядки, густо эшелонируя их в глубину. В результате этого мы имеем большие, неоправданные потери от огня артиллерии, минометов и авиации врага прежде всего в подразделениях вторых и третьих эшелонов. И такое построение боевых порядков приводит во время наступления к бездействию свыше трети всех пехотных огневых средств дивизии... Верны также ваши соображения о месте командира в боевом порядке во время наступательного боя... При нынешнем положении подразделения могут оказаться без командиров.

Далее Сталин говорил и о том, чего не содержалось в письме Чумакова, — о необходимости введения зал-

пового огня из винтовок, об усилении огневыми средствами стрелковых рот и батальонов...

Вслушиваясь в его приглушенный голос, в грузинский акцент, Федор Ксенофонтович ловил себя на побочной мысли: «Как бы заговорить о проблемах и точках зрения, изложенных в письме к Сталину покойным профессором Романовым? Удобно ли?.. А вдруг спросит: «Откуда вам известно содержание письма?» Нет, нельзя вторгаться в чужое... И уже, пожалуй, не ко времени. Или решиться?..»

Эту навязчивую мысль разрушил Сталин:

— Товарищ Чумаков, мне понравились четкость и ясность ваших формулировок в письме. Мы приняли решение создать группу из генералов и командиров, которые бы в действующей армии еще и еще раз проверили истинность возникших проблем... Ведь хотим мы того или нет, придется вносить поправки в ряд положений наших уставов. Мы поручаем вам возглавить эту группу... Разумеется, после того как вы окончательно поправитесь после ранений...

— Я уже поправился, товарищ Сталин.

— Это мы спросим у ваших врачей... Так вот, у товарища Шапошникова есть проект документа, с которым я прошу вас сейчас же познакомиться. Можете редактировать его, дополнять, а главное — уточнять количество и фамилии людей, включаемых в эту группу, если даже их надо будет отзывать с фронтов. Я полагаю, достаточно будет семь-десять человек из разных родов войск. Но прошу вас — это на будущее — не забывать о таких философских категориях, как возможность и действительность. Необходимо учитывать, что на войне существует множество возможностей, определяющих различные пути и варианты борьбы с противником. Военное искусство командиров всех степеней состоит в том, чтоб определять те возможности, которые наиболее реально могут быть превращены в действительность, то есть в победу в бою, в операции, в войне в целом.

— Понял, товарищ Сталин. Я помню об этих категориях.

— Минуточку... Необходимо также учитывать, что во всякой действительности есть возможность благоприятного и неблагоприятного развития событий... Исходите и из этих положений, товарищ Чумаков, когда будете писать окончательные ваши выводы...

Маршал Шапошников тут же протянул Федору Ксе-

нофонтовичу две странички машинописного текста — проект решения Государственного Комитета Обороны — и сказал:

— Можете поработать в комнате товарища Поскребышева. И у него же оставьте документ.

Генерал Чумаков понял, что разговор с ним окончен. Взяв документ, он поклоном головы попрощался со всеми и, четко повернувшись кругом, шагнул к двери.

В кабинете Поскребышева Федор Ксенофонтович почувствовал какую-то оторопь, нереальность происходящего. Видел сидевших на стульях людей, но ни на ком не мог сосредоточить взгляда. Не в силах убедить себя, что это именно он встречался сейчас со Сталиным, отвечал на его вопросы, выслушивал его указания. Будто побывал в ином мире, а теперь оглядывал себя со стороны — каков ты, генерал Чумаков, после встречи с Верховным Главнокомандующим? И вдруг пришло волнение, которое, казалось бы, должно было охватить его раньше, перед входом в кабинет Сталина.

Направился в угол комнаты, где стоял свободный стол, сел в кресло и начал вчитываться в документ. Поймал себя на ощущении, что не может сосредоточиться. Глаза скользили по строчкам машинописного текста, как по пустому месту.

Мучительно захотелось закурить. И только теперь он пытливо, с удивлением оглядел кабинет, увидел каких-то людей, ждавших, видимо, когда позовут их к Сталину. Никто не курил.

Наконец почувствовал, что он может размышлять. И вновь начал читать документ. С радостью обратил внимание: многие места в нем взяты из его, Чумакова, письма. Его наблюдения, выводы, предложения...

Не притронулся ни к одной фразе проекта решения. Список членов комиссии тоже удовлетворил Федора Ксенофонтовича: в нем были генштабисты и преподаватели военных академий.

Положил на стол Поскребышева бумагу, когда тот разговаривал с кем-то по телефону. И вдруг родилось желание позвонить на 2-ю Извозную улицу, в квартиру покойных Романовых. А вдруг Ольга и Ирина уже вернулись с окопных работ?.. Из Архангельского он звонил им каждый день, но телефон безмолвствовал. А вдруг?..

И он попросил у Поскребышева разрешения восполь-

зоваться его телефоном. Александр Николаевич любезно сдвинул на край стола телефонный аппарат.

Федор Ксенофонтович набрал номер, не питая особой надежды. И чуть не задохнулся от счастья: телефон откликнулся. Он узнал самый милый на свете и самый родной голос Ольги. Вначале не мог произнести ни слова, затем виновато взглянул на Поскребышева, сказал:

— Ну здравствуй, дорогая женушка... Сейчас приеду.

Минут через пятнадцать черная «эмка» привезла Федора Ксенофонтовича на 2-ю Извозную улицу к знакомому дому. Полковник-чекист на прощание вручил генералу Чумакову блокнотный листок с номером телефона, по которому можно будет вызвать машину.

Федор Ксенофонтович чувствовал себя как во сне. То ему казалось, что машина не мчалась, а ползла по улицам Москвы, а сейчас, когда поднимался по лестнице, каждый пролет мнился чрезмерно многоступенчатым.

Дверь в квартиру уже была распахнутой. В ярко освещенной прихожей стояли в обнимку Ольга Васильевна и Ирина и обливались счастливыми слезами. На мгновение он замер перед дверью, вглядываясь в черные от загара, похудевшие, но безмерно прекрасные лица жены и дочери. Шагнул через порог с раскрытыми объятиями и смущенной от переизбытка счастья улыбкой. Они тут же повисли на нем, покрывая его лицо поцелуями, увлажняя слезами.

Он вдруг застонал от боли в ранах, причиненной ему объятиями жены и дочери. Видимо, он побледнел, потому что Ольга Васильевна и Ирина вдруг отпрянули от него, встревоженно всматриваясь ему в лицо.

— Заду́шите меня, разбойницы! — успокоил он их испуг шуткой.

Вдруг увидел, что в глубине кабинета стоит стройный, коренастый лейтенант в летной форме, юное лицо которого показалось ему очень знакомым.

— Здравия желаю, товарищ генерал-майор! — Летчик молодецки щелкнул каблуками хромовых сапог.

— Вообще-то я — генерал-лейтенант! — И Федор Ксенофонтович достал из брючного кармана и подбросил на ладони две золотистые звездочки. — Сам товарищ Сталин поздравлял сейчас... И пожимал вот эту руку...

И тут новый порыв радости: Ольга Васильевна и Ирина снова стали целовать его и обнимать, но уже бережно, осторожно.

— Лейтенант Рублев? — изумился Федор Ксенофонтович, вспомнив внезапно, откуда ему так знакомо это лицо.

— Так точно! — радостно откликнулся лейтенант. — Под вашим командованием вместе пробивались из окружения.

— Ты понимаешь, Федя, этот молодой человек знаком нашей Ирочке еще по Ленинграду.

— Я ему помогла найти в озере его самолет! — затараторила Ирина. — Я видела, куда он упал! А потом мы случайно встретились и еле узнали друг друга.

— Не совсем понятно, — засмеялся Федор Ксенофонтович, — но весьма интересно... А почему вы там, в окружении, не сказали мне, что знакомы с моей дочерью? — Генерал дружески пожимал руку Рублеву, пытливо всматриваясь в его смущенное лицо.

— Она же мне не созналась, что отец у нее генерал... Думал — однофамильцы.

— Хватит расспросов! — вмешалась в их объяснения Ольга Васильевна. — Федя, марш в ванную мыть руки — и к столу.

Только сейчас Федор Ксенофонтович заметил сервированный, уставленный закусками стол, посреди которого высились бутылка шампанского и графин с водкой, настоянной на лимонных корочках.

— А ему не верят, что он немецкий самолет таранил! — восторженно пыталась продолжить рассказ Ирина.

Мать перебила ее:

— Все дальнейшие разговоры — за столом!

42

Генерал армии Жуков иногда сам удивлялся своей способности видеть, казалось, неохватную масштабность военных событий, определять их значимость и даже предугадывать, как они развернутся в последующем. Может, потому, что временами дерзко ставил он себя в положение иных немецких сухопутных стратегов, планировавших и направлявших боевые операции своих войск? Или, возможно, силу инерции для провидчества накопил во время работы на посту начальника Гене-

рального штаба и при докладах оперативной обстановки Сталину там, в кремлевском кабинете, когда неожиданно рождались сложные вопросы, на которые необходимо было искать безошибочные и безотлагательные ответы и принимать нужные решения?

Сейчас, когда Жуков был более волен в распоряжении своим временем, он уже без оглядки на былой генштабовский регламент обстоятельно всматривался в общий ход войны и в ее частности. Здесь, на Смоленщине, с особой проникновенностью понял, что операции советских войск на этом направлении оказали огромную помощь Ленинградскому и Северо-Западному фронтам в наиболее ответственный период, когда немецко-фашистское командование пыталось осуществить главные свои цели по разгрому основных сил Красной Армии. Сопротивление советских войск в районе Смоленска затормозило также и вторжение врага в пределы Левобережной Украины и Донбасса.

И стало для Георгия Константиновича очевидным, сколь выигрышно проявилось активное внедрение в действие одного из основных положений советской стратегии — создавать на решающих направлениях сильные ударные группировки войск, нацеливая их действия для достижения максимальных результатов. И еще более стало очевидным, что противник избрал пути, идущие через Смоленск на Москву, в качестве направления своего главного удара. Достижение немцами поставленных здесь целей связывалось ими с выигрышем этим летом всей войны. Следовательно, не ошибся он, генерал армии Жуков, предпринимая там, в Москве, все меры, чтобы Ставка именно под Смоленском сосредоточила наиболее крупные силы войск.

Понимание общей стратегической ситуации обнадеживало генерала Жукова. Оглядываясь несколько назад, он с одобрением думал о решениях советского Генерального штаба. Избрав линии Днепра и Двины в качестве главных рубежей развертывания войск, выдвигавшихся из глубины страны, Генштаб проявил воистину высокий образец стратегического мышления. Всеми его управлениями точно делался расчет времени, давалась правильная оценка сил и возможностей противника и наиболее целесообразно использовались особенности театра военных действий. Здесь главная группировка войск противника понесла тяжелейшие потери, вынуждена была перейти к обороне, и это дало возмож-

ность Советскому государству выиграть время и накопить ресурсы для ведения длительной войны.

Сейчас оперативно-стратегическая обстановка на Западном направлении казалась Жукову и его штабу в основном проясненной. Разбить главные силы группы немецких армий «Центр» в районе Смоленска советским войскам не удалось, однако они затормозили продвижение врага на восток и позволили Ставке Верховного Главнокомандования выдвинуть резервы для очередных контрударов. Как станет известно позже, укомплектованность группы армий «Центр» в районе Смоленска на конец июля, несмотря на непрестанно поступавшие в ее состав пополнения, составляла до 80 процентов в пехотных войсках и до 50 процентов в моторизованных и танковых. 28 июля немецко-фашистское командование отмечало в своей директиве: «Наличие крупных людских резервов... дает возможность противнику оказать упорное сопротивление дальнейшему продвижению немецких войск... Следует рассчитывать на все новые попытки русских атаковать наши открытые фланги».

В начале августа армии Лукина и Курочкина по приказу Ставки были отведены из района Смоленска на оборонительную линию по реке Вопь. Вместе с тем Ставка, помогая Жукову подготовить решительный удар по ельнинскому выступу, укрепляла Резервный фронт свежими дивизиями. А чтобы не дать возможности немцам усилить свой ельнинский плацдарм, войска Западного и Резервного фронтов с 8 по 21 августа наносили непрерывные удары по духовщинской и ельнинской группировкам врага. И хотя инициативу у противника перехватить не удалось, он вновь понес серьезное поражение, в итоге которого руководство группы армий «Центр» отвело из-под Ельни совершенно обескровленные одну моторизованную дивизию, две танковые и одну моторизованную бригаду, заменив их пятью свежими пехотными дивизиями.

Генерал армии Жуков, суммируя все эти сведения, требовал от командармов и командиров дивизий продолжать изматывать противника, вести всеми средствами разведку, сам лично допрашивал контрольных пленных немецких офицеров. Штаб Резервного фронта тщательно анализировал опыт августовских боев под Ельней, накапливал данные о силах противника, его огневых средствах, характере оборонительных инженерных сооружений, об опорных пунктах.

Все было целенаправлено на подготовку главной наступательной операции — разрабатывались конкретные боевые задачи частям и соединениям, во всех деталях составлялись планы артиллерийского обеспечения и авиационных ударов. При этом учитывали то обстоятельство, что ельнинская излучина находилась в центре оперативного построения группы немецких армий «Центр», и от успешных действий 24-й армии во многом зависели результаты контрударов Западного фронта на Духовщинском и Ярцевском направлениях.

Но генералу армии Жукову еще надо было исполнять и обязанности члена Ставки Верховного Главнокомандования. Ему ведь поставлялась информация о положении дел на всем советско-германском фронте, и от него требовались оценки оперативно-стратегических ситуаций. Он излагал их в телеграммах Генеральному штабу, но никак не мог смириться с тем, что столь важный его стратегический прогноз, выработанный еще в Москве совместно с управлениями Генштаба и 29 июля изложенный Государственному Комитету Обороны, не был принят Сталиным. А ведь события развивались именно так, как он, Жуков, предвидел, зреющая главная угроза со стороны немецко-фашистских войск не исчезла и сейчас, в середине августа. Для того чтобы еще и еще проверить свои оценки, он пригласил к себе, в главное помещение командного пункта, члена Военного совета фронта комиссара госбезопасности 3-го ранга Круглова, начальника штаба генерал-майора Ляпина и начальника артиллерии генерал-майора Говорова.

Суждения генералов Ляпина и Говорова вызывали у Жукова особый интерес как военных профессионалов высшего класса. Тот же Леонид Александрович Говоров обладал весьма масштабными знаниями не только как воспитанник Военной академии Генштаба и как бывший преподаватель Военно-артиллерийской академии имени Дзержинского. К началу войны Говорову исполнилось всего лишь сорок четыре года, а он уже успел проявить свои способности на довольно высоких командных должностях. Говоров казался сдержанным, даже мрачноватым человеком, но по натуре своей был доброжелательным, внимательным к соратникам и подчиненным. Никогда не бросал слов на ветер, оценки и решения его всегда отличались весомостью и доказательностью.

У Жукова на половине блиндажной стены висела оперативная карта, исполосованная обозначениями линий фронтов, стрелами направлений ударов, округлостями, замыкавшими в себе резервные силы, испятнанная флажками, треугольниками, квадратами — за каждым топографическим знаком все видели фронтовую конкретность боевых порядков и тыловых эшелонов.

— Прошу, товарищи, ознакомиться с последней обстановкой на советско-германском фронте, — сказал Жуков, устремив пасмурный взгляд на карту. — Самые свежие данные.

Все молча всматривались в карту, ожидая, когда Жуков начнет задавать вопросы или станет высказывать свои оценки. Отвечать же на вопросы Жукова не так было просто, ибо он заранее имел на них свои ответы. Пересказ же обозначенной на картах и схемах оперативной ситуации он не считал военной грамотностью, а тем более полководческим талантом. А вот видение ближайших и последующих целей врага, меры противоборства с ними и способы перехвата инициативы — это было для него главным.

Георгий Константинович, как бы подавая всем собравшимся наводящую мысль, сказал:

— Обнаружить наличие и состояние вражеской группировки — это хорошо, важно. Но главное — вскрыть подоплеку ее действий, определить далеко идущие цели... Вам, товарищи, карта что-либо подсказывает?

— Да, Георгий Константинович, — первым отозвался Говоров. — О намерениях немцев судить не так уж сложно.

—Верно — не сложно, — согласился Жуков. — Для экономии времени я скажу, что лично мне видится... Если кто не согласен, прошу излагать свои прогнозы. Давайте советоваться...

Один из мыслителей будущего запечатлит на бумаге истину, что способность ясновидения более всего дается влюбленным и солдатам, а также людям, обреченным на смерть, или людям, преисполненным космической жажды жизни, и тогда они, обретшие этот дар — себе на радость или на горе, — вдруг чувствуют, как мимолетно сказанное слово (а мы добавим — и озарившая их мысль) проникает в них все глубже и глубже.

В подобном состоянии оказался генерал Жуков, когда 29 июля сказал Сталину то, что терзало его душу:

о необходимости оставления Киева и об отводе войск из-под угрозы окружения на реку Псел. Такое решение он объяснял тем, что противник ударом правого крыла группы армий «Центр» окружит 3-ю и 21-ю армии нашего Центрального фронта и окажется в тылу войск Юго-Западного фронта, обойдя всю советскую группировку на Киевском направлении с восточного берега Днепра.

Почти теми же фразами, которые он говорил тогда Сталину, Жуков сейчас высказал свои соображения Круглову, Ляпину и Говорову. Высказал сурово, со сдержанным отчаянием и скрытой болью. Для него это была очевидная истина, и он никак не мог смириться, что там, в Москве, не сумел внушить ее Сталину, и корил себя за это.

— Не согласиться с вашей оценкой, Георгий Константинович, невозможно. Но ведь время упущено. Инициатива на стороне врага.

Жуков тяжко вздохнул, будто даже всхлипнул. После паузы, не став спрашивать суждений Ляпина и Круглова, взял со стола бумагу и сказал:

— Еще раз сообщу Верховному Главнокомандующему свои предложения о неизбежности ударов немецко-фашистских войск во фланг и тыл Центрального, а затем и Юго-Западного фронтов. Именно поэтому противник впервые во второй мировой войне вынужден перейти к обороне на главном стратегическом направлении, которое мы с вами прикрываем. — И Георгий Константинович приглушенным голосом, будто заранее предчувствуя несогласие с ним Сталина, прочитал: «Как член Ставки, считаю необходимым доложить свои прогнозы о предстоящих действиях неприятеля. Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флангах наш Центральный фронт, великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов.

Возможный замысел противника: разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов, Конотоп, Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс.

Для противодействия противнику и недопущения разгрома Центрального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного фронта считаю своим долгом доложить свои соображения о необходимости как можно скорее собрать крупную группировку в районе Глухов, Чернигов, Конотоп, чтобы ее силами нанести удар во фланг противника, как только он станет приводить в исполнение свой замысел...»

В состав ударной группировки Жуков предлагал включить десять стрелковых дивизий, три-четыре кавалерийские дивизии, не менее тысячи танков и четыреста-пятьсот самолетов. Эти силы, по его мнению, можно было выделить за счет Дальнего Востока, Московской зоны обороны, противовоздушной обороны и внутренних округов.

С тяжелым сердцем отправил на имя Сталина шифровку, полагая, что особого открытия в ней не сделал, ибо для маршала Шапошникова, да и самого Сталина, сейчас тоже должно быть все очевидным. Немецко-фашистские группировки были в исходном положении и вот-вот могли свалиться на головы советских войск, как перезревшие груши. Уклониться от их ударов невозможно, но и выжидать в бездействии тоже было нельзя. Наступал в войне новый критический момент, очередной апогей кровавого противоборства, за которым — замутненная пелена неизвестности. Нужны были свежие силы и их решительные действия.

Ставка Верховного Главнокомандования не промедлила откликнуться на телеграмму Жукова. В тот же день, 19 августа, он получил ответ за подписью Сталина и Шапошникова. Председатель Ставки и начальник Генштаба соглашались с соображениями Жукова насчет ближайших планов немецко-фашистского командования и сообщали вначале в телеграмме, а затем в телефонных переговорах, что Ставка Верховного Главнокомандования выдвинула из своего резерва на Брянское направление свежие войска, сформировала новый, Брянский фронт во главе с генерал-лейтенантом Еременко, передав в его подчинение и войска Центрального фронта.

Брянскому фронту была поставлена задача нанести контрудары по 2-й танковой группе противника, продвигавшейся в направлениях Рославль, Унеча, Шостка, разгромить ее и воспрепятствовать прорыву в тыл Юго-Западного фронта.

Эта задача была выполнена только частично: враг под нашими контрударами понес серьезные потери, но в целом крупного оперативного результата нам достигнуть не удалось. Более того, в середине сентября 2-я немецкая танковая группа вышла в район Конотоп, Бахмач, встретилась в районе Ромны с подошедшими с кременчугского плацдарма передовыми отрядами 1-й немецкой танковой группы. Это означало, что крупные вражеские танковые силы вторглись в тылы войск правого крыла и центра нашего Юго-Западного фронта. И пусть противнику не удалось образовать плотного кольца окружения, наши потери оказались тяжелыми.

43

Всеобщая и отвлеченная истина есть око разума. Но необходимым условием для отыскания истины является беспристрастность, обуздание своих личных чувств и симпатий, ибо ценность истины в ней самой, а не в тех источниках, откуда она произросла. Понимание этого особенно важно на войне.

Генерал армии Жуков, пристально всмотревшись во все, происходившее за последние недели на всем советско-германском фронте, и изложив свои оценки и суждения Ставке Верховного Главнокомандования, был счастлив оттого, что Москва наконец согласилась с его предложениями. И будто снял с себя часть нелегкой ноши, чтобы тут же взвалить на свои плечи другую, связанную с подготовкой Ельнинской операции. И хотя понимал, что вскрытая им истина о положении, в котором оказался наш Юго-Западный фронт, еще не значила ликвидации опасности, но все-таки грела надежда, что нужные меры будут приняты и не случится того самого страшного, что случается на войне с оголившими фланги группировками войск при столкновении их с превосходящими силами противника.

Тут же всю энергию мыслей устремил на Ельнинскую операцию — первую свою пробу личных оперативно-стратегических способностей в Отечественной войне. Ошибиться он не имел права хотя бы потому, что был членом Ставки и совсем недавно возглавлял Генеральный штаб. И не остывала в груди обида от слов Сталина, что он, Жуков, мыслит как кавалерист, а не как начальник Генерального штаба... А ведь именно его, Жукова, в первый день войны послал Сталин на Юго-

Западный фронт, когда еще не было ясно, где, на каком направлении немецко-фашистские войска наносят главный удар. Когда же четко определилось, что на Западном и враг уже подошел к Минску, Сталин срочно отозвал Жукова в Москву для участия в принятии экстренных оперативно-стратегических решений... А тут вдруг — «кавалерист»...

Ну что ж, чувство обиды есть проявление слабости. Возможно. Но Георгий Константинович был не из тех людей, которым обида могла застилать глаза.

Вместе с тем он понимал, что каждый человек по природе своей может испытывать слабость. Но ведь есть у человека рассудок... А он к тому же полководец! И обязан даже малейшее в себе проявление слабости в чем-нибудь обуздать, укрощать...

Да, Жуков подавил личную обиду. Он очень желал провести предстоящую операцию так, как диктовали ему его характер, его понимание грозности времени и значения каждой нашей победы над могучим агрессором. Значит, нужны особая его осмотрительность, целеустремленность, полководческая мудрость.

Убедившись, что июльские и августовские попытки соединений 24-й армии срезать ельнинский выступ оказались безуспешными, Жуков, посоветовавшись с маршалом Шапошниковым, 21 августа приказал генерал-майору Ракутину прекратить наступательные действия и начать готовиться к решительному, более сильному и организованному удару по врагу, определив для этого время: десять-двенадцать дней.

Верно, для Жукова наступил самый ответственный момент на посту командующего Резервным фронтом. Вместе со своим штабом он начал разработку плана весьма непростой операции. И будто чувствительными руками ощупывал все горячие, самые опасные места вражеских оборонительных линий. Конфигурация ельнинского выступа не давала возможности найти много вариантов нанесения по нему сокрушительных ударов, что не позволяло с уверенностью ввести противника в заблуждение. Приходилось рассчитывать на перевес сил в тех местах линии фронта, прорыв которых обеспечивал возможность окружения группировки немцев. А таким местом являлось основание выступа — его северный и южный уступы. С учетом этого и созревал замысел боевой операции, суть которой — решительная форма оперативного маневра: двусторонний охват вра-

жеской группировки с целью окружения и разгрома по частям. Главный удар должна была наносить пополненная тремя дивизиями 24-я армия. С северо-востока ей предстояло прорывать линии обороны врага силами девяти стрелковых дивизий. Навстречу им, с юго-востока, должны были наступать несколько соединений 43-й армии.

Имевшиеся в составе 24-й армии танковые части объединялись в ударную группу, которой надлежало развивать успех в ходе наступления. Чтобы лишить фашистское командование возможности маневрировать войсками внутри ельнинского плацдарма, с востока по нему тоже наносились удары, пусть второстепенными силами, и это являлось той приправой к общему оперативному замыслу, которой надлежало сыграть немалую роль. Тем более что было известно: главные силы 2-й танковой группы Гудериана уже двинулись на юг и не могли быть использованы здесь для контрудара.

Подготовленные разработки были отправлены в Москву, и вскоре Жуков читал директиву Ставки. Ее второй пункт гласил:

«Войскам Резервного фронта, продолжая укреплять главными силами оборонительную полосу на рубеже Осташков, Селижарово, Оленино, р. Днепр (западнее Вязьмы), Спас-Деменск, Киров, 30 августа левофланговыми 24-й и 43-й армиями перейти в наступление с задачами разгромить ельнинскую группировку противника, овладеть Ельней и, нанося в дальнейшем удары в направлениях Починок и Рославль, к 8 сентября 1941 года выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Петровичи...»

Утро первого дня наступления выдалось непроглядно-туманным. Мутно-белая мгла лениво расплылась не только над низинами и лугами, но и по всей местности, включая леса и высоты. В ней растаяли ориентиры, так необходимые артиллеристам, минометчикам, танкистам. Да и пехотинцы, которые из своих окопов и траншей до ряби в глазах изучили подступы к передней линии обороны немцев, почувствовали себя в белом мареве не столь уверенно.

Когда Жукову доложили на его командном пункте, что туман ослепил войска по всей ельнинской излучине, сердце дрогнуло у генерала армии. Он взглянул на на-

ручные часы: до начала артподготовки оставался один час.

— Противник в тумане тоже будет чувствовать себя не лучшим образом, — после короткого молчания сказал Жуков, хотя и понимал, насколько усложнились обстоятельства для его войск.

Ровно в 7 часов утра 800 орудий, минометов и реактивных установок взревели, обрушив огонь и железо на вражескую оборону.

И началось сражение, которое одним должно принести упоение, пусть поначалу небольшое, но победой, другим — погибель, третьим — кровавые раны. Все это, вместе взятое, брало начало в возбуждении максимальной энергии и силы духа советского воинства, исходящих из понимания того, что враг вторгся на родную землю и ее надо мужественно и с яростью защищать, хотя пуля и осколок не отличают храброго от труса, умного от недоумка, благородного от негодяя. В этом самая великая несправедливость войны. Но с ней должны были считаться все — защитники родной земли и ее алчные поработители.

Наступление войск Резервного фронта развивалось тяжело и медленно. Из-за тумана небольшие группы советских бомбардировщиков нанесли удары только по двум аэродромам врага — Селеша и Ольсуфьево. Соединения северной группы за первый день боя продвинулись вперед только на 500 метров.

Штабные операторы, поддерживая непрерывную связь с наступавшими частями армий, наносили на карты генерала армии Жукова всю изменчивость обстановки в районах боев. Трудно было в это время заглянуть в душу Георгию Константиновичу, который молча, в хмурой сосредоточенности наблюдал по картам за ходом развития противоборства. Нельзя было ему торопиться с принятием новых решений — они могли внести сумятицу в набиравшие активность действия войска. Было только ясно, что мысль командующего фронтом устремилась вперед, не упуская из виду происшедшее и высматривая будущие пути.

Войну можно видеть далеко и близко — сегодняшнюю и уже гремевшую у берегов невозвратности. Мысль полководца, как инструмент видения и понимания войны, способна, постигнув минувшие события, вскрывать сущность происходящего сегодня. К таким полководцам

относился и Жуков, обладая еще и свойством воспалять догадку и принимать решение внезапно.

Георгий Константинович, как никто другой в штабе фронта и в нижестоящих штабах, почувствовал, как заметался, занервничал противник в ельнинском мешке. Смешанные контратаки противника — его пехоты и танков — в самых неожиданных направлениях, бомбовые удары авиации по нашим наступающим частям, по артиллерийским позициям и опустевшим местам, откуда недавно давали залпы реактивные минометы, спешные перегруппировки частей и подразделений — все это открывало простор для поиска новых решений.

И генерал Жуков начал их принимать, исходя не только из понимания обстановки, но и из важных принципов грамотного военачальника — не делать ходов, которых ждет враг, и не забывать, что военное дело не терпит однообразия.

В штабы понеслись приказы командующего фронтом о создании сводных отрядов из танковых и артиллерийских групп, десантных рот, мотострелковых батальонов. Они должны были вводиться в бой на участках дивизий, наступавших на главных направлениях. Вместе с начальником артиллерии генералом Говоровым генерал Жуков спешно перенацеливал массированные огневые удары артиллерийских полков, минометных дивизионов по тем участкам вражеской обороны, где намечались успехи наших наступавших подразделений. Конкретные цели получала наша бомбардировочная авиация. Для наращивания удара северной группы войск Жуков приказал командующему 24-й армией ввести в бой один полк 127-й стрелковой дивизии, оборонявшейся на рубеже речки Ужа...

Затрещала, застонала вражеская оборона. Захлебывались в последних очередях немецкие пулеметы, оставались на огневых позициях без прислуг артиллерийские и минометные батареи врага, дзоты и доты, а траншеи и окопы все больше наполнялись трупами фашистского воинства.

Начав отход на запад, враг пытался прикрываться сильными арьергардами вначале по всему фронту выступа, а затем только на флангах. Но уже ничто не смогло остановить наступавшие советские части. К исходу 5 сентября 100-я стрелковая дивизия генерала Руссиянова заняла Чанцово, что севернее Ельни, а 19-я стрелковая дивизия, наносившая вспомогательный

удар с востока, ворвалась в Ельню и совместно с соседними соединениями к утру 6 сентября освободила город.

Известно, что молчаливая сдержанность есть святилище благоразумия. Георгий Константинович Жуков размышлял над тем, звонить ли ему в Ставку об освобождении Ельни или повременить, пока не будут уточнены наши потери и потери врага, пока не прояснятся оперативные перспективы, учитывая, что намечалась возможность войскам Резервного фронта вступить во взаимодействие с группой войск генерала Собенникова, входящей в состав Западного фронта, и продолжить наступление на запад.

Но последовал телефонный звонок из Москвы, и размышления Жукова были смяты: на проводе был Сталин.

— Какими известиями вы обрадуете нас, товарищ Жуков? — спокойно спрашивал Сталин, уже знавший из вечернего донесения штаба Резервного фронта, что оборона противника на ельнинском плацдарме сломана.

— Ельня в наших руках, товарищ Сталин, — сдержанно ответил Жуков. — Продолжаем преследование противника.

— Поздравляю вас и доблестные войска двадцать четвертой армии. Освобождение Ельни имеет не только военное, но и морально-политическое значение. Ведь это первая наша успешная наступательная операция, в ходе которой удалось разгромить крупную группировку противника и освободить нашу территорию. Так что поздравляю.

— Благодарю, товарищ Сталин.

— Какие дивизии вы считаете наиболее отличившимися?

— Хорошо дрались, товарищ Сталин, сотая, сто двадцать седьмая, сто пятьдесят третья и сто шестьдесят первая стрелковые дивизии. — И при этом назвал фамилии командиров дивизий.

Далее Жуков коротко доложил Верховному о ходе сражения и об общих итогах Ельнинской операции.

Преследуя противника, войска 24-й армии продвинулись на запад от Ельни на 25 километров и 8 сентября вышли на рубеж по рекам Устром и Стряна, где немецко-фашистские дивизии заранее капитально приготовились к обороне.

В ходе Ельнинской операции войска 24-й армии Резервного фронта нанесли поражение двум танковым, одной моторизованной и семи пехотным дивизиям противника. Успеху армии способствовали наступательные действия войск 16-й и 20-й армий Западного фронта на Смоленском и 43-й армии Резервного фронта на Рославльском направлениях.

9 сентября генерал армии Жуков надолго задержался в 43-й армии, на наблюдательном пункте одного из командиров дивизии, которая успешно форсировала реку Стряна, захватила там плацдарм, но не прикрыла свой левый фланг, и этим воспользовался противник. Жукову пришлось помогать молодому командиру дивизии исправлять положение.

Там, на НП, его и застала телефонограмма маршала Шапошникова, извещавшая, что он, Жуков, к двадцати часам 9 сентября должен быть в Москве, у Председателя Ставки.

Не завершив дела, Жуков не мог покинуть поле боя, и приехал в Москву с задержкой, хотя знал, что Сталин не терпел опозданий.

Его встретили при въезде в Кремль и сопроводили в квартиру Сталина. Войдя в столовую, где за столом сидели члены Политбюро, Жуков, обращаясь к Сталину, доложил:

— Товарищ Сталин, я опоздал с прибытием на один час.

— На один час и пять минут, — поправил его Сталин. — Садитесь к столу и, если голодны, подкрепитесь.

Но Жукову было не до еды: он понимал, что вызван по неотложному делу.

Вначале ему пришлось доложить членам Политбюро о ходе Ельнинской операции, высказать свои предположения о развитии событий на Московском направлении.

Потом заговорил Сталин. Вначале он сказал слова похвалы в адрес Жукова и войск 24-й армии. И без всякого перехода, повернувшись к карте обстановки под Ленинградом, сообщил:

— Мы еще раз обсудили положение с Ленинградом. Противник захватил Шлиссельбург... С Ленинградом по сухопутью у нас связи теперь нет. Город и население в тяжелом положении. Финские войска наступают с севера на Карельском перешейке, а немецко-фашистские

войска группы армий «Север», усиленные 4-й танковой группой, рвутся в город с юга...

Сталин пробежался взглядом по лицам членов Политбюро, помолчал, затем повернулся к Жукову и полувопросительно, полуутвердительно сказал:

— Вам придется лететь в Ленинград и принять на себя командование фронтом и Балтфлотом.

Жуков такого предложения никак не ожидал. В его ушах еще гремело Ельнинское сражение... Но Жуков оставался Жуковым:

— Я готов выполнить задание.

— Ну вот и хорошо, — с удовлетворением сказал Сталин и принялся раскуривать так знакомую всем свою трубку.

Война продолжалась...

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Начиная с 1970 года после публикации первой книги романа «Война» и по настоящее время я получил многие тысячи писем читателей, в которых высказывалось отношение к моему творчеству и задавались различные вопросы. Ответить на все письма у меня не было и нет физической возможности. На многие вопросы я отвечал в журнальных и газетных выступлениях. Поток писем не иссякает, и в большинстве из них меня спрашивают о том, где я черпаю материал для своих книг о войне и в какой мере достоверны сюжеты, в которых изображаются персонажи не вымышленные, а реальные, особенно исторические личности.

В этом послесловии я постараюсь ответить на главный вопрос...

Уже два десятка лет я пишу о сорок первом годе — самом трагическом и героическом периоде Великой Отечественной войны. Многие события на Западном фронте видел и пережил и испытал там наиболее глубокие, незабываемые душевные потрясения. А затем сама жизнь по необъяснимым закономерностям ставила меня в ситуации или сталкивала с такими людьми, которые в совокупности дополняли и обогащали накопленный «строительный» литературный материал, помогали своим вторжением развивать драматургию создаваемого, прояснять подчас самые сложные события того тяжкого времени.

Благодарю судьбу, что она подарила мне множество знакомств, встреч, продолжительных бесед с целым рядом людей, которые внесли свою достойную лепту в завоевание нашей Победы в Великой Отечественной войне, занимая в то время высокие государственные и военные посты. Среди них В. М. Молотов — заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров и нарком иностранных дел СССР; генерал-полковник И. В. Болдин — заместитель командующего Западным фронтом; А. И. Шахурин — нарком авиапромышленности; генерал-лейтенант А. Я. Фоминых — первый член Военного совета Западного фронта; генерал-полковник Д. К. Мостовенко — командир 11-го механизированного корпуса; Н. Д. Псурцев — начальник войск связи Западного фронта; генерал-майор Н. С. Дронов — работник разведуправления Генерального штаба; выдающиеся военачальники: Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, генералы армии П. А. Курочкин, И. И. Федюнинский, А. А. Епишев, С. П. Иванов, генерал-полковники С. Г. Трофименко, А. И. Подольский, В. М. Шатилов, командир партизанского соединения генерал-майор А. Н. Сабуров и многие другие, причастные к событиям, о которых я пишу.

Серьезную помощь в работе над романами «Война» и «Москва, 41-й» оказали мне родные и близкие А. С. Щербакова, А. В. Хрулева, А. М. Лукина, А. Н. Поскребышева, П. Ф. Малышева, Я. И. Джугашвили, поделившись своими воспоминаниями или предоставив в мое распоряжение документы и фотографии. Например, сын Якова Джугашвили — полковник, кандидат военных наук Евгений Яковлевич Джугашвили, не только снабдил меня материалами, касающимися его отца, но и связал с людьми, лично знавшими Якова Джугашвили еще с детских лет.

Очень важной оказалась для меня единственная встреча с талантливейшим полководцем Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко. Произошла она по счастливой случайности, и я расскажу о ней подробнее.

Было это в 1959 году в Минске. Тогда на «Беларусьфильме» экранизировалась моя повесть «Человек не сдается» — снимался первый в нашем кинематографе фильм о самом начальном периоде войны. Редактором фильма был известный белорусский поэт и мой друг Аркадий Кулешов. И вот руководство студии поручило ему и мне обратиться к командующему войсками Белорусского военного округа маршалу Тимошенко с просьбой выделить для участия в батальных сценах будущего фильма определенное количество войск, боевой техники, назначить военного консультанта и разрешить вести натурные съемки на одном из окружных полигонов.

Мы отправились в штаб военного округа.

Дежурный по приемной командующего извинительно предупредил нас, что у маршала очень много дел и он может уделить нам всего лишь несколько минут. С естественным волнением вошли мы в кабинет легендарного человека. Он сидел за столом и читал какую-то бумагу. На наше приветствие поднял лицо — такое знакомое по портретам и фотографиям. Мы представились: мол, писатели такие-то. В утомленных глазах Семена Константиновича мелькнуло удивление.

Внутренне подобравшись и с трудом преодолевая робость перед высоким военным начальством, которая укоренилась во мне еще в годы солдатской и курсантской службы, я положил на стол командующего письмо министра культуры и коротко высказал просьбу.

— О чем фильм? — хмуро спросил маршал, склонив голову.

— О первых неделях войны, — бойко ответил я.

— А что вы знаете о начале войны... — В словах маршала прозвучала горечь и раздражение. — Ничего вы толком не можете знать.

И тут меня захлестнула обида, я не сдержался и неожиданно для себя выпалил:

— Товарищ Маршал Советского Союза! Я все знаю о начале войны, что может знать средний командир, прошедший от границы до Москвы!.. От первого артналета немцев...

Маршал откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня взглядом долгим и суровым. Затем не без интереса спросил:

— Вы в какой армии служили?

— В десятой... Семнадцатый механизированный корпус генерала Петрова.

— В какой части?

— В двести девятой моторизованной дивизии. А после выхода из окружения — в шестьдесят четвертой стрелковой...

— Кто командовал двести девятой?

— Полковник Муравьев. — Я начал обижаться еще больше, ибо вопросы ставились так, будто мне не доверяют.

Но тут увидел, как в выражении лица маршала что-то изменилось. Он встал с кресла, вышел из-за стола и приблизился ко мне — высокий, прямой, суровый.

— Вам случайно не известна судьба полковника Муравьева? — спросил маршал, напряженно, с нескрываемой надеждой глядя мне в глаза.

— Видел его тяжело раненным в живот.

И я рассказал, что 25 или 26 июня 1941 года штаб нашей дивизии и ее спецподразделения располагались в лесу севернее городка Мир. В то время командование, видимо, пыталось объединить полки, которые вступили в бои с врагом почти в районах расквартирования. Я в этот день, раненный в челюсть, пробился с но-

тоциклистами еще не сформированной танковой бригады, входившей в состав нашей дивизии, на высоты, где «дневал» штаб. Разыскал редакцию нашей дивизионной газеты «За боевой опыт». И тут разнесся слух, что привезли тяжело раненного командира дивизии. Мы с младшим политруком Лобом подошли к остановившейся на опушке «эмке». Полковник Муравьев лежал на плащ-палатке, и возле него хлопотали военные медики. Услышали подробности: в полковника выстрелил переодевшийся в пастуха немецкий диверсант, он подкараулил машину на полевой дороге. Водитель сумел сбить фашиста машиной, однако вражеская пуля тяжело, а может, и смертельно ранила полковника. Вскоре его увезли в сторону Столбцов...

Вот и все, что я мог рассказать о полковнике Александре Ильиче Муравьеве. Сам же не осмелился спросить у маршала, кем ему приходился Муравьев. Возможно, и никем. Молодой полковник перед самой войной был назначен командиром формировавшейся механизированной дивизии, и не исключено, что нарком обороны Тимошенко знакомился с ним и давал напутствия...

В кабинет принесли чай, печенье, разговор наш затянулся. Несколько раз подходил маршал к настенной топографической карте, раздумчиво всматривался в нее.

Поощренный его вниманием, я подробно рассказал о бое с диверсантами и группой немецких танков у деревень Боровая и Валки в ночь на 28 июня (эта драматическая ситуация подробно описана мной в повести «Человек не сдается»). Показывал маршруты и рубежи нашей дивизии...

Мы с Аркадием Кулешовым, конечно же, понимали, что в Семене Константиновиче болезненно всколыхнулась память и он размышлял о первых приграничных сражениях, проигранных нами немцам, вспоминал о первых оперативных решениях Ставки и Генерального штаба, о тех давних тревогах, которыми жила тогда Москва и он лично как нарком обороны, а потом командующий Западным фронтом.

Маршал словно позабыл о нашем присутствии в его кабинете. Вновь подойдя к топографической карте, он обвел на ней пальцем районы Белостока, Налибокской пущи, скользнул взглядом по Пинским болотам и будто сам себе вполголоса сказал:

— Здесь растаяли главные силы Западного фронта... Пришлось создавать новую стратегическую оборону... Эх, если бы знать... Если б предполье... А могло случиться еще страшнее, введи заранее в действие наш план прикрытия... Да, война — гигантский смертный мешок с загадками...

На боковом столе зазвонил один из многих телефонов, и маршал вырвался из плена мучительных воспоминаний. Коротко поговорив с кем-то, он присел в кресло, начал вчитываться в принесенную нами бумагу.

Мы с Кулешовым сердечно поблагодарили Семена Константиновича — уже не столь сурового — за то, что сполна удовлетворил просьбу киностудии, и распрощались. Однако уходили из кабинета без особой радости, смущенные, возможно, тем, что стали свидетелями чего-то очень личного в судьбе маршала, что невольно заставили его испытать вдруг воскресшую мучительную душевную боль и будто коснулись тревожных тайн, которых знать нам не полагалось...

В то время я еще не замышлял романа «Война», хотя он подсознательно начинал жить во мне. Дело в том, что в повести «Че-

ловек не сдается» мной были выплеснуты на бумагу еще не отстоявшиеся чувства и впечатления, рожденные всем виденным западнее Минска и в Смоленском сражении. Они, эти чувства и впечатления, обнаженно-болезненные, еще не были подкреплены социально-философскими категориями понимания войны, еще не родилось во мне (да и не было для этого знаний и разбега мыслей) оперативно-стратегическое видение всей грандиозности, сложности и трагичности военного противоборства двух мощных армий, одна из которых была лютым агрессором, а вторая — Красная Армия — защитницей свободы и независимости первого в мире социалистического государства. Однако пульсировали во мне чувства, похожие на неутоленную жажду, на вину, что не сделал чего-то самого главного, важного. И эти чувства вспыхивали с особой силой, когда сталкивался в литературе, в военно-исторических публикациях или во время дискуссий за «круглым столом» с суждениями о начальном периоде войны, которые искажали подлинную правду или являлись полуправдой. И в то же время не было полного убеждения, что лично я владею знаниями этой правды. Требовалось все выверить в тщательных сопоставлениях и взаимосвязях.

На написание и издание романов «Война» и «Москва, 41-й» я потратил без малого двадцать лет. Всем пишущим известно, что процесс творческой работы, а тем более длительный, сопряжен с муками исканий, ошибок, радостями находок, вдохновляющими ощущениями преодоленного. Когда же я начал писать главы, в которых рычаги управления должен был взять маршал Тимошенко, я мысленно встретился с ним уже как со старым знакомым. В сознании были стерты границы между воображением, догадками и истиной. Опираясь на давние записи, не во всем, возможно, совершенные, а также изучая архивы, вникая в воспоминания военачальников, знавших Семена Константиновича лучше, чем я, постигая биографию маршала, я стал ощущать его как близкого мне человека, с понятным характером, более или менее ясными привычками, заботами и тревогами, связанными с теми высочайшими постами, которые занимал он в год начала войны.

Но литература — дело серьезное и жестокое. Она не идет навстречу читателю, не воспринимается им глубоко, если он, читатель, только узнает что-то из нее, а не видит, не чувствует ее объемности и картинности. Фон, краска, звук, запах, деталь — без подробности обстоятельств не рождается видение происходящего и соучастие в нем. Я это особенно ощутил тогда, когда настал черед писать главу, в которой маршал Тимошенко переживает, может, наиболее драматичные дни в своей жизни. 30 июня 1941 года он, будучи наркомом обороны СССР, председателем Ставки Главного командования, назначается еще и командующим Западным фронтом. Это назначение происходит в невероятной ситуации. В Москве стало известно, что враг захватил Минск, глубоко проник танковыми клиньями на нашу территорию, окружив главные силы армий Западного фронта.

Садясь за письменный стол, я уже знал решения Ставки и Государственного Комитета Обороны, направленные на ликвидацию смертельной угрозы. Их предстояло осуществлять, как организующей силе и «направляющему механизму», командованию Западного фронта во главе с маршалом Тимошенко. Я также был знаком с первыми решениями Семена Константиновича по его при-

езде в Гнездово, где находился штаб. Но нельзя забывать, что часто эмоционально-мыслительная, пусть даже импульсивная напряженность человека наиболее высока тогда, когда он только готовится приступить к делу, а тем более столь ответственному, требующему множества оценок, предосторожностей, многокомплексных знаний, интуиции, воинского мужества и т. д.

Мне представилось, что эта внутренняя подготовка маршала, взяв начало в Генеральном штабе, наиболее остро продолжалась в пути от Москвы до Смоленска. И чтоб наполнить повествование о ней изобразительностью, надо было хотя бы знать, каким транспортом и в сопровождении кого этот путь преодолевался. Но откуда было почерпнуть информацию об этом? Никакие документы подобного не фиксируют. Поиски же свидетелей ни к чему не приводили. Но «кто ищет, тот всегда найдет» — эта крылатая песенная фраза не суть пустословие. Однажды листая далеко не свежий военный журнал, я вдруг обратил внимание на статью тогдашнего министра обороны СССР Маршала Советского Союза А. А. Гречко, посвященную 25-летию нашей Победы. В глаза бросились строки, где маршал писал о том, что 30 июня 1941 года он, полковник Гречко, будучи работником Генерального штаба, сопровождал наркома обороны Тимошенко на командный пункт Западного фронта, к новому месту службы, и тогда же, в пути, попросил маршала направить его в кавалерийские войска действующей армии.

В тот период, когда попал мне в руки журнал, я состоял в группе консультантов 12-томного издания «История второй мировой войны». Маршал же Гречко возглавлял главную редакционную комиссию этого многотомника. И разумеется, я не замедлил воспользоваться столь близким и надежным источником информации. На свой несложный вопрос вскоре получил разъяснение: «Маршал Тимошенко и сопровождавшие его военные 30 июня 1941 года ехали в Смоленск поездом...»

Итак, глава у меня родилась. Опираясь на уже накопившиеся в моей памяти и моих ощущениях черты человеческой натуры Тимошенко, я попытался в силу своих возможностей вторгнуться во внутренний мир полководца и как бы заново, его взглядом, мыслью и чувствами охватить все то, что произошло с нашими войсками на Западном фронте после начала вражеского вторжения. Действие в главе развертывалось в салон-вагоне — мне приходилось бывать в таких вагонах уже после войны.

Не без тревоги и сомнений послал рукопись главы маршалу Гречко. Вскоре мне ее вернули с пометками на полях, в тексте и с общим одобрением. Однако, к моему изумлению, весь «салонвагонный антураж» был вычеркнут, а сбоку страницы рукой маршала написано: «В Смоленск летели на самолете Ли-2 в сопровождении четырех истребителей».

Ну что ж, подумал я, изменила память Андрею Антоновичу. Главу пришлось переделывать, вписывая ее содержание в новое «обрамление» с иными фоновыми деталями. В конечном счете я был счастлив, ибо в романе «Война» появилась еще одна, почти документальная глава, достоверность которой засвидетельствовал один из ее персонажей...

В процессе работы я обычно не задумываюсь над тем, существуют ли какие-нибудь художнические законы правомерности и

степени совмещения в прозаическом произведении судеб исторических личностей и собирательных персонажей. Я забочусь о правде происходящего, особенно если в происходящем участвуют реальные люди. Тут я опираюсь на знание факта, на подлинность обстоятельств, на свидетельства документов и на проверенные воспоминания людей, причастных к тем событиям, которые являются полем моих исканий.

Позволю себе затронуть еще один вопрос, касающийся творческой «лаборатории». Когда была опубликована первая книга романа «Война», меня пригласил к себе Леонид Максимович Леонов. Сделав ряд замечаний по языку и стилю книги, он вдруг сказал:

«Вы не боитесь говорить о раздумьях, даже колебаниях Молотова, но, кажется, не решаетесь заглянуть, что творилось в душе Сталина в первые дни войны. Почему вы не пишете его «изнутри», не вторгаетесь в его внутренний мир, в его чувства и мысли?»

Я ответил Леониду Максимовичу, что Молотова более или менее смело пишу «изнутри», так как встречаюсь с ним, подолгу беседую, ощущаю его характер и, что важно, он потом читает написанное мной и выражает к нему свое отношение. Писать же так о Сталине не решаюсь, а изображаю его через восприятия того же Молотова, Жукова, Шахурина.

«Тогда вы взялись не за свое дело, — жестковато заметил Леонов. — Или бросьте писать роман, или пишите Сталина, как полагается художнику».

Для меня это был великий урок. Я долго не садился за письменный стол, постигая все, что было связано с жизнью и деятельностью Верховного Главнокомандующего, начиная с его детских лет, изучая манеру его мышления, его язык и т. д. Затем засел за вторую книгу. Когда она была опубликована, Леонид Максимович позвонил мне по телефону и ободряюще сказал:

«Вот видите! Получается у вас Сталин! Я верю в него».

Урок нашего величайшего мастера пошел мне на пользу, вооружил смелостью и стал напутствием для очередных книг.

Сейчас я работаю над новым романом, в котором читатель встретит наряду с новыми персонажами уже знакомых ему героев и проследит события, связанные с дальнейшей битвой за Москву.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Иван Стаднюк сейчас, пожалуй, один из самых читаемых советских писателей. Его произведения беспокоят сердца, будоражат души не только тех, кто с оружием в руках прошагал фронтовыми дорогами и героев писателя считает своими однополчанами, но и молодых читателей, для кого жизнь лишь начинается», — писала газета «Московская правда» 27 января 1985 года во вступлении к интервью писателя.

В новом романе — «Москва, 41-й» И. Стаднюк описывает, как развертываются далее изображенные им в романе «Война» события начального периода фашистской агрессии, продолжает судьбы уже знакомых читателю героев, а также включает в развивающуюся драматургию повествования новые персонажи — образы исторически реальные и вымышленные. Еще шла работа над романом, а первые главы его начали публиковаться в журнале «Огонек» (№ 50—52 за 1983 г. и № 1—8 за 1984 г.), в журналах «Советский воин» и «Пограничник», на страницах «Литературной газеты», «Литературной России», в ряде республиканских и областных газет. После завершения работы автора над произведением продолжил его публикацию журнал «Огонек» (№ 22—33 за 1985 г.) и опубликовал полностью журнал ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (№ 5—7 за 1985 г.). Роман был издан также в «Роман-газете» (№ 18, 19 за 1985 г.) и в том же году выпущен отдельной книгой Военным издательством Министерства обороны СССР.

Появились первые отзывы критики на произведение. Александр Овчаренко в статье «Противостояние» («Литературная Россия», 1985, 6 сентября) писал: «Москва, 41-й» повествует о событиях с середины июля 1941 года, принесших «новый обвал потрясений», когда фашистские армии упорно стремились выйти на Москву... Обнаружилось, что Иван Стаднюк ни в чем не повторяет предшественников, рассказывает немало такого, что воспринимается читателем как историческое открытие. Это относится прежде всего к героической обороне Смоленска».

И далее: «Картины, создаваемые Иваном Стаднюком, тем убедительнее, что он — непосредственный участник многих описываемых событий. Отсюда обилие подробностей, ярких деталей. Но и тогда, когда Ивану Стаднюку доводится описывать то, чему свидетелями были другие, или даже что-то домысливать, он порой достигает немалой выразительности.

В целом сцены строго документальные, такие, как описание первого ночного воздушного боя над Москвой, поездки генерала Жукова с докладами к Сталину, обсуждения их членами Политбюро, органично соединяются с главами, в которых действуют генерал Чумаков и все его близкие, знакомые, подчиненные. Образы генерала Жукова и генерала Чумакова представляются наиболее удавшимися автору. Первый строго документален, второй — плод чисто художественного творчества».

«Очень зримо в романе показан маршал Жуков, вышедший из самых глубин русского народа, словно самой жизнью наделенный всеми лучшими качествами этого народа. Главные из них — независимость, дерзость мысли, соединяющаяся с непосредственной действенностью, умением бесстрашно защитить и осуществить свои самые смелые замыслы и решения.

Изображение взаимоотношений Сталина и Жукова, надо полагать, властно притягивает читателя к военным романам Ивана

Стаднюка, — писал А. Овчаренко. — В романе «Москва, 41-й» писатель именно как художник стремится и в этом отношении сделать шаг вперед. Он пытается по-новому рассмотреть взаимоотношения Сталина и Жукова и в свете всей истории молодого тогда Советского государства, и в свете сложнейшей международной ситуации, сложившейся накануне и в первые месяцы войны».

Свои суждения о романе критик завершает таким утверждением: «Обращение автора к переписке Сталина с Черчиллем по поводу второго фронта, появление на страницах романа Гарри Гопкинса — личного представителя президента США Франклина Рузвельта — призваны раскрыть международное значение битвы за Москву, показать зависимость судеб человечества от ее исхода. Эта линия придает роману еще бóльшую масштабность и имеет острейшую актуальность, поскольку в мире есть немало историков последней войны, напрочь забывших, как в свое время оценивали значение наших побед над фашизмом в 1941 году для судеб всего мира».

Позднее критик столь же высоко оценил роман, рассматривая его в ряду произведений других писателей о начальном периоде Великой Отечественной войны (статья «Восьмидесятые годы», журнал «Наш современник» № 4 за 1986 г.).

Семен Борзунов в своей статье «Смерть победившие» («Литературная газета», 1985, 2 октября), оценивая роман «Москва, 41-й», обращает внимание на то, что «автор то и дело переносит нас с горячих полей Смоленщины на наблюдательные пункты командиров полков, на НП командующих армиями, в штаб командующего фронтом, в кремлевский кабинет Сталина, и мы каждый раз будто воочию видим, что происходит на фронтах, в Государственном Комитете Обороны, в международных делах. И всюду являемся свидетелями жарких споров в поисках наиболее оптимальных решений. Чаще всего автор романа возвращает нас к встречам Жукова со Сталиным, которые неизменно вызывают повышенный интерес. Здесь, в последней, самой высокой инстанции, постоянно и напряженно бьется ищущая истины высшая государственная мысль».

И далее: «Наряду с освещением трагических событий, которые разыгрались вокруг Смоленска, Ельни и других русских городов, значительное место в романе занимает описание подготовки москвичей к отпору врага. Хорошая организация противовоздушной обороны способствовала успешному отражению первых массированных налетов фашистской авиации на Москву. В этом, как мы видим из романа, большую роль сыграл руководитель московских коммунистов А. С. Щербаков — человек сильной воли и исключительной энергии...

Не может не обратить на себя внимание умение писателя пластично и образно изображать характеры действующих лиц, так сказать, от рядового до командного состава. И. Стаднюк как бы оживляет знакомые по многим историческим источникам фигуры, но делает это по-своему, в таком ракурсе, который мы, быть может, раньше и не замечали...

Новый роман И. Стаднюка — произведение значительное и широкомасштабное, расширяющее и углубляющее художественно-реалистический показ сложного начального периода Великой Отечественной войны».

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 5132

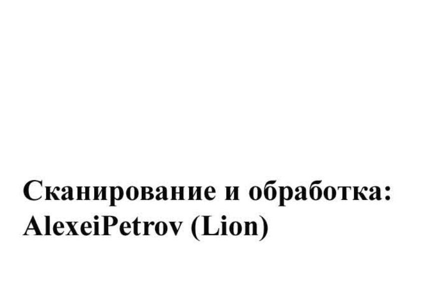
Иван Фотиевич Стаднюк

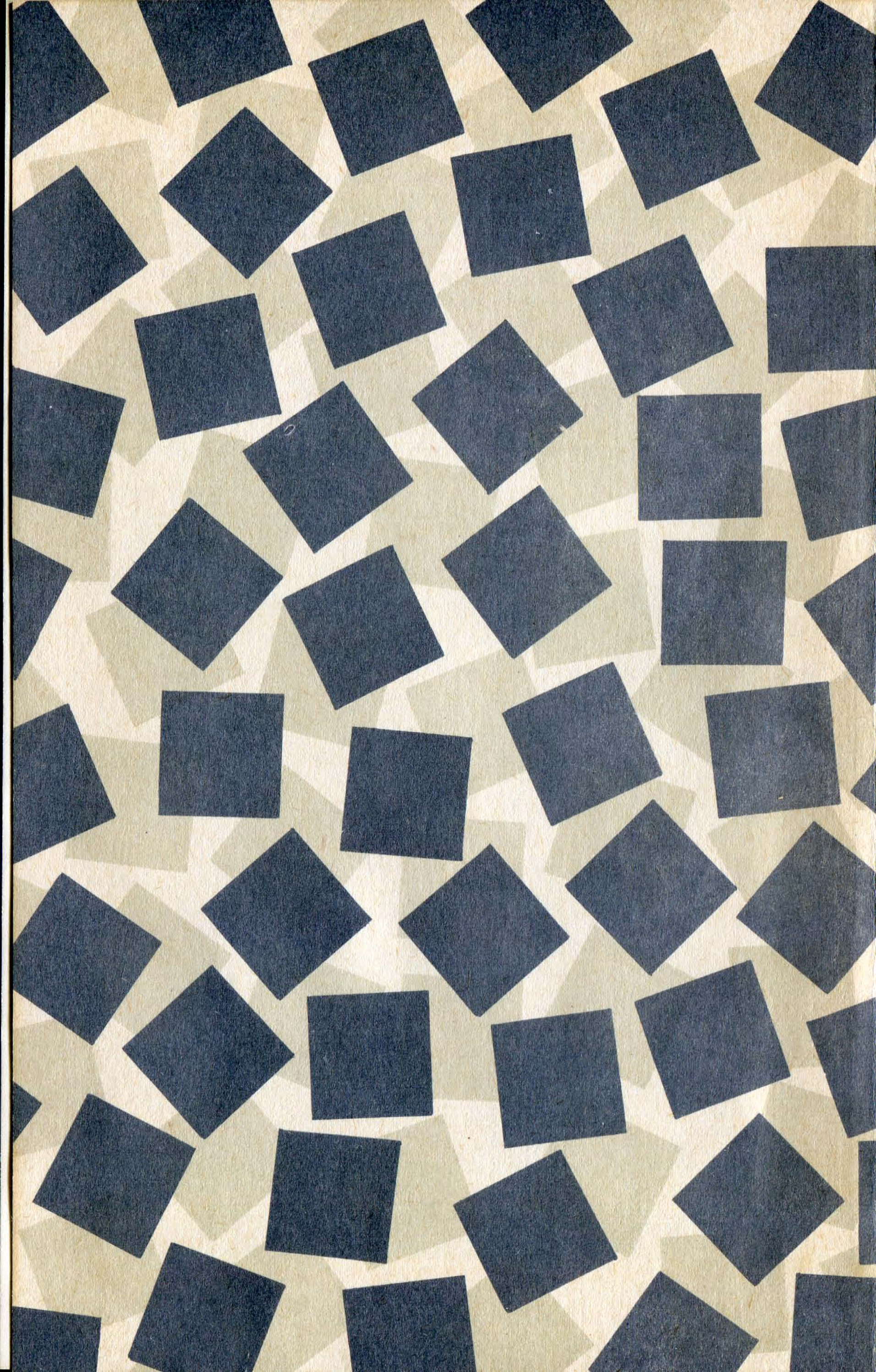
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 5

Редактор **А. Гремицкая**
Художник **А. Шевцов**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **В. Авдеева, Т. Пескова, И. Тарасова**

Сдано в набор 20.03.86. Подписано в печать 18.09.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,9. Уч.-изд. л. 20,0. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 70 к. Заказ 706.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.


Сканирование и обработка:
AlexeiPetrov (Lion)



5
ИВАН
СТАДНЮК